

НОВЫЙ МИР

1

МОСКВА

1945

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1945 г.

№ 1

Год издания XXII

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ — Петр I, книга третья. <i>Продолжение</i>	2
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — Стихи	16
МАРГАРИТА АЛИГЕР — Сказка о правде, пьеса в 4-х действиях	17
МАРК ШЕХТЕР — Возвращение, стихотворение	46
СЕМЕН БАБАЕВСКИЙ — Белая Мечеть, рассказ	47
КОНСТАНТИНЭ ГАМСАХУРДИА — Давид-Строитель, исторический роман. <i>Продолжение. Перевод с грузинского Элишбара Ананиашвили</i>	56
АНТОН БЕЛЕВИЧ — Наказ и клятва, поэма. <i>Перевод с белорусского Д. Осина</i>	91
<hr/>	
А. РУБАКИН — Французские записи	94
<hr/>	
ЛЕОНИД ЛЕОНОВ — Судьба поэта	131
Проф. С. М. БРЕЙТБУРГ — Ромэн Роллан и Максим Горький	137
Б. ЛАВРЕНЕВ — Книга о русской доблести	140

БИБЛИОГРАФИЯ

Б. ЕВГЕНЬЕВ — Братские голоса	144
ЛЕВ БЛАГИНИН — Загубленная идея	148

ПЕТР I

Книга третья*

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

★

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Парусиновую куртку Петр Алексеевич сбросил, рукава рубахи закатал, пунцовый платок, вышитый по краю виноградными листочками, — подарок из Измайловского — повязал на голову по примеру португальских пиратов, как научил его однажды контр-адмирал Памбург. В прежние годы он бы еще и разулся, чтобы чувствовать под ногами тепло шершавой палубы. Легкий ветер наполнял паруса, двухмачтовая шнява «Катерина» скользила, будто по воздуху, послушно и податливо. В кильватере за ней плыла бригантина «Ульрика», и на краю воды и неба — в дымке — поставил все паруса фрегат «Вахтмейстер».

Корабли эти недавно были взяты у шведов, — виктория случилась неожиданная и весьма славная: русским досталось двенадцать бригантин и фрегатов — вся разбойничья эскадра командора Лешерта, который два года не пропускал в Чудское озеро ни малого суденышка, грабил прибрежные села и мызы и угрожал с тылу, Шереметеву, осаждавшему Юрьев. Командор был отважный моряк. Все же русские обманули его. Темной ночью, в грозу, то ли опасаясь шторма то ли по иной какой причине, он ввел эскадру в устье реки Эмбаха и беспечно напился пьян на борту флагманской яхты «Каролус». Когда же на рассвете продрал глаза — сотни лодок, плотов и связанных бочек торопливо плыли от берегов к его кораблям... «Огонь с обоих бортов по русской пехоте!» — закричал командор. Шведы не успели подсыпать пороха в запалы пушек, не успели обрубить якорные канаты — русские кругом облепили корабли и с ло-

док, плотов и бочек, кидая гранаты, стреляя из пистолетов, полезли на бордаж... Срам получался немалый, — пехота взяла в плен эскадру! Командор Лешерт в ярости прыгнул в пороховой погреб и взорвал яхту, — пламя вырвалось изо всех щелей и люков, — мачты, реи, бочки, люди и сам командор с преужасным грохотом и клубом дыма взлетели едва не под самые тучи...

Солнце жгло спину, ветерок ласкал лицо, за бортом пологая волна слепила зайчиками, Петр Алексеевич жмурился. Для прохладения широко раздвинул ноги, стоя за штурвалом. Посвистывало, попевало в снастях, хрипло кричали чайки за кормой над водяным следом Паруса, как белые груди, полны были силы.

Петр Алексеевич плыл к Нарве с победой, вез шведские знамена, сваленные под грот-мачтой, — третьего дня штурмом был взят Юрьев. У короля Карла выдернуто еще одно перо из хвоста. Императору, королям английскому и французскому посланы грамоты, что де «божьем промыслом вернули мы нашу древнюю вотчину — городок Юрьев, поставленный семьсот лет тому назад великим князем Ярославом Владимировичем для обороны украин русской земли...»

Петру Алексеевичу хотя и в голову никогда не шло, — как, например, любезному брату королю Карлу, — равнять себя с Александром Македонским, и войну считал он делом тяжелым и трудным, будничной страдой кровавой, нуждой государственной, но под Юрьевом на этот раз он поверил в свой воинский талант, остался весьма собой доволен и горд: за десять дней (прибыв туда из-под Нарвы) сделал то, что фельдмаршалу Шереметеву и его иноземцам-инженерам, ученикам прославленного маршала Вобана, казалось никак невозможным.

И еще было удовольствие: поглядывая на далекий лесной берег — зная, что бе-

* Продолжение. См. «Новый мир», №№ 3, 6—7, 8—9, 1944 г.

рег — недавно шведский — теперь наш и Чудское озеро опять целиком наше. Но таков человек — много взял, хочется больше; уж, кажется, приятнее быть ничего не может: таким ясным утром плыть на красавице шняве, неся за высокой кормой, назло Карлу, огромный Андреевский флаг. Так нет! Именно сегодня, — жарко до дрожи, — раздумалось ему об его занобе... По-другому, не назовешь ее — ни мадамка, ни девка, — заноба, свет-Катерина... Пошевеливая под рубашкой лопатки, он тянул в ноздри влажный воздух... От воды и корабельного дерева пахло купальной, и мерещилось, как вот Катерина купается в такой-то жаркий день... То ли платок с виноградными листочками она нацептала, надушила женским, — ветер из-за спины отдувает концы его, то и дело они щекочут нос и губы... Знала чего делала, вельмочка ливонская, кудрявая, веселая... В Юрьеве перепуганные до полусмерти горожанки куда как смазливый... а ведь ни одной не равнялся с Катериной, ни на одной так задорно не колыхнется на тугих боках полосатая юбка... Ни одной не захотелось ему взять за щеки, через глаза глядеть внутрь, прижаться зубами к зубам.

Петр Алексеевич нетерпеливо топнул о палубу каблучком тупоногого башмака. Тотчас из каюк-компании кто-то — должно быть спросонок — сорвался, хлопнул дверь, — Алексей Васильевич Макаров сбежал по трапу:

— Я здесь, милостивый госуларь...

Петр Алексеевич, стараясь не глядеть на его, неуместное здесь на борту, тощее пергаментное лицо с красными веками, приказал сквозь зубы:

— Чем писать...

Макаров заторопился, уходя споткнулся на трапе. Петр Алексеевич, как кот, фыркнул ему вслед. Он живо вернулся со стульчиком, бумагой, чернильницей, за ухом торчали гусиные перья. Петр Алексеевич взял одно:

— Стань у штурвала, вцепись крепче, сухопутный, держи так. Заполощешь паруса — линьками попотчуй...

Он подмигнул Макарову, сел на раскладной стульчик, положил лист бумаги на колени и, скривив голову, взглянул на клотик — яблоко на верхушке грот-мачты, где вился длинный вымпел, и стал писать...

На одной стороне листа пометил: «Госпожам Анише Толстой и Екатерине Васильевской...» На обороте, — брызгая чернилами и пропуская буквы: «Тетка и матка, здравствуйте на множество дет... О здравии вашем слышать желаю... А мы живем в трудах и в нужде... Обмыть, обшить некому, а паче всего — без вас скушно... Только третьего дня станцовали мы со шведами изрядный танец, от коего у короля Карлуса темно в глазах станет... Ей-ей, что как я стал служить —

такой славной игры не видел... Короче сказать: с божьей помощью взяли на шпагу Юрьев... Что же о здравии вашем, то боже, боже сохрани вам отписывать е сем, а извольте сами ко мне быть поскорее. Чтобы мне веселее было... Доедете до Пскова — там ждите указа — куда следовать далее, здесь неприятель близко... Питер...»

— Сложи, запечатай, не читая, — сказал он Макарову и взял у него штурвал, — С первой оказией пошлешь.

Стало немножко будто полегче. Звонкие двойными ударами пробили склянки. Тотчас на баке громыкнула пушка, затрепетали паруса, приятно потянуло порохом дымом. На мостик взбежал командир шнявы, капитан Неплюев, с молодым, костлявым, дерзким лицом, придерживая короткую саблю — кинул два пальца к трезуху:

— Господин бомбардир, адмиральский час, извольте принять чарку...

За Неплюевым поднялся, расплываясь лоснящимся лицом, низенький Фельтен в зеленом вязаном жилете. На борту, вместо поварского колпака, он повязывал голову также побиратски — белым платком. Подал на луженом подносе серебряную чарку и крендель с маком.

Петр Алексеевич взвесил чарку в руке, по-матросски истово вытянул крепчайшую водку с сивушным духом и, торопливо кидая в рот кусочки кренделя и жуя, сказал Неплюеву:

— На ночь станем на якорь у Наровы, ночевать буду на берегу... Дно промерял?

— У приток-Наровы с правого берега песчаная банка, с левого — одиннадцать фут.

— Ну, добро... Ступай...

Петр Алексеевич снова остался один на горячей палубе у штурвала. От выпитой чарки пошло по телу веселье, и он стал припоминать, то посапывая, то усмехаясь, третьеводнешнее славное дело, от которого у короля Карла должно потемнеть в глазах с досады...

2

Фельдмаршал Шереметев вел осаду Юрьева с прохладцей, — особенно не утруждал ни себя, ни войско, надеясь одолеть шведов измором. Его многоречивые письма Петр Алексеевич комкал и швырял под стол. Чорт подменил фельдмаршала, — два года воевал смело и жестоко, нынче, как старая баба, причитывает у шведских стен. Когда в нарвский лагерь прибыл, наконец, фельдмаршал Огильви, взятый настоящим Паткуля из Вены на московскую службу за немалое жалование, мимо кормления и всякого винного и иного довольствия — в год три тысячи золотых ефиком, — Петр Алексеевич передал ему командование и в нетерпении кинулся под Юрьев.

Фельдмаршал его не ждал, — в полуденный зной после обеда похрапывал у себя в шатре, в обозе, за высоким валом, и проснулся, когда царь сорвал у него с лица платок от мух:

— На покое за рогатками спишь, — крикнул и завращал сумасшедшими глазами. — Иди, показывай мне осадные работы!

От такого страха у фельдмаршала отнялся язык, не помнил, как попал ногами в штаны, поблизости не случилось ни парика, ни шпаги, так — простоволосый — и полез на лошадь. Подбежал военный инженер Коберт, спросонок также не на те пуговицы застегивая французский кафтан; за эту осаду он только и сделал доброго, что развел щеки — поперек шире — на русских шах. Петр злобно кивнул ему сверху. Втроем поехали на позиции.

Здесь все не понравилось Петру Алексеевичу... С восточной стороны, откуда вело осаду войско Шереметова, стены были высоки, приземистые башни укреплены заново, рavelины звездой выдавались далеко в поле и рвы перед ними были полны воды. С запада город надежно обороняла полноводная река Эмба, с юга — моховое болото. Шереметев подобрался к городским стенам глубокими шанцами и апрошами — весьма осторожно и не близко, из опасения шведских пушек. Его батареи поставлены были и того глупее, — с них он бросил в город две тысячи бомб, зажег кое-где домишки, но стен и не поцарапал.

— Известно вам, господин фельдмаршал, во сколько алтын обходится мне каждая бомба? — угрюмо проговорил Петр Алексеевич. — С Урала везем их... А не хочешь ли ты за эти две тысячи напрасных бомбов заплатить из своего жалованья! — Он выхватил у него из подмышки подзорную трубу и водил ею, оглядывая стены. — Южная мур! ветха и низка. Я так и думал... — И быстро оглянулся на инженера Коберта. — Сюда надо кидать бомбы, здесь ломать стены и ворота. Отсюда надо брать город. Не с востока. Не удобства искать для ради того, что там место сухо... Победы искать, хоть по шею в болоте...

Шереметев не посмел спорить, только проворочал толстым языком: «Само собой... Вам виднее, господин бомбардир... А мы вот думали, не додумали...» Инженер Коберт почтительно, с сожалеющей усмешкой помотал щеками.

— Ваше величество, южная стена, также и башенные ворота, именуемые «Русскими воротами», — ветхи, но тем не менее неприступны, ибо к ним можно подойти только через болото... Болото непроходимо.

— Для кого болото непроходимо? —

крикнул Петр Алексеевич, дернул длинной шеей, лягнул ногой, потерял стремя. — Для русского солдата все проходимо... Не в шахматы играем, в смертную игру...

Он соскочил с лошади, развернул на траве карту — план города, из кармана вытащил готовальню, из нее циркуль, линейку и карандаш. Начал мерить и отмечать. Фельдмаршал и Коберт присели на корточки около него.

— Вот где ставь все свои батареи! — он указал на край болота перед «Русскими воротами». — Да за рекой прибавь домовых пушек... — Он ловко стал чертить линии, как должны лететь ядра с батарей к «Русским воротам». Опять померил циркулем, Шереметев бормотал: «Само собой... дистанция доступная». Коберт тонко усмехался. — На перену позиций даю три дня... Седьмого начинаю огненную потеху. — Петр уложил циркуль и линейку в готовальню и стал записывать ее в карман кафтана, но там лежал пунцовый платок, вышитый по краю виноградными листочками, — он схватил платок и с досадой сунул его за пазуху.

Трое суток он не давал людям ни отдыха, ни сна. Днем все войско на глазах у шведов продолжало прежние осадные работы, рыли шанцы под пулями и ядрами, сколачивали лестницы. Ночью тайно, не зажигая огня, впрягали быков в пушки и мортиры и везли их на новые места, — на край болота и через плавучий мост — за реку, укрывали батареи за фашинами и валами.

Едва солнце показалось над лесом, осветились худые кровли на южной стене, выступили над болотным туманом каменные зубцы на башне «Русских ворот», и в городе в утренней тишине засинели печные дыммы, — шестьдесят ломовых пушек и тяжелых мортир сотрясли землю и небо, двухпудовые ядра, фитильные бомбы с шипением понеслись через болото. За грохотали батареи за рекой. Под прикрытием порохового дыма гренадеры полка Ивана Жидка побежали со связками хвороста гатить болото.

Петр Алексеевич был на южной батарее. Кричал, учил, сердиться ему не пришлось, — едва успевал вертеть головой, глядя на пушкарей, да приговаривал: «Ай-лю лю, ай-лю лю...» Едва только человеку скоро прочтешь «отче наш» — стволы уже прочищены банниками, вложены картузы с порохом, вбиты ядра, подсыпана затравка, наведен прицел...

— Всеми батареями! — кричал, выпучивая налитые кровью глаза, низенький полковник Нечаев, с которого первым залпом сорвало шляпу и парик. — Дистанция старая. Приложь фитиль... Оооо-гонь! — Командиры батарей раскатиисто повторяли за ним: «Оооо-гонь!»

Было видно, как ударяли ядра, валились башенные зубцы, задымила, запыла-

¹ Мур — стена.

ла кровля на стене, подожженные бомбы начали гореть городские домишки. На островерхих кирках затренькали колокола. Шведские солдаты, в кучьих серых мундирах, выбежали из ворот, — шарахаясь от разрывов, начали копать куртину, тащили бревна, бочки, мешки... Все же до конца дня воротная башня и стена стояли крепки, Петр Алексеевич приказал пододвинуть батареи ближе.

Шесть дней длилась огненная потеха. Гренадеры Ивана Жидка по колену, по пояс в болоте гатили трясину, прикрываясь от неприятельских бомб и пуль переносными фашинами — в виде корзин с землей. Убитые тут же и тонули, раненых вытаскивали на плечах. Шведы поняли грозную опасность, перетащили сюда часть пушек с других башен и с каждым днем усиливали огонь. Город заволокло дымом. Сквозь летучие пороховые облака жгло красноватое солнце.

Петр Алексеевич не уходил с батареи, от пороха был черен, не умывался, ел на ходу — что придется, сам раздавал водку пушкарям. Спать дождался на часок под пушечный грохот, поблизости, под артиллерийской телегой. Инженера Коберта он отослал в большой обоз за то, что, хотя и ученый был мужик, но zelo смиренный, «а смирных нам здесь не надо»...

В сумерки, в ночь на тринадцатое июля, он вызвал Шереметева. В эти дни фельдмаршал со всем войском шумел с восточной стороны, как мог — пугал шведов. Снова сделался боек, не слезал с коня, дрался и ругался, Петра Алексеевича он нашел на затихшей батарее. Кругом него стояли усатые бомбардиры — все старые знакомые — из тех, кто в потешные времена под городом Прешбургом угощал не в шутку из деревянных пушек репой и глиняными бомбами кавалерию князя кесаря. У некоторых тряпками были перевязаны головы, изодраны мундиры.

Петр Алексеевич сидел на лафете самой большой пушки «Саламандра» — медного тульского литья, — на нее для охлаждения пришлось вылить ведер двадцать уксусу, и она еще шипела. Он жевал хлеб и — торопливо проговаривая слова — разбирал сегодняшнюю работу... Южная стена была, наконец, пробита в трех местах, этих брешей неприятелю теперь не загородить. Бомбардир Игнат Курочкин посадил подъягод несколько каленых ядер в левый угол воротной башни... — Как гвозди вбил! Не так разве? Что? — по-петушинуному крикнул Петр Алексеевич. Весь угол башни завалился, и вся она — вот-вот — готова рухнуть.

— Игнат, ты где, не вижу, подойди. — И он подал бомбардиру трубочку с изгрызанным мундштуком. — Не дарю... другой при себе нет, а — покури... Хвалю... Живы будем — не забуду.

Игнат Курочкин, степенный человек в

пышными усами, снял трух, осторожно принял трубочку, поковырял в ней ногтем и весь пошел лукавыми морщинками...

— А табачку-то в ней, ваше величество, нетути...

Другие бомбардиры засмеялись. Петр Алексеевич вынул кисет, в нем — табаку ни крошки. В это как раз время и подошел фельдмаршал, Петр Алексеевич — обрадованно.

— Борис Петрович, покурить с собой есть? У нас на батарее — ни водки, ни табаку... (Бомбардиры опять засмеялись). Сделай милость... (Шереметев учтиво, с поклоном протянул ему вышитый бисером хороший кисет). Ах, спасибо... да ты отдай кисет бомбардиру Курочкину... Дарю его тебе, Игнат, а трубочку мне верни, не забудь...

Он отослал бомбардиров и некоторое время с хрустом жевал сухарь. Фельдмаршал, уперев в бок жезл, молча стоял перед ним.

— Борис Петрович, ждать более нельзя, — изменившимся голосом проговорил Петр. — Люди рассердились... Гренадеры который день лежат в болоте... Трудно! Я зажгу бочки со смолой, буду стрелять всю ночь... Ты, не мешкая, приши мне в подкрепление батальон московских стрелков из полка Самохвалова — мужики угрюмые, отважные... Сам делай свое дело, для бога только не теряй людей напрасно... С рассветом пойду на приступ... (Шереметев опустил руку с жезлом и перекрестился). Ступай, голубчик.

Когда на краю болота и за рекой запылали смоляные бочки, — со всех батарей началась такой беглый огонь, какого шведы еще не слышали. Ворота рухнули. От куртины, частоколов и рогаток полетели щепы. Шведы ждали атаки в эту ночь, — сквозь проломы стены в мерцающем зареве смоляного огня были видны колеблющиеся щетины штыков, каски, знамена... По всему городу били в набат...

Петр Алексеевич, подогнув колени, глядел в подзорную трубу из канавы за фашинами. С ним стоял молодой полковник Иван Жидок — орловец, похожий на цыгана, — черные глаза у него сухо блестели, губы вздрагивали, от злости он, не замечая того, хрустел зубами. Ночь была коротка, за лесом уже зазеленел восток и пропали звезды. Ждать дольше было невозможно. Но Петр Алексеевич все еще медлил. Вдруг Иван Жидок с тоской из глубины утробы выдавил «Оооох!» и затмол опущенной головой. Петр Алексеевич схватил его за плечо:

— Ступай!

Иван Жидок перескочил через фашины и, нагибаясь, побежал по болоту. Тотчас зашипела, взвилась, лопнула, раскинулась зелеными огнями ракета, другая, третья. Пушки замолкли. В уши надави-

ла тишина. Меж красно-черных кочек болота стали подниматься люди, — утопая в тине, тяжело пошли к воротам. Все болото зашевелилось, закишело солдатами. С берега им на подмогу, уставя штывки, шли роты московских стрелков... Петр Алексеевич опустил трубу, потянул воздух сквозь зубы, сморщился: — Ох, — сказал, — ох. — Из развороченной куртины в упор по наступающим гренадерам Ивана Жидка изрыгнули огонь пять уцелевших пушек. Отчаянный одинокий голос на болоте закричал, — Урааа! — Из стены пролома выскакивали шведы, будто в неистовой радости бежали навстречу русским. Началась свалка, поднялся крик, рев, лязг. До четырех тысяч людей сбилось у стен и ворот...

Петр Алексеевич вылез из канавы, пошел, чмокая во мху тяжелыми ботфортами, и все шарил по себе, ища оброненную трубу ли, оружие ли... Его догнал низенький полковник Нечаев:

— Государь, туда нельзя...

И оба стали глядеть туда...

Петр Алексеевич — ему:

— Пошли за подмогой...

— Государь, не надо...

— Говорю — пошли...

— Не надо... Наши уж отбивают у шведов пушки...

— Врешь...

— Вижу...

И точно — метнула огонь в сторону ворот одна, другая пушка... Огромная толпа дерущихся заколебалась и хлынула через проломы в город...

Нечаев, плача выкаченными глазами:

— Государь, теперь — пошла потеха...

Гренадеры и московские стрелки в ярости, что так было трудно и столько их напрасно побито шведом — кололи, рубили и гнали неприятеля по узким улочкам до городской площади. Там сгоряча убили четырех барабанщиков, высланных комендантом Юрьева бить шамад-сдачу. И только трубач с замковой башни, разрывая легкие хриплым ревом трубы, молившей о сдаче, с трудом и не сразу остановил побоище...

3

«Катерина» с опущенными парусами и повисшими на реях матросами скользила некоторое время вдоль берега в зеленой тени леса. После пушечного выстрела загрохотала якорная цепь. Тотчас подошла шлюпка. В ней стоял Меншиков в длинном плаще, с высокими перьями на шляпе. На одни обшлага у красавца пошло чай не менее десяти аршин вишневого аглицкого сукна, Петр Алексеевич глядел на него сверху, облокотясь о фальшборт. Александр Данилович согнул руку коромыслом до правого уха, снял шляпу и, трижды отнеся ее в бок, крикнул:

— Виват! Господину бомбардиру — виват — с великой викторией...

— Погоди, я сейчас к тебе слезу, — тихим баском ответил Петр Алексеевич. — А у вас какие новинки?

— И у нас не без викторий...

— Это — добро... А ты мне приготовил, чего я просил в письме? У нас там и пишишка кое-какого и того не было...

— Три боченка ренского получены вчера! — гаркнул Меншиков. — В нашем стане не как у Шереметева — ни в чем ни задержки, ни откату нет...

— Хвастай, хвастай, — Петр Алексеевич подозвал капитана Неплюева и приказал ему завтра, как только на кораблях будет поднят флаг, при пушечной дальбе с обоих бортов выкинуть сигнал: «Взятые отвагой» и с барабанным боем вынести на берег к войску шведские знамена. Для молодого капитана такое приказание была честь, он покраснел. Петр Алексеевич, смущая его упорным взглядом, сказал еще:

— Хорошо поплавали, командор.

Неплюев побаровед до пота, колючие глаза его от напряжения увлажнились, — царь назначал его командором — флагманом эскадры... Петр Алексеевич ничего больше не прибавил — вытягивая длинные ноги и царапая башмаками по смолянному борту, стал спускаться в шлюпку. Сел рядом с Меншиковым, ткнул его локтем.

— Рад, что встретил, спасибо... Значит и вас — с викторией: Шлиппенбаха разбили?..

— Да еще как, мин керц... Аникита Реннин налетел на телегах на него около Вендена, а полковник Рен с кавалерией, как я ему тогда посоветовал, преградила дорогу в город... Шведу — хочешь-не хочешь — принял бой в чистом поле... Разбил Шлиппенбаха так — сей иерой едва ушел с десятком кирасир в Ревель...

— Все-таки и в этот раз ушел... Ах, черти!

— Уж очень увертлив... Пустое, — он теперь без пушек, без знамен, без войска... Аникита Иванович потом с польяна плакался: «Не так, говорит, мне жалко — я Шлиппенбаха не взял, жалко его коня не взял: птица!» Я ему выговорил за такие слова: «Ты, говорю, Аникита Иванович, не крымский татарин — коней арканить, ты — русский генерал, должен иметь государское размышление...» Так с ним поругались, страсть... И еще — новинка: из Варшавы прискакал передовой, — король Август посылает к тебе великого посла... Хорошо бы этого посла принять уж в самой Нарве, в замке... А? Мин керц?

Петр Алексеевич слушал его болтовню, щурился на зеленую воду, покусывал ноготь:

— Из Москвы были вести?

— Да опять тебе дожука: был послан-

ный от князя кесаря, — писем, грамот при-
волок целый короб... Быд проездом в Пи-
тербург Гаврила Бровкин, привез тебе из
Измайловского письмецо. — Петр Алек-
сеевич быстро взглянул на него. — Оно
при мне, мин херц. Да еще — четыре ды-
ни парниковых, вез их — завернуты в ба-
раний тулуп, за ужином попробуем... Рас-
сказывает — в Измайловском тебя ох как
ждут, все глаза проплакали...

— Ну, уж это ты врешь! — Лодка подо-
шла боком к песку. Петр Алексеевич вы-
скочил и полез на берег, где над водой
стоял шатер Меншикова.

Ужинать сели в шатре — вдвоем. Петр
Алексеевич, сутулясь на седельных по-
душках, ел много, — проголодался на
шереметевых харчах. Меншиков шепет-
но-неохотно брал с блюд и больше пил,
прикладывая ладонь к широкому шарфу,
туго повязанному по животу, — любезный,
румяный, с лукавыми огонечками свечей
в ласковых синих глазах. Осторожно, что-
бы не увидеть ни малейшего неудоволь-
ствия на похудевшем и спокойном лице
Петра Алексеевича, он рассказывал про
нового фельдмаршала Огильви.

— Муж ученый, слов нет Книги в те-
лячьих корешках привез из Венц, целую
телегу, свалены у него в шатре. Первым
делом он нам отрезал, так-то гордо, что
нашего ничего есть не станет... Нужно
ему, как проснется, — вместо чарки с за-
куской, шеколад и кофей, и пшеничный
хлеб белый, и в обед свежая рыба — и не
всякая — именно налим ему нужен, и
дичь, и телятина. Мы закручинились, —
фельдмаршал приказал — надо доста-
вать... Послал я в Ревель одного чухон-
ца — лазутчика — за кофеем и шекола-
дом, своих дал пять черонцев... Корову
привязали на прикол — только для него,
девку нашли чистую, — доить, пахтать...
Сколотили ему нужней чуланчик позади
шатра и навесили замок... И ключа он от
нужного чулана никому не дает...

Петр Алексеевич торопливо проглотил
кусочек, засмеялся:

— А за что же я ему плачу три тысячи
эфимков, вот он вас, азиятов, и учит...

— Да, учит... На другой день вызвал
полковников всех полков, не спросил имя
отчество, за руки ни с кем не поздоровал-
ся и давай важно рассказывать, как его
любит император, да какие он волил вой-
ска, осаждал города, как ему марша, Во-
бан сказал: «Ты мой лучший ученик» и
подарил табакерку... Показал нам все ор-
дена и эту табакерку, — на крышке —
девка обнимает пушку, и нас отпустил...
Шеколаду бы для приличия поднес, —
вет... «Я, говорит, скоро напишу диспози-
цию, и вы тогда все поймете, как нужно
брать Нарву»... По сей день пишет...

— Ну, ну... — Петр Алексеевич вытер
салфеткой руки, взял за ножку магде-
бургский с золочеными божествами ку-
бок из кокосового ореха, сказал, весело

морща губы, — темные глаза его редко
когда смеялись.

— Как на Кукуе в мимошедшее вре-
мя, восхвалям, сердешный друг, отца на-
шего Бахуса и мать нашу неугомонную
Венус... Давай-ка письмецо-то...

Малюсенькое письмецо, запечатанное
воском и пахнущее тем же сладким и
женским, как и платок с виноградными
листочками, было от Катерины Васильеф-
ской (хотя и написанное рукой Анисьи
Толстой, потому что Катерина писать не
умела).

«Государю, свету, радости... Посылаю
вам, государь, свет, радость, гостинец —
дыни, что за стеклами в Измайловском
созрели, так-то сладки... Кушайте, госу-
дарь, свет, радость, во здравье... И еще,
свет мой, видеть вас желаю...»

— Немного написала... А долго чай ду-
мала, брови морщила, передник перебира-
ла, — насмешливо, тихо проговорил Петр
Алексеевич. Выпил кубок. Ударив себя по
коленкам, поднялся и пошел из шатра: —
Данилыч, крикни Макарова, разбери с
ним московскую почту, а я — разомнусь.

Вечер был душный, от черного бора
пахло теплою смолой. Большой закат, не
светя, мрачно угасал. Как раз время
кричать одиноко ночным птицам да без-
звучно носиться летучим мышам над го-
ловой человека. На лугу кое-где еще
краснели костры и звякали недоузками
кони конвоя, прибывшего с Меншиковым.
До колен омочив чулки в росе, Петр Алек-
сеевич шел вдоль реки. Остановившись,
чтобы глубже вздохнуть. На краю низин-
ки, спускающейся к реке, опять остано-
вился, — оттуда беспокойно тянуло
прелью и медом, смутно курился не то
дымок, не то варил пиво заяц, и явст-
венно доносился голос, должно быть
солдата-коновода, из тех балагуров, кто
не даст людям спать — только бы слуша-
ли его были и небылицы. Петр Алексее-
вич повернул было назад, но донеслось:

«... Чепуха это все, — ведьма, ведьма!
Была она пошлая дворовая девка, чума-
зая, в затертой рубашонке... Такой ее и
взяли. Не всякий бы мужик с ней и
спать-то лег... Мишка, верно я говорю?
А уж я увидел ее, когда она жила у
фельдмаршала... Выскочит из шатра, по-
мои выплещет, вытрется передником и —
в шатер, ножами — тят, тят... Гладкая,
проворная... Тогда еще подумал, — эта
кукла не пропадет... Ох, проворна!»

Придурковатый голос спросил:

«Дядя, так как же дальше-то с ней?»

«А ты не знал? Истинно говорится —
за дураками за море не ездят... Теперь
она живет с нашим царем, ест пироги,
пряниками заедает, полдня спит, полдня
потягивается...»

Придурковатый голос, удивленно:

«Дядя, какая-нибудь, значит, у нее
устройства особенная?»

«А ты у Мишки спроси, он тебе расскажет про ее устройство».

Густой сонный голос ответил:

«А ну вас к шуту, я ее и не помню совсем...»

Петр Алексеевич дышал с трудом... Студ жег лицо... Гнев приливал черной кровью... За такие речи о государевой чести князь кесарь ковал в железо... Схватить их! Срам, срам! Смеху-то! Сам виноват, что уже все войско смеется... «Девку взял из-под Мишки...» И он — головой вниз — шагнул туда, к ленивому мужичище, отдававшему ее первую сладость... Но будто мягкая сила остановила, опутала все его члены... Переводя дух — положил руку на опущенный мокрый лоб... «Кукла распутная, Катерина...» И она ощутимо возникла перед ним... Смуглая, сладкая, жаркая, добрая, невиноватая ни в чем... «Чорт, чорт — ведь знал же все про нее, когда брал... И про солдата знал...»

Высоко поднимая ноги в мокром бурьяне, он важно спустился в низину. Из-за дыма поднялись трое... «Кто идет?» — крикнул один грубо. Петр Алексеевич проворчал: «Я иду...» Солдаты, хотя и оробели до цыганского пота, но проворно, — не успев моргнуть, — подхватили ружья и стали без шевеления: — фузев перед собой, нос поднят весело, глаза выкачены на царя — наготове в огонь и на смерть.

Петр Алексеевич, не глядя на них, сунул башмак в погасший костер:

— Уголька!

Средний солдат — рассказчик, балагур — кинулся на колени, разгреб, подхватил уголек на ладонь, подкидывая, ждал, когда господин бомбардир набьет трубочку. Раскуривая, Петр Алексеевич исподлобья покосился на крайнего солдата... «Этот...» Верзила, здоров, ладен... Лица его не мог разглядеть...

— Сколько вершков росту? Почему не в гвардии? Имя?

Солдат ответил точно по уставу, но с московским развальцем, — от этого нагло разваляца у Петра Алексеевича ошетинились усы...

— Блудов Мишка, драгунского Невского полка, шестой роты коновод, поверстан в шестьсот девяносто девятом, роста без трех вершков три аршина, господин бомбардир...

— Воюешь с девяносто девятого, — чина не выслужил! Ленив? Глуп?

Солдат ответил неживым голосом:

— Так точно, господин бомбардир, — ленив, глуп...

— Дурак!

Петр Алексеевич слунул огонек с разгоревшейся трубки. Знал, что — не успеет он скрыться за туманом — солдаты понимающе переглядываются, засмеяться не посмеют, но уж переглядываются... Заведя худые руки за спину, высоко поднимая лицо с трубкой, из которой прыскали искры,

он зашагал из низинки. Придя в шатер, сел к столу, отставил от себя подальше свечу, — в горле было сухо, — жадно выпил вина. Заслоняясь трубочным дымом, сказал:

— Данилыч... В Невском полку, в шестой роте — солдат гвардейских статей... Не порядок...

У Меншикова в синих глазах — ни удивления, ни лукавства, одно сердечное понимание...

— Мишка Блудов... А как же... Он мне давно известен... Награжден одним рублем за взятие Мариенбурга... Командир эскадрона не хочет его отпускать, — коней он любит, и кони его любят, таких веселых коней, как в шестом эскадроне, у нас во всей армии нет.

— Переведешь его в Преображенский, в первую роту правофланговым.

4

Генерал Горн спустился с башни и пошел через базарную площадь — длинный, с худыми ногами в плоских башмаках. Как всегда, народу было много у лавок, но — увы — все меньше с каждым днем можно было купить что-либо съедобное: пучок редиски, ободранную кожу, вместо кролика, немного копченой конины. Сердитые горожанки уже не кланялись генералу с приветливым приседанием, а иные поворачивались к нему спиной. Не раз он слышал ропот: «Сдавайся русским, старый чорт, чего напрасно людей моришь...» Но возмутить генерала было невозможно.

Когда на городских часах пробило девять — он подошел к своему чистенькому домику и стал вытирать подошвы о половичок, лежавший на ступеньке. Чистоплотная горничная отворила дверь и, низко присев, взяла у него шлем и вынутую из перевязи тяжелую шпагу. Генерал вымыл руки и с достойной медлительностью пошел в столовую, где пузырчатые круглые стекла низкого окна — во всю стену — слабо пропускали зеленый и желтый свет.

У стола — в ожидании генерала — стояли его жена, урожденная графиня Шперлинг — особа с тяжелым нравом, три сутулые жидковолосые девочки с длинными, как у отца, носами и надутый маленький мальчик — любимец матери.

Генерал сел и все сел, сложив руки, молча прочли молитву. Когда с оловянной миски сняли крышку, повалил пар, но соблазнительного в ней, кроме пара, ничего не было, — та же овсяная каша без молока и соли. Унылые девочки с трудом ее глотали, надутый мальчик, отталкивая тарелку, шептал матери: «Не буду и не буду...» На вторую перемену подали вчерашние кости старого барана и немного гороху. Вместо пива пили воду. Генерал.

не возмущаясь, жевал мясо большими желтыми зубами.

Графиня Шперлинг заговорила быстро-быстро, кроша над тарелкой корочку хлеба:

— Сколько я ни пыталась за четырнадцать лет моего замужества, я никогда не могла вас понять, Карл... Есть ли в вас капля живой крови? Есть ли у вас сердце мужа и отца? Король посылает вам из Ревеля караван кораблей с ветчиной, сахаром, рыбой, копчениями и печениями... На вашем месте как должен поступить отец четырех детей? Со шпагой в руке пробиться к кораблям и привести их в город... Вы же предпочли невозмутимо поглядывать с башни, как русские солдаты пожирают ревельскую ветчину... А мои дети принуждены давиться овсянкой... Я не устану повторять: у вас камень вместо сердца! Вы — изверг! А злосчастный случай с фальшивой баталией!.. Теперь мне нельзя показаться в Европе... «Ах, вы супруга того самого генерала Горна, кого русские провели за нос, как дурачка на ярмарке?» — «Увы, увы», — отвечу я, Вы даже не знаете, что в городе каждая торговка называет вас старым журавлем на башне... Наконец, наша единственная надежда — генерал Шлиппенбах, желая нам помочь, гибнет под Венденом, — а вы, как ни в чем не бывало, сидите и невозмутимо жуеете бараньи жилы, будто сегодня самый счастливый день в вашей жизни... Нет — довольно! Вы должны отпустить меня с детьми в Стокгольм к королевскому двору...

— Поздно, сударыня, слишком поздно, — сказал Горн, и его белесые глаза, устремленные на окно, казалось, пропускали так же мало света, как эти пузырчатые стекла. — Мы прочно заперты в Нарве, как в мышеловке.

Графиня Шперлинг обеими руками схватила за кружевной чепец и низко надвинула его.

— Теперь я понимаю — чего вы добиваетесь, — чтобы я с моими несчастными детьми ела траву и крысы!

Надутый мальчик неожиданно засмеялся и посмотрел на мать; девочки слезливо опустили носы в тарелки. Генерал Горн несколько удивился: это несправедливо — он не добивается, чтобы его дети ели траву и крысы! Но он столь же невозмутимо окончил завтрак...

За дверью давно уже позвякивали шпоры его адъютанта Бистрема. Видимо, что-то случилось. Горн взял с полки очага глиняную трубку, набил ее, высек огонь, от фитиля зажег бумажку, закурил и только тогда покинул столовую.

Бистрем держал в руках его шпагу и шлем и несколько задыхался:

— Ваше превосходительство, в русском лагере внезапно началось движение, смысл которого мы не можем понять...

Генерал Горн опять пошел через пло-

щадь, полную встревоженного народа. Он высоко поднимал голову, не желая глядеть в глаза горожанам, которые называют его старым журавлем. По источенным ступеням он поднялся на башню. Действительно — в русском лагере происходило необыкновенное: по всей полудуге осадных укреплений, тесно сжимавших город, строились войска в две линии. С востока быстро приближалось пыльное облако. Вначале можно было разглядеть только скачущих на низкорослых лошадях драгун. На некотором расстоянии от них ехали царь Петр и Меншиков. Желтоватая пыль, поднятая копытами эскадрона, была столь густа, что генерал Горн болезненно сморщился... За царем и Меншиковым скакали солдаты, высоко поднимая на древках восемнадцать желтых атласных знамен. На их складках извивались, в негодовании простирая лапы, восемнадцать королевских львов...

Эскадроны, царь, Меншиков, шведские знамена промчались вдоль всего осадного войска, оравшего... «Уррра! Виктория!» — во все варварские глотки...

5

В русском лагере веселились. С башни Глория было хорошо видно, как вкрут царского шатра стреляли пушки, по их залпам можно было сосчитать, сколько выпито виватов. Генерал Горн, зная хвастовство русских, поджидал оттуда посланника с заносчивыми словами. Так и случилось. Из царского шатра вдруг высыпало человек сорок, размахивающих кубками и кружками, один из них вскачил на коня и поскакал в сторону башни Глория и за ним, догоняя, трубач. Увертываясь с конем от выстрелов, этот посланник вынул платок, поднял его на конце выхваченной шпаги и остановился у подножия башни; трубач, завалившись в седле, изо всей силы затрубил, пугая летящих ворон.

— Пароль, пароль! — кричал посланник. — Говорит Преображенского полка подполковник Карпов! — был он пьян, румян, с кудрями, растрепанными ветром. Генерал Горн, нагнувшись с башни, ответил:

— Говори, я слушаю. Убить тебя успею.

— Извещаю! — задрав веселую голову, кричал подполковник. — В пятницу на прошлой неделе город Юрьев с божьей помощью фельдмаршалом Шереметевым взят на шпагу. Снисходя на слезное прошение коменданта, ради мужественного сопротивления, офицерам оставлены шпаги, а трети солдат — ружья без зарядов... Знамен же и музыки лишены...

Громким голосом Бистрем переводил, офицеры, стоявшие позади Гоона, негодуя переглядывались, один — вне се-

бя — крикнул: «Врет, русская собака!» Подполковник Карпов широко размахнулся, указывая на далекий шатер, где еще стояли люди с кружками:

— Господа шведы, не лучше ли сей мир, чем Шлиссельбурга, Ниеншанца и Юрьева конфузные баталии?... В разумении этого главнокомандующий фельдмаршал Огильви предлагает вам сдать Нарву на честный аккорд... Послам для переговоров немедля прибыть в шатер. Чаши налиты и пушки для виватов заряжены...

Генерал Горн ответил глухим голосом: — Нет! Я буду воевать! — Лицо его с ввалившимися щеками и могучим от старости носом было без кровинки, жилватые руки трепетали. — Студай! Через три минуты велю стрелять...

Карпов отсалютовал шпагой, крикнул трубочу: «Отъезжай!» и сам, вместо того, чтобы ускакать, заехал на пляшущей лошади по другую сторону башни. Офицеры кинулись к зубцам, он крикнул им:

— Это кто из вас, вор, невежа, облаял меня, русского офицера, что я вру? Переводчик, переведи живее... А ну, выезжай-ка, если ты смел, сойдемся на поле один-на-один...

Офицеры закричали. Один, толстый, побавровел, затряс кулаками, вырываясь от товарищей... Защелкали курки ружей. Карпов, лежа на шее коня, помчался прочь от башни, — вдогонку выстрелы, посвист пуль. Шагах в двухстах он остановился и, горяча и сдерживая коня, стал ждать противника... Не слишком скоро завизжали на петлях ворота, упал мост и толстый офицер поскакал по полю к Карпову. Был он выше ростом, и лошадь его крупнее, и шпага шведская на два вершка длиннее русской. Для поединка он надел железную кирасу, у Карпова из-под расстегнутого кафтана ветром раздувало кружева.

По обычаю, противники, прежде чем съехаться, начали браниться, один свирепо вылаивал угрюмые слова, другой застрочил московской матерной скороговоркой... Оба выхватили из чересседельных кобур пистолеты, вонзили шпоры и кинулись друг на друга. Враз выстрелили. Швед далеко вперед себя вытянул шпагу, Карпов по-татарски перед носом его коня увернулся, обскакал кругом его и выстрелил из второго пистолета. Швед стукнула зубами и заворчал и опять кинулся с такой злобой, — Карпов тем только и спасся, что загордился лошадью, шпага противника глубоко вонзилась ей в шею... «Эх, погубил коня, — подумал он, — пеший не выстою...» Но швед, как сонный, выпустил рукоять шпаги, зашатался, шаря левой рукой пистолет в кобуре. Соскочив с падающей лошади, Карпов несколько раз ударил его лезвием в бок под кирасу и глядел, задыхаясь, как швед стал все сильнее раскачиваться в седле... «Чорт, здоров, умирать

не хочет!» — и, прихрамывая, побежал к своим...

... Ночная тень покрыла поле, упала роса, давно затихли выстрелы, задымилась костры кашеваров, всякая тварь устраивалась на покой, но в русском лагере не успокоились. В западном его краю, где был построен мост, двигалось все больше огней и доносились крики команды и заунывный рев голосов. «Уууууухнем...» Костры, огни факелов и фонарей перекинулись далеко на правый берег Наровы под самый Иван-город, и скоро этих неподвижных и двигающихся огней стало больше, чем величавых звезд на августовском небе.

На рассвете с башен Нарвы увидели, как по ямгородской дороге все еще тянутся на воловьих упряжках огромные стенобитные пушки и осадные мортиры. Часть их переправлялась по мосту, но большая часть заворачивала и останавливалась на правом берегу, среди скопления войск.

Генерал Горн в это утро поехал верхом в старый город на бастион Гонор, примыкавший к берегу реки. Там он вззошел на высокий рavelин, сложенный из кирпича и считавшийся неприступным. Отсюда он мог простым глазом видеть медные страшилища на литых колесах, мог сосчитать их, и без труда понял замысел царя Петра и свою ошибку. Русские еще раз перекитрили его, старого и опытного. Он проглядел в обороне два самых слабых места — считавшийся неприступным Гонор, который новыми стенобитными пушками русских будет разнесен в несколько дней, и бастион Виктория, прикрывающий город со стороны реки, — также кирпичный, ветхий, времен Ивана Грозного. Два месяца русские отвлекали внимание, будто бы приготавливаясь к штурму мощных укреплений нового города. Но штурм уже тогда, конечно, готовился отсюда. Генерал Горн глядел, как тысячи русских солдат со всей поспешностью копали землю и устанавливали ломовые батареи против Гонора, Виктории и Иван-города, защищавшего переправы через реку. Русские готовили штурм из-за реки по понтонным переправам...

«Очень хорошо, все ясно, глупые шутки кончены, будем драться», — ворчал Горн, шагая по рavelину помолодевшей походкой. — «С нашей стороны выставим шведское мужество. Этого не мало». Он обернулся к кучке офицеров.

— Ад, будет здесь! — и топнул ботфортом. — Здесь мы подставим грудь русским ядрам! Русские спешат, нам нужно спешить. Приказываю собрать в городе всех, кто способен ворочать лопатой. Падут стены, будем драться на контр-апрошах, будем драться на улицах... Нарву русским я не отдам...

Поздно вечером генерал Горн приехал

домой и, сидя за столом, жевал большими зубами жиловатое мясо. Графиня Шперлинг была так испугана рыночными разговорами, что молчала, подавившись негодованием. Надутый мальчик сказал, ведя намусленным пальцем по краю тарелки:

— Мальчишки говорят — русские всех нас перебьют...

Генерал Горн выпил глоток воды, о све-чу закурил трубку, положил ногу на ногу и ответил сыну:

— Ну что ж, сынок, человеку важно вы-долнить своей долг, а в остальном поло-жись на милосердие божие.

6

Всякую бы другую такую длинную и скучную грамоту Петр Алексеевич бросил бы через стол секретарю Макарову: «Прочти, изложи вразумительно», — но это была — диспозиция фельдмаршала Огильви. Если считать, что жалованье ему шло с первого мая и ничего другого он пока не сделал, диспозиция обошлась казне в семьсот золотых ефимков, не счита-тая кормов и другого довольствия. Петр Алексеевич, посасывая хрипящую тру-бочку и похрапывая в лад ей, терпеливо читал написанное по-немецки творение фельдмаршала.

Вокруг свечей кружилась зелененькая мошкара, налетали страшные караморы, опалившись — падали навзничь на бума-ги, разбросанные по столу, закружился было, задувая свечи, бражник — величи-ной с полворобья (Петр Алексеевич вздрогнул, он не любил странных и бес-полезных тварей, в особенности тараканов), Макаров сорвал с себя парик, под-прыгивая, выгнал бражника из шатра.

Близ Петра Алексеевича сидел, раздви-нув короткие ляжки, Петр Павлович Ша-филов, прибывший с фельдмаршалом из Москвы, — низенький, с влажными, улы-бающимися глазами, готовыми все понять на лету. Петр давно присматривался к не-му — достаточно ли умен, чтобы быть верным, по-большому ли хитер, не жаден ли чрезмерно? За последнее время Шафи-ров из простого переводчика при посоль-ском приказе стал там большой персоной, хотя и без чина.

— Опять напутал, напетлял! — сказал Петр Алексеевич, морщась. Шафилов взмахнул маленькими руками в перст-нях, сорвался, наклонился и скоро, точно перевел темное место.

— А, только-то всего, а я думал — пре-мудрость, — Петр сунул гусиное перо в чернильницу и на полях рукописи наца-рапал несколько слов. — По нашему-то прошее... А что, Петр Палыч, ты с фельд-маршалом пуд соли съел, — стоящий он человек?

Сизо-бритое лицо Шафилова расплы-

лось вширь, хитрое, как у дьявола. Он ни-чего не ответил, даже не из осторожности, но зная, что немигающие глаза Петра и без того насквозь прочтут его мысли.

— Наши жалуются, что уж больно горд. К солдату близко не подойдет — брезгу-ет... Не знаю — чем у русского солдата можно брезговать, задери у любого руба-ху — тело чистое, белое. А вши — разве у обозных мужиков только... Ах, цезарий! Зашел к нему нынче утром — он моется в маленьком тазике, — в одной воде и ру-ки вымыл и лицо и нахаркал туда же... А нами брезгует. А в бане с приезда из Вены не был.

— Не был, не был... — Шафилов весь тряся — смеялся, прикрывая рот кончи-ками пальцев. — В Германии, — он рас-сказывал, — когда господину нужно вы-мыться — приносят чан с водой, в коем он по надобности моет те или иные чле-ны... А баня — обычай варваров... А боль-ше всего господин фельдмаршал возму-щается, что у нас едят много чеснока, и толченого, и рубленого, и просто так — равно, и холопы, и бояре... В первые дни он затыкал нос платочком...

— Да ну? — удивился Петр, — что ж ты раньше не сказал... А и верно, что много чеснока едим, впрочем, чеснок вещь по-лезная, пускай уж привыкает...

Он бросил на стол прочитанную диспо-зицию, потянулся, хрустнул суставами и — влруг — Макарову:

— Варвар, смахни со стола эту пакость, мошкару... Вели подать вина и стул для фельдмаршала... И еще у тебя, Макаров, привычка: слушать, дыша чесноком в ли-цо... Дыши отвернувшись...

В шатер вошел фельдмаршал Огильви, в желтом парике, в белом обшитом золо-тым гауном военном кафтане, в спущен-ных ниже колен мягких ботфортах. Под-няв в одной руке шляпу, в другой трость, он поклонился и тотчас выпрямился во весь большой рост. Петр Алексеевич, не вставая, указал ему всеми растопыренны-ми пальцами на стул: — «Садись. Как здо-ров?» — Шафилов, подкатившись — со сладкой улыбкой — перевел. Фельдмар-шал, исполненный достоинства, сел, не-сколько развальясь и выпята живот, далеко отнес руку с тростью. Лицо у него было желтоватое, полное, но постное, с тонкими губами, взгляд — ничего не скажешь — отважный.

— Прочел я твою диспозицию, — ничего, разумно, разумно. — Петр Алексеевич вы-тащил из-под стола план города, развер-нул — тотчас на него посыпалась мошкара и караморы. — Спорю только в одном: Нар-ву надо взять не в три месяца, а в три дня. (Он кивнул, поджав губы).

Желтое лицо фельдмаршала вытяну-лось, будто некто, стоявший сзади, помог ему в этом, — рыжие брови полезли вверх под самый парик, углы рта опустились, глаза выказали негодование.

— Ну, ну! Про три дня сказал стоячая... Поторгуюсь, сойдемся на одной недельке... Но больше времени тебе не отпущу. — Сердитыми щелчками Петр Алексеевич стал сбивать тварей с карты. — Места для батарей выбрал умно... Но — прости — давеча я сам приказал: все заречные батареи повернуть против бастионов Виктория и Гонор, ибо здесь и есть пята Ахиллесова у генерала Горна...

— Ваше величество, — вне себя воскликнул Огильви, — по диспозиции мы начинаем с бомбардировки Иван-города и штурма оного...

— Не надо... у генерала Горна как раз вся надежда, что мы провозимся до осени с Иван-городом. А он нам не помеха, — разве что постреляет маленько по нашим понтонам... Далее, — умно, умно, что ты опасаясь сикурса короля Карла... В семисотом году из-за его сикурса я погубил армию на этих самых позициях... Ты готовишь контр-сикурс, да он — дорог и сложен, и времени на него много кладешь... А мой контр-сикурс будет тот, чтобы скорее Нарву взять... В быстроте искать победы, а не в осторожности... Диспозиция твоя — многомудрый плод военной науки и аристотелевой логики... А мне Нарва нужна сейчас, как голодному краюха хлеба... Голодный не ждет...

Огильви приложил к лицу шелковый платок. Ему трудно было гоняться мыслью за силлогизмами молодого варвара, но достоинство не позволяло согласиться без спора. Обильный пот смочил его платок.

— Ваше величество, фортуна было угодно даровать мне счастье при взятии одиннадцати крепостей и городов, — сказал он и бросил платок в шляпу, лежащую на ковре. — При штурме Намюра маршал Вобан, обняв, назвал меня своим лучшим учеником и тут же на поле, среди стонущих раненых, подарил мне табакерку. Составляя эту диспозицию, я ничего не упустил из моего военного опыта, в ней все взвешено и размерено. Со скромной уверенностью я утверждаю, что малейшее отклонение от моих выводов приведет к гибельным последствиям. Да, ваше величество, я удлинил срок осады, но единственно из того размышления, что русский солдат это пока еще не солдат, но мужик с ружьем. У него еще нет ни малейшего понятия о порядке и дисциплине. Нужно еще много обломать падок о его спину, чтобы заставить его повиноваться без рассуждения, как должно солдату. Тогда я могу быть уверен, что он, по мановению моего жезла, возьмет лестницу и под градом пуль полезет на стену...

Огильви с удовольствием слушал самого себя, как птица, прикрывая глаза веками. Шафиров переводил на разумную русскую речь его многосложные дидакти-

ческие построения. Когда же Огильви, окончив, взглянул на Петра Алексеевича, то несоразмерно со своим достоинством быстро подобрал ноги под стул, убрал живот и опустил руку с гротью. Лицо Петра было страшное, — шея будто вдвое вытянулась, вздулись свирепые желваки с боков сжатого рта, из расширенных глаз готовы были — не дай боже, не дай боже — вырваться фурии... Он тяжело дышал. Большая жилистая рука с коротким рукавом, лежавшая среди дохлых карамор, искала что-то... нащупала гусиное перо, сломала...

— Вот как, вот как, русский солдат — мужик с ружьем! — проговорил он сдавленным горлом. — Плохого не вижу... Русский мужик — умеет, смышлен, смел... А с ружьем — страшен врагу... За все сие палкой не бьют! Порядка не знает? Знает он порядок. А когда не знает — не он плох, офицер плох... А когда моего солдата надо палкой бить, — так бить его буду я, а ты его бить не будешь...

...В шатер вошли генерал Чамберс, генерал Репнин и Александр Данилович Меншиков. Взяв по кубку вина из рук Макарова, сели где придется. Петр, поглядывая в рукопись фельдмаршала со своими пометками, карандашом очерчивая и помечая на карте, — (стоя перед свечами и отмахиваясь от мошканы) — прочел военному совету ту диспозицию, которая через несколько часов привела в движение все войска, батареи и обозы.

7

Простоволосые женщины кинулись к лошади генерала Горна. Схватили за узду, за стремяна, вцепились в полы его кожаного кафтана... Худые, черные от колоти пожаров, выкатывая глаза — кричали: «Сдавай город, сдавай город...» Мрачные кирасиры — его конвой, также схваченные, не могли к нему пробиться... Рев русских пушек сотрясал дома на площади, забросанной обгорелыми балками, битой черепицей. Был седьмой день канонады. Вчера генерал сурово отверг разумное и вежливое предложение фельдмаршала Огильви — не подвергать город ужасам штурма и ярости ворвавшихся войск. Генерал — вместо ответа — швырнул скомканное письмо фельдмаршала в лицо парламентеру. Об этом узнал весь город.

Как белыми, тусклыми глазами генерал глядел на лица кричащих женщин, — они были исковерканы страхом и голодом, — таково лицо войны! Генерал вытащил из ножен шпагу и плашмя стлз ударять ею по головам и понукать лошадей. Закричали: «Убей, убей! Топчи до смерти!» Он покачнулся — его тащили с седла... Тогда раздался неслыханный грохот, содрогнулось даже его железное

сердце. За черепичными крышами старого города взвился черно-желтый столб дымного пламени — взорвались пороховые погреба. Высокая башня старой ратуши зашаталась. Закричали истошные голоса, люди шарахнулись в переулки, площадь опустела. Генерал, держа шпагу поперек седла, поскакал в направлении бастиона Гонор. Из-за реки налетали крутым полетом быстро увеличивающиеся шары, с шипением падали на крыши домов, нависших фасадами над улицей, и на кривую улицу, крутились и разрывались... Генерал бил и бил огромными шпорами шарахающуюся лошадь в окровавленные бока...

Бастион Гонор был окутан пылью и дымом. Генерал различил груды кирпича, опрокинутые пушки, задранные ноги лошадей и — огромный пролом в сторону русских. Стены рухнули до основания. Подошел раненный в лицо, серый от пыли командир полка. Генерал сказал: «Приказываю — врага не пропустить...» Командир взглянул на него не то с упреком, не то с усмешкой... Генерал отвернулся, толкнул лошадь и узкими переулками поскакал к бастиону Виктория. Несколькими раз ему пришлось прикрываться кожаным рукавом от пламени горящих домов. Подъезжая, он услышал взрывающий полет ядер. Русские стреляли метко. Полуразбитые стены бастиона вспучивались, взметывались и опадали. Генерал слез с лошади. Круглолицый, молочного румяный солдат, взявший у него повод, упрямо не глядя в глаза, Генерал ударил его кулаком в перчатке снизу под подбородок и по рухнувшему кирпичу полез на уцелевшую часть стены. Отсюда он увидел, что штурм начался...

Меншиков бежал через плывучий мост среди низкорослых стрелков — интерманландцев, потрясая шпагой — кричал во весь рот. Все солдаты кричали во весь рот. По ним бухали чугунные пушки с высоких стен Иван-города, бомбы шлепались в воду, нажимая воздух, с шипением проносились над головами. Меншиков добежал, соскочил на левый берег, обернувшись — топал ногами, махал краем плаща... «Вперед, вперед!» Горбатые от ранцев стрелки густо бежали через осевший мост, — а ему казалось, что топчутся... «Живей, живей!» — и он, как пьяный, раскатывался сотворенной тут же руганью.

Здесь, на левом берегу, на узкой полосе, между рекой и сырой крепостной стеной бастиона Виктория, было мало места, перебежавшие теснились, напирали, замедляли шаг, пахло едким потом. Меншиков по колена в воде побежал, перегоняя колонну: «Барабанщики — вперед! Знамя — вперед!»... Пушки Иван-города били теперь через реку по колонне, ядра шлепались у берега, окатывая водой,

разлетались о стены, обжигали осколками, мягко, лишко ударяли в людей... Передние ряды, срываясь, взмахивая руками, уже карабкались по кирпичной осыпи пролома на гребень... Забили барабаны... Крепче, крепче покатились крик по колонне стрелков, вползающих на гребень... Там, за гребнем, хрипло завопил голос по-шведски... Рванул запл... Заволокло дымом... Стрелки хлынули через пролом в город.

Вторая штурмующая колонна проходила мимо генерала Чамберса. Он сидел на высокой лошади, мотавшей головой в лад барабанам. На нем была медная, вычищенная кирпичом кираса, которую он надевал лишь в особо торжественных случаях, тяжелый шлем он держал в руке, чтобы солдаты могли хорошо видеть его налитое крючконосое лицо, похожее на раскаленную бомбу. Он хрипло, бесчувственно повторял: «Храбрые русские — вперед... Храбрые русские — вперед...»

В голове колонны — через луг к бастиону Гонор — беглым шагом шел батальон преображенцев, — рослые на подбор, устатые, сытые, в маленьких треуголках, надвинутых на брови, штыки привинчены к ружьям, так как был приказ, — не стреляя — колоть. Батальон вел подполковник Карпов. Он знал, что на него смотрят и свои, и шведы, притаившиеся в проломе. Шел, шегольски выкатив грудь, как голубь, вытянув нос, не оборачиваясь к батальону. Позади него четыре барабанщика, надрываая сердце, били в барабаны. Полсотни шагов оставалось до широкого пролома в толстой кирпичной стене, — Карпов не ускорил шага, только плечи его стали подниматься. Видя это — солдаты, сбивая шаг, нажимали — задние на передних. «Ррррра та, рррра та» — рокотали барабаны. В проломе медленно поднимались железные каски, ружейные дула... Карпов закричал: «Бросай оружие, сволочи, славайсь!» И со шпагой и пистолетом побежал навстречу залпу... Блеснуло, грохнуло, ударило в лицо пороховым дымом... «Неужто — живей?» — обрадовался... И отвалил преодолевший страх, от которого у него поднимались плечи... Душа захотела драки... Но солдаты перегнали его, и он напрасно искал — на кого наскочить со шпагой... Видел только широкие спины преображенцев, работающих штыками, как вилами — по-мужицки...

Третья колонна — Аникиты Иваныча Репнина — с осадными лестницами бросилась на штурм полуразбитого бастиона Глория. Со стен бегло стреляли, бросали камни и бревна, зазгли бочки со смолой, чтобы лить ее на осаждающих. Аникита Иваныч в горячке топтался на низенькой лошади у подножья воротной башни, подсутив огромные обшлага — потрясал кулачками и кричал тонким голосом,

подбадривал — из опасения, чтобы солдаты его не оплошали на лестницах. Один и другой и еще несколько, подшибленные и поколотые, сорвались с самого верха... Но — бог миловал — солдаты лезли на лестницы густо и зло. Шведы не успели опросткинуть огненные бочки — наши были уже на стенах...

Графиня Шперлинг хватала за руки детей, будто каждый раз пересчитывала их. Вскочив — прислушивалась, — все ближе раздавались выстрелы, бешеные крики дерущихся... Она вытягивала вывернутые руки, жарко шептала перекошенным ртом: «Ты этого хотел, изверг, ты, ты, упрямый, бессердечный человек...» Девочки с плачем кричали: «Мама, замолчи, не надо...» Мальчик засовывал в рот кулак, глядел, как сестры плачут...

Близко загромыхали колеса, графиня кинулась к окошку, — ковыляющая лошадь со сломанной ногой тащила грузеную всяким добром телегу, за ней бежали женщины с узлами... «В замок, в замок! Спасайтесь!» — кричали они... Четверо солдат пронесли носилки... И еще несли носилки, и еще носилки с восковыми лицами раненых... Потом она увидела сутулого старика с мешком, — известного богача, дававшего деньги под заклад, — торопливо шаркая туфлями, он нес подмышкой визжащего поросенка... Вдруг бросил и поросенка, и мешок и побежал... Совсем близко зазвенело разбитое стекло... «Оо-й» — затянул мучающийся голос... На дальнем конце площади она увидела генерала Горна... Он махал рукой и куда-то указывал... Мимо него тяжело проскакали кирасиры... Горн ударил шпагой несколько раз по ребрам шатающуюся лошадь, — на его почерневшем лице были видны все зубы, как у волка, — и, высоко подпрыгивая, вскачь скрылся в переулке... «Карл! Карл! — графиня выбежала в сени, отворила дверь на улицу, — Карл! Карл!..» И тогда она увидела русских, — они пробирались вдоль домов по опустевшей площади и поглядывали на окна... У них были широкие лица, длинные волосы, на шапочках — медные орлы...

Графиня так испугалась, что стояла и глядела, как они подходят, указывая на нее и на комендантский флаг над дверью. Солдаты окружили ее, тыча пальцами — заговорили возбужденно и сердито... Один — плосколицый идол — толкнул ее и пошел в дом... Когда он толкнул ее, будто простую бабу на базаре, в ней взорвалась вся ненависть, столь долго душившая ее, — и к старому мужу, заевшему ее век, и к этим русским варварам, доставлявшим столько страданий и страха... Она вцепилась в плосколицого солдата, вытащила его из сеней, шипя и захлебываясь обрывками слов, царапала ему ще-

ки, глаза, кусала его, била коленками... Солдат ошалело отбивался от взбесившейся бабы. Повалился вместе с ней на камни... Его товарищи, дивясь такой бабьей лютости, взялись ее оттащить, рассердились, навалились, разняли, а когда раступились — графиня лежала ничком, свернув голову, с дурным, синим лицом... Один солдат одернул юбку на ее заголившихся ногах, другой сердито обернулся к трем девочкам и мальчику в дверях... Мальчик, перебирая ногами, кричал без голоса, без плача... Солдат сказал: «Ну их к черту, идем отсюда, ребята!..»

В три четверти часа все было конечно. Как ураган ворвались русские на площади и улицы старой Нарвы. Остановить, отбросить их было уже невозможно. Генерал Горн приказал войскам отступать к земляному валу, отделявшему старый город от нового. Вал был высок и широк, здесь он надеялся, что полкам царя Петра придется обильно смочить своей кровью крутые раскаты.

Генерал сидел на лошади, опустившей голову до самых копыт. Поднявшийся свежий ветер щелкал его личным — желто-черным — значком на высоком древке. Полсотни кирасир, угрюмо и неподвижно, стояли полукругом за его спиной. С высокого вала генералу видны были пролеты нескольких улиц. По ним должны отступать войска, но улицы продолжали быть безлюдными. Генерал глядел и ждал, жуя сморщенными губами. Вот, на дальнем конце одной, потом и другой улицы стали перебегать человечки. Он не мог понять — что это за человечки и зачем они перебегают? Кирасиры за спиной его начали глухо ворчать. Появился отчаянно скачущий верховой, он спрыгнул с лошади у подножья вала и, придерживая правой рукой окровавленную кисть левой руки, полез по крутому откосу. Это был адъютант Бистрем, без шпаги, без пистолетов, без шляпы, с оторванной полкой мундира...

— Генерал! — он поднял к нему безумное лицо. — Генерал! О, боже, боже мой!

— Я слушаю вас, поручик Бистрем, говорите спокойно...

— Генерал, наши войска окружены. Русские свирепствуют... Я не видал такой резни... Генерал, бегите в замок...

Генерал Горн растерялся. Теперь он понял — что это были за человечки, перебежавшие вдали через улицы. Медленные мысли его, всегда приводившие к твердому решению, — смешались... Он не мог ничего решить. Ноги его вылезли из стремян и повисли ниже брюха лошади. Он не очнулся даже от клекчущих, тревожных восклицаний его кирасир... С двух сторон по широкому валу во весь конский мах, с наступающим визгом, мчались бородатые казаки. в устрашающих высоких, сбитых на ухо, бараньих

шапках. Они размахивали кривыми саблями и целились из длинных самопалов. Бистрем, чтобы не видеть этого ужаса, припал лицом к лошади генерала. Кира-сиры, оглядываясь друг на друга, стали вынимать шпаги, бросали их на землю и слезали с коней.

Первым подсказал разгоряченный полковник Рен и схватил за узду лошадь генерала:

— Генерал Горн, вы мой пленник!

Тогда он, как сонный, приподнял руку со шпагой, и полковнику Рену, чтобы взять у него шпагу, пришлось с силой разжать пальцы генерала, вцепившиеся в рукоять...

Не будь здесь фельдмаршала Огильви, давно бы Петр Алексеевич поскакал к войскам, — за три четверти часа они сделали то — к чему он готовился четыре года, что томило и заботило его, как незаживаемая язва... Но — чорт с ним! — приходилось вести себя, как прилично государю согласно европейского обычая. Петр Алексеевич важно сидел на белой лошади, — был в преображенском кафтане, в шарфе, в новой мохнатой треугольной шляпе с кокардой, правую руку с подозрительной трубой упер в бок, — смотреть отсюда с холма было уже не на что, на лице выражал грозное величие... Дело было европейское: шутка ли — штурмом взять одну из неприступнейших крепостей в свете.

Подсказывали офицеры, — Петр Алексеевич кивком подбородка указывал на Огильви, — и рапортовали фельдмаршалу о ходе сражения... Занято столько-то улиц и площадей... Наши ломают стеной, враг повсюду в беспорядке отступает... Наконец, из разбитых ворот Глуриа выскочили и понеслись во весь лошадиный прыск три офицера... Огильви поднял палец и сказал:

— О! Хорошие вести, я догадываюсь...

Доскакавший первым казачий хорунжий с ходу слетел с седла и, задрвав черную бороду к царю Петру, гаркнул:

— Комендант Нарвы генерал Горн отдал шпагу...

— Превосходно! — воскликнул Огильви и рукой в белой лосиной перчатке изящно указал Петру Алексеевичу: — Ваше

величество, извольте проследовать, город ваш...

Петр стремительно вошел в сводчатую рыцарскую залу в замке... Он казался выше ростом, спина была вытянута, грудь шумно дышала... В руке — обнаженная шпага... Взглянул бешено на Александра Даниловича, — у него на железной кирасе были вмятины от пуль, узкое лицо осунулось, волосы потные, губы запеклись; взглянул на маленького Решнина, сладко улыбающегося глазами-щелками; взглянул на румяного, уже успевшего хватить чарку вина, полковника Рена; взглянул на генерала Чамберса, довольного собой, как именинник.

— Я хочу знать, — крикнул им Петр Алексеевич, — почему в старом городе до сих пор не остановлено побоище? Почему в городе идет грабеж? — Он вытянул руку со шпагой, — Я ударил нашего солдата... Был пьян и волок девку... — Он швырнул шпагу на стол, — Господин бомбардир поручик Меншиков, тебя назначаю губернатором города... Времени даю час — остановить кровопролитие и грабеж... Ответишь не спиной, головой...

Меншиков пообедал и тотчас вышел, волоча порванный плащ. Аникита Решнин мягким голосом сказал:

— Неприятель-то пардон весьма поздно закричал, того для наших солдат унять трудно, так рассердились — беда... Посланные мной офицеры их за волосы хватают, растаскивают... А грабят в городе свои, жители...

— Хватать и вешать для страха!

Петр Алексеевич сел у стола, но тотчас поднялся. Вошел Огильви, за ним двое солдат с офицером вели генерала Горна. Стало тихо, только медленно звякали звездчатки на шпорах Горна. Он подошел к царю Петру, поднял голову, глядя мимо мутными глазами, и губы его искривились усмешкой... Все видели, как сорвалась со стола, с красного сукна, сжалась в кулак рука Петра (Огильви испуганно шагнул к нему), как отвращением передернулись его плечи, он молчал столько долго, что все устали не дышать...

— Не будет тебе чести от меня, — негромко проговорил Петр. — Глупец! Старый волк! Упрямец хищный... — И метнул взор на полковника Рена. — Отведи его в тюрьму, пешим, через весь город, дабы увидел печальное дело рук своих...

СТИХИ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

★

1

К чему слова и что перо,
Когда на сердце этот камень,
Когда, как каторжник ядро,
Я волочу чужую память?
Я жил когда-то в городах
И были мне живые милы,
Теперь на тусклых пустырях
Я должен разрывать могилы,
Теперь мне каждый яр знаком,
И каждый яр теперь мне дом.
Я этой женщины любимой
Когда-то руки целовал,
Хотя когда я был с живыми,
Я этой женщины не знал.
Мое дитя! Мои румяна!
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня.
Я говорю за мертвых. Встанем,
Костями загучим — туда,
Где дышат хлебом и духами
Еще живые города.
Задуйте свет. Спустите флаги.
Мы к вам пришли, не мы — овраги.

2

Ракеты салютов. Чем небо черней,
Тем больше в них страсти растерзанных
дней.

Летят и сгорают. А небо черно.
И если себя пережить не дано,
То ты на минуту чужие пути,
Как эта ракета, собой освети.

3

Чужое горе, оно, как овод,
Ты отмахнешься — и сядет снова,
Захочешь выйти, а выйти поздно,
Оно — горячий и мокрый воздух;
И как ни дышишь, все так же душно,
Оно не слышит, оно — кликуша,
Оно приходит и ночью ноет,
А что с ним делать — оно чужое.

4

Будет солнце в тот день или дождь, или
снег,
Тишина удивит. К ней придет человек.
Тишиной начинается все. Как во сне,
Человек возвращается вновь к тишине.
О, победы последний салют! Не слова
Нам расскажут о счастье — вода и трава,
Не орудья отметят сражений конец,
А биение крохотных птичьих сердец.
Мы услышим, как тихо летит мотылек,
Если ветер улегся и вечер далек.

5

День придет, и славок громкий хор
Хорошо прославит птичий вздор,
И, смеясь, наденет стрекоза
Выходные яркие глаза,
Будут снова небеса для птиц,
А Медынь для звонких медуниц,
Будут только те затемнены,
У кого луна и без луны,
Будут руки, чтобы обнимать,
Будут губы, чтобы целовать,
Даже ветер, почитав стихи,
Заночует у своей ольхи.

6

Прошу не для себя, для тех,
Кто жил в крови, кто дольше всех
Не слышал ни любви, ни скрипок,
Ни роз не видел, ни зеркал,
Под кем и пол в сенях не скрипнул,
Кого и сон не окликал.
Прошу для тех: и цвет, и щебет,
Чтоб было звонко и пестро,
Чтоб, умирая, день, как лебедь,
Ронял из горла серебро.
Прошу до слез, до безрассудства,
Дойдя, войдя и перейдя,
Немного смутного искусства
За легким пологом дождя.

СКАЗКА О ПРАВДЕ

Пьеса в 4-х действиях

МАРГАРИТА АЛИГЕР

★

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Зоя	Люська — девочка лет 7
Мать Зои	Николай Петрович — школьный делопроизводитель
Борис — школьный товарищ Зои, вожак и любимец класса	Шепелев — секретарь МК ВЛКСМ
Клава — школьная подруга Зои, не по годам маленькая, очень добросовестная девушка	Краснов } партизаны
Алеша	Денисов }
Гриша	Раненый
Костик	Старуха
Вера	Мальчик и девочка — ее внуки
Лиза	Московские комсомольцы, партизаны.
Светлана	

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Когда в зале гаснет свет, в наступившей темноте раздается взволнованный девичий голос:

— Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил, и жизнь моя
Без этих трех блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бесильной старости твоей.

Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли или тюрьмы
На этот свет родимся мы.

Высокий обрывистый берег реки. Растрепанная березка, увешанная косынками, блузками, кепками и беретками. Ранний вечер. Зоя одна. Она продолжает:

— И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,

Я убежал. О, я, как брат,
Обняться с бурей был бы рад.
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил.

Выстрел. Зоя вздрагивает. Мимо бегут девушки и несколько ребят-болеельщиков. Впереди всех Алеша. У него вид самого заправского спортивного судьи. В руках пистолет и часы. Сзади, путаясь в брюках и шиджаках, которые ему поручено тащить, спешит паренек в очках, которого зовут Костином.

Алеша. Зойка! Ребята пошли на тысячу метров!

Светлана. Борька впереди всех! Борька!

Зоя. Костик! Стой!

(Костик останавливается, роняет одежду.)
Костик. Чего?

Зоя. Это очень хорошо, что я поймала тебя. Есть важный разговор.

Костик. Потом, ладно?

Зоя. Нет, именно сейчас. Стой! Вот что,

Костик. Скажи мне, Костик, ты любишь конфеты?

Костик. Да.

Зоя. «Мишку на севере»?

Костик. Да.

Зоя. Вот и чудесно! Стой, стой! Еще не все. Скажи, как по-твоему, что делает барабан, когда на нем не барабанят?

Костик. Ты сошла с ума!

Зоя. Видишь — не знаешь. И никто этого не знает.

Костик. Говори, какое дело, или я иду.

(Зоя молчит.)

Костик. Говори, какое дело?

Зоя. Да не хочу я с тобой разговаривать... Вот привязался.

Костик. Здравствуй! Зачем же звала?

Зоя. Звала... звала... тебя спасала.

Костик. То-есть как?

Зоя. Очень просто! Заставил бы тебя Алеша в соревнованиях участвовать, и очутился бы ты на самом последнем месте... Вот как нехорошо...

Костик. Я? На последнем?

Зоя. Ты, на последнем!

Костик. Ну, уж извини. Уж это чорт-те что! В конце концов, я к тебе не привязывался. (Слышны смех, аплодисменты.) Ну вот, кончили. Сюда идут! Борька первым.

Зоя. Сюда? Садись! Скорее садись.

Костик. Зачем?

Зоя. Так нужно. Садись. Рассказывай.

Костик. О чем?

Зоя. О чем хочешь... Что-нибудь интересное... Что-нибудь такое, чтоб дух захватывало.

Костик. Вот уж... Право... Чего-то я не соображу...

Зоя. Ну, скорей! Фу, какой глупый!

Костик. О чем рассказывать-то?

Зоя. Ну, о чем хочешь.

(Сверху спускаются ребята. Они в майках, в тренировочных штанах. Здесь Борис, Алеша, Гриша, Лиза, Светлана, Вера.)

Гриша. Победителю Борису — физкульт-ура, физкульт-ура, физкульт-ура-ура!

Лиза. Получай венок!

Алеша. Внимание! Тишина! Все, как в лучших домах, Победителю вручается венок.

Зоя (Костику, нарочито громко). Ну вот... Он бежит по снегу, босиком, как выскочил из дому. А метель крутит — жуть!

Костик. Кто бежит?

Зоя. Он! Который узнал, что белые заняли соседнее село. Он бежит...

Костик. Ничего не понимаю.

Зоя. Да помолчи ты, ради бога! Слушай...

Светлана. А вот интересно, кем ты будешь, Боря? Кем тебе хочется?

Борис. (Он очень хорош собою, ладный и сильный. Видно, как ему славно и удобно жить на земле). Иногда самолеты хочу строить. Летать, испытывать новые машины. Или моряком... Города строить тоже интересно. А вот мама хочет, чтобы я был доктором. И вдруг этим все и кончится.

Вера. Так не будет! Не надо! Не смей!

Борис. Отчего? Стать корабельным врачом, объездить весь мир. Плохо, что ли?

Зоя. А там нужно пробежать так... Через поле, потом река, мост такой проваленный, а потом еще лесок. Главное, он понимает, что если не успеет до ночи, то все пропало... Самые смелые, самые чудесные ребята пропадут ни за что... А ведь еще можно спасти. Потому что — если он расскажет Чапаеву, то Чапаев выручит...

Светлана. Эй, Зойка! Ты чего там рассказываешь?

Зоя. Не мешай! Вот он добирается до реки... начинает искать мост... Моста нет... Туда-сюда, моста нет... Решает вплавь...

Костик. Зачем же вплавь, когда зима? По льду!

Зоя. Там пороги. Чудило! Река не замерзает...

Вера. Ты молодец, Борька. Самый настоящий молодец.

Алеша. Теперь ты погиб! Захвалят! Не верь женщинам.

Зоя. Вода ледяная. Руки сводит... Была такая минута, когда он решил, что не доплывет. Закрыв глаза... Конеч...

Костик. Ну?

Зоя. А знаешь, в воде или когда устанешь — очень слышно как сердце стучит... Вроде, часы... Вот он подумал — часы! А потом подумал — выбежал, было восемь часов, сейчас девятый, а расстреливать будут в полночь.

Лиза. Ребята! Это что-то интересное. Зойка, иди сюда!

Зоя. Не мешай! Хочешь слушать — садись к нам!

Вера. погоди, мы сейчас.

(Девушки и Гриша подсаживаются к Зое и Костику. В отдалении остаются Алеша и Борис.)

Алеша. Я же говорил — не верь женщинам. Вот все нас и бросили.

Борис. Наплевать! Позагораем.

Зоя. Устроились?

Гриша. Давай!

Зоя. Тогда он стиснул зубы и поплыл. Добрался до берега. Теперь только лесом, а там уже близко деревня, где Чапаев... А в лесу страшно. Деревья стоят селые, тихо-тихо, как в сказке. Ели мохнатые, пни черные. И вдруг он слышит, будто плачет кто-то... Смотрит — ничего не видно... Опять пошел — плачет. За спиной... даже дыхание слышит. Оборачивается...

Лиза. Ой!

Алеша. Мистика! Наверно, чорт!

Зоя. Нет! Вовсе не чорт!

(Алеша поднимается, подходит ближе.)

Зоя. Вот он оборачивается... Никого нет... Только за деревьями мелькает, вроде огонек...

(Борис встает, насвистывая, уходит.)

Алеша. Куда, Борька?

Борис. Пока вы тут чертей ловите, я пойду штаны надену.

(Уходит.)

Светлана. Ну, дальше.

Зоя (на миг смешавшись). Дальше?.. Ну, в общем он добрался до Чапаева, рассказал — и всех спасли. Вот и все.

Алеша. Кого всех?

Зоя. Которых поймали белые...

Лиза. А что за огонек?

Зоя. Забыла... не помню.

Светлана. Это свинство! На самом интересном месте взяла да и бросила.

Вера. Когда все это было?

Зоя. Давно.. в гражданскую войну.

Светлана. Свинство! А про что было в начале? Костик, ты слушал, про что было в начале?

Костик. Я не знаю

Светлана. Вот тебе на! Спал, что ли?

Костик. Я не спал. Просто начала не было. Он бежит, он плывет... А кто он — неизвестно!

Зоя. Герой! Неужели непонятно? Герой Советского Союза.

Гриша. В гражданскую-то? Тогда и Советского Союза еще не было.

Зоя. А кто такой Щорс? А кто такой Чапаев? И потом, может же быть Герой Советского Союза и не Герой Советского Союза.

Светлана. Ну что ты, Зойка, плетешь?

Зоя. Это трусы выдумали, что можно стать героем так просто, вдруг. Ну как мне вам объяснить? Ведь не может же так быть, чтобы жил человек, никудашный, противный, лгун, подлец, растяпа, и вдруг бы в один понедельник он совершил подвиг, и все стали бы его превозносить и любить. Потому что ведь героя обязательно любят. Он и до того, как совершает свой подвиг, в чем-то герой. И как он живет на свете, это страшно интересно и таинственно. Ну как мне вам объяснить? Ну неужели вы не понимаете?

Светлана. Отлично понимаем. Герой это такой, как Борис. Самый смелый, самый сильный, во всем первый и лучший.

Вера. Да, да, Борька непременно будет героем.

Зоя. Нет, все-таки вы не совсем понимаете.

(Появляется Борис.)

Гриша. Мы все понимаем. Мы глядим на Бориса и все понимаем.

Зоя (испуганно). Что?

Гриша. Многое! Борька, мы тут тебя в герои определили. Согласен?

Борис. Хорошо бы!

Вера. Боря, ну, пожалуйста, ну мы тебя очень просим. Если не ты, то больше никому.

Светлана. Нет, вы подумайте, девочки...

Гриша. Тут и мальчики.

Светлана. И мальчики! Подумайте — свой собственный герой, из нашей школы. Во всех газетах про него пишут — Борис Андреевич Фомин, Борис Андрее-

вич Фомин, а мы его просто Борькой зовем, мы с ним десять лет проучились, все про него знаем, всем рассказываем, в гости к нему ходим, все нам завидуют...

Алеша. На матчи всей компанией! Какие там билеты! «Борис Андреевич, почет и уважение! Пожалуйста на Северную трибуну! Сколько рядов желаете занять?» Красота!

Костик. И машина у него своя.

Лиза. Боря, будь другом, устрой на Козловского.

Борис. Видишь ли, я узнаю... К сожалению...

Алеша. Братцы, он уже зазнался! Еще героем не стал, а уже зазнался.

Зоя. Это похоже.

Борис. Ты думаешь?

Зоя. У нас во дворе один тип живет. У него, пожалуйста, и машина своя, и на стадионы он ездит, и в театры...

Лиза. А он кто?

Зоя. Ловкач! И никакой не герой. И никогда героем не будет. И о герое и говорить надо совсем иначе, чем мы, вот сейчас.

Костик. В древности в честь героев слагали музыку.

Вера. Музыка! Это хорошо. Это все может объяснить, даже самое трудное, даже лучше, чем слова.

Светлана. Музыка, музыка! Ах, сколько сегодня будет чудесной музыки. Ребята, а еще не пора? В котором часу начало?

Гриша. В восемь ноль-ноль, по московскому времени.

Лиза. Так ведь еще надо домой поспеть! Собраться, переодеться! Ой, девочки...

Гриша. И мальчики.

Лиза. Мальчикам это неинтересно. Какое у меня платье новое! Умопомрачение! Светлана. А у меня туфли... Каблук вот такой. Прямо страшно. Так высоко — даже голова кружится.

Вера. А за танцы премии давать будут?

Гриша. Непременно.

Вера. Слышишь, Борька?

Борис. Слышу.

Вера. Мы с тобой все первые призы должны забрать. Будем танцевать только друг с другом, и все поймут, что мы самая лучшая пара.

Борис. А не поймут — мы заберем премии и убежим.

Зоя. Бала не будет!

Светлана. Почему?

Зоя. В газетах написано. Надо газеты читать.

Лиза. Врешь!

Зоя. Очень нужно!

Лиза. У кого есть газета?

Зоя. Ни у кого нет газеты.

Костик. Я взял. Вот «Комсомольская правда».

Зоя. Дай сюда!

(Зоя выхватывает у Костика газету и рвет ее.)

Светлана. Зойка!

(Зоя смеется.)

Борис. Да что вы ей верите? Она выдумала, а вы испугались.

Вера. Ну, конечно, выдумала, Зойка, ведь правда? Ну, я по глазам вижу. Ведь этого не может быть, чтобы отменили весенний бал. Такого случая еще не было.

Лиза. Весенний бал отличников учеб!

Зоя. А ты не отличница.

Лиза. У меня три «хора». Это не важно, Борька, ты зайдешь за мной вечером, ладно?

Борис. Можно.

Вера. Ой, девочки, девочки, девочки...

Борис. Перестаньте вы тарыхтеть! Надоело, честное слово! Смотрите, как красиво. Тополя цветут, будто метель метет. Давайте помолчим.

Лиза. Мертвые десять минут!

Все. Кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит — тот и съест.

(Все сразу смолкают.)

Вера (шопотом). Зойка, а ты в чем сегодня пойдешь?

Зоя. Не пойду я.

Вера. Как не пойдешь?

Зоя. Так и не пойду.

Вера. Ну и дура. Там так весело будет.

Зоя. Весело! Разве сегодня может быть весело... В такой день... В такой день...

Вера. В какой?

Зоя. Ни в какой!

Гриша. Тишина! Кто там нарушает?

Зоя (вызывающе). Я.

Борис. Ясно. Кто ж еще? Вот уж вздорный характер!

Зоя. Что?

(Пауза.)

Алеша. Ну, все в порядке: земля вертится вокруг солнца, солнышко светит, трава зеленеет, Борька с Зойкой поссорились.

Вера (тихо Зое). Просто ты Борису завидуешь и ко всем его ревнуешь, потому что сама в него влюблена.

Зоя (запальчиво). Я? Я влюблена? Да плевать мне на него Красавчик писаный! Парикмахер! Смотреть противно. Да если б я была влюблена, если б я только зажала...

Вера (насмешливо). Ну и что бы было?

Зоя (упавшим, но все-таки упрямым голосом). Ничего бы не было. (Отодвигается в сторону).

(От реки подымается девушка, маленькая, со смешными косичками. Косички мокры, мокрое платье прилипло к телу, в одной руке она держит мокрые тапочки, в другой какую-то брошюрку, которой она размахивает в воздухе, стараясь ее просушить. Всеобщее оживление.)

Борис. Это еще что за явление? Откуда ты, Клавка?

Лиза. Что случилось?

Клавка (торопливо). Замочилась малечко. (Разглядывает брошюрку на свет). Ничего, просохла. Буквы вроде даже чернее стали. Ой, ребята, кто из вас друг? (Тычет кому-то в руки брошюрку). На, проверь меня. (И не дождавшись согласия, заткнув пальцами уши и зажавши глаза, начинает читать). «Члены ВЛКСМ обязаны а) изучать труды Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина и разъяснять марксистско-ленинское учение широким массам молодежи; б) выполнять решения партии большевиков и комсомола и активно участвовать в политической жизни страны...»

Костик. Это устав комсомола.

Клавка (продолжает без передышки). «...в) показывать пример социалистического отношения к труду, зорко охранять социалистическую собственность, бороться с пьянством, с хулиганством, с нетоварищеским отношением к женщине; г) овладевать знаниями, культурой, наукой и техникой; д) изучать военное дело, быть беззаветно преданным Великой Социалистической Родине и быть готовым отдать за нее все свои силы, а если понадобится — и жизнь!» Уф! Подряд кое-как знаю, а уж вразбихку обязательно собысь. Спросите меня вразбихку.

(В это время от реки подымаются еще двое ребят. Они останавливаются, глядя на Клаву.)

Первый. Она.

Второй. Сидит.

Первый. Сохнет

Второй. Зубрит.

Первый. А что, если отсюда да в реку? Я думаю, уже не выбеется.

(Все оборачиваются к вновь прибывшим).

— О чем вы это?

— Кого это вы?

Первый. Ее, Клаву. Мы ее с собой на лодку взяли, а она как стала устав зубрить...

— Ну и что?

Второй. Ну и надоела так, что...

— Что?

Первый. Что мы ее на мелком месте из лодки выбросим.

(Хохот.)

Клавка (беспомощно). Ну, какие вы, какие вы! Просто не люди какие-то. Ведь меня завтра в комсомол принимают. Устав спросят, а я... Память ведь у меня совсем худая, а вы... (машет рукой). Ну? Ну, спросите же меня вразбихку.

(Хохот.)

Зоя. Вот мы смеемся, а надо совсем не так.

Алеша. А как же надо, плакать, что ли?

Зоя (упрямо). Надо не принять ее в комсомол, вот что надо.

К л а в а (обиженно). Это почему же?

Зоя. Потому что быть настоящим комсомальцем, это вовсе не значит помнить устав до буквы по порядку и вразбивку... Это значит... Ну как мне вам объяснить? Вот, слушайте... Это значит... что если бы я, комсомолка, жила в Париже, и он был бы моей родиной, то немцы никогда не взяли бы его.

А л е ш а. Ребята! Ребята! Я предлагаю командировать Зойку в Англию для предотвращения вторжения.

Г р и ш а. Высадить Зойку десантом.

Б о р и с. Вот вы, ребята, хотели Клавку в реке выпустить, а по-моему лучше уж эту... ораторшу.

(Зоя, не выдержав, убегает и по дороге теряет несколько страниц из тетради, которую она держит подмышкой.)

Л и з а. Это уж ты чересчур, Борька.

Б о р и с. Да ну ее!

Г р и ш а. Какая-то она стала за последнее время — не поймешь.

К о с т и к. Меня вот тоже зазвала, говорит — дело, а сама спрашивает, что делает барабан, когда на нем не барабаният.

Б о р и с. Ну, а ты что ответил?

К о с т и к. Я сказал, что она сошла с ума.

Б о р и с. Здорово нашелся!

А л е ш а. Ребята, кто тетрадь потерял? Это чья? Ничья? Тогда считаю своей. Что тут такое? (Читает). «Когда я поняла, что влюбилась...» В женском роде. Ой, девушки, сейчас мы все про вас узнаем. «Когда я поняла, что влюбилась, мне стало так чудесно жить на свете, и я решила, что все теперь изменится, я буду очень счастливой, и доброй, и дружной со всеми, но этого не случилось. Как же это? Почему это так? Не понимаю». (Алеша оглядывает слушателей и добавляет от себя). И я не понимаю. Просто, как говорится, такой характер. Почитаем дальше. Внимание!

(Показывается Зоя, она ищет потерянные страницы.)

Л и з а. Кто же это пишет?

Г р и ш а. Ну-ка, признавайтесь, девочки.

Б о р и с. Читай дальше, сами догадаемся.

А л е ш а. Дальше стихи какие-то длинные переписаны:

«Люблю отчизну я, но странною
любовью,

Не победит ее рассудок мой».

Б о р и с. Это Лермонтов.

С в е т л а н а. Стихи пропусти, дальше читай.

А л е ш а. Дальше написано: «Пародия на стихи Лермонтова:

«Любить, но кого же?
На время не стоит труда,
А вечно любить невозможно».

«Причесываться, но зачем же?
На время не стоит труда,
А вечно причесанной быть
невозможно».

(Хохот.)

(Зоя, онемев, с отчаянным лицом, опускается на траву.)

А л е ш а. Далее нечто любопытное: «Я все время думаю об этом. И, кажется, начинаю понимать. Ведь если я люблю, а тот, кого я люблю, меня не любит, это означает только одно: что я недостаточно люблю его. Потому что я твердо верю, если любит человек огромной, великой любовью, то он становится прекрасен. В награду за большие чувства человек всегда получает счастье, иначе мир несправедлив и ужасен. А я верю в то, что в конечном большом счете мир справедлив и прекрасен и жить ужасно интересно и чудесно. О, я добьюсь, чтобы это было так, чего бы это мне ни стоило». (Алеша опускает тетрадь и добавляет.) Серьезная дама. Опасная дама. Берегись тот, в кого она врзалась.

А л е ш а. Дальше опять стихи:

«Знаете что, скрипка?

Мы ужасно похожи:

Я вот тоже ору,

А доказать ничего не умею».

Справедливо о многих.

«Прощай, прощай и помни обо мне!»
(«Гамлет».)

(Алеша выразительно машет рукой.)

«Не забыть посмотреть в словаре, что значит: субстанция, концессия, бювар».

Вот какая любопытная. Что значит бювар — захотела узнать. Ишь ты!

«Человек создан для счастья, как птица для полета».

(Короленко.)
Красиво сказано. Жаль только, что не сама придумала.

«Умри, но не давай поцелуя без любви».
(Чернышевский.)

Молодец Чернышевский, правильно заметил. Вот если бы мне приказано было поцеловать Клавку, я бы лучше умер.

Б о р и с. Дальше, дальше читай, Алеша.

А л е ш а. А дальше нету. Продолжение в следующем номере. «Прощай, прощай и помни обо мне».

Л и з а. Кто же это писал, а?

В е р а. По-моему, просто дура.

Б о р и с (задумчиво). А по-моему, очень хорошая девушка. (Зоя всдрагивает.) Я хотел бы встретить такую девушку. Я бы мог полюбить такую девушку и хотел бы, чтобы она меня любила.

Г р и ш а. Ну, теперь все девочки наперебой начнут кричать, что это они писали.

Вера. Подумаешь, очень нужно.
Лиза. А вдруг бы она оказалась красивой, эта девушка? Как тогда?

Борис. Она оказалась бы красивой. Она же пишет, что стала бы красивой. И потом, разве бывает некрасивым тот, кого полюбишь?

Алеша. Ну, дай тебе бог! А нам, ребята, пора домой собираться.
(Всеобщее оживление.)

Светлана. Только бы мама успела мне чулки подштопать.

Вера. А я в носках пойду.
Зоя (подходит к Алеше, тихо). Дай-ка мне эти странички, Алеша, а то я опоздала, прослушала, интересно почитать.
(Алеша протягивает ей листки, но Борис перехватывает их.)

Борис. Нет, я их возьму себе. (Вызывающе глядит на Зою). И буду искать эту девушку, как королевич искал Золушку по башмачку.
(Зоя молча отходит Борис выжидающе следит за ней.)

Борис. Что же ты не огрызаешься, Зойка?
(Зоя молча пожимает плечами.)

Алеша. Пошли, ребята
Костик. -Давайте на конечную, там проще садиться.
Лиза. Верно, на конечную.

Борис. Что же ты сидишь, Зойка? (И вдруг останавливается и несколько мгновений молча глядит на нее. Зоя сидит, освещенная закатом и каким-то внутренним новым светом). Как на тебя красиво солнце падает. Какая ты вдруг красивая, Зойка.

Зоя (вскакивает). Пошли!
Борис (изумленно следящий за ней, с внезапной решимостью). Нет, не пошли! Они пусть едут трамваем, а мы, я и ты, мы пойдем пешком. Хочешь?

Зоя (тихо). Хочу.
Борис (все уши, они остались вдвоем с Зоей). Очень странно. Была река, солнце, трава, все как обычно. И вдруг река... солнце... трава... я не знаю, как объяснить... Ты понимаешь?

Зоя. Да.
Борис. Как нашу школу далеко видеть. Самое красивое здание в районе.

Зоя. А я люблю невзначай пройти мимо нашей школы и взглянуть, как она там без меня. Очень интересно. Наша школа, а меня в ней нет. Я сама по себе, она сама по себе. Это так чудно, даже невозможно... Правда, хочется сейчас тихо говорить? И тебе, да?

Борис. Да.
(От реки подымается Клава.)

Клава. А где ребята? Я в сторонке сидела — занималась.

Борис. Ребята домой поехали.
Клава. А вы куда?
Борис. Мы к Зое, пешком.

Клава. Тогда я с вами. Мне одной страшно.

Зоя (умоляюще). Клабочка!
Клава. Что?

Зоя. Мы... поговорить... Нам нужно... В общем...

Борис. В общем ты иди туда, а мы сюда.

Клава. Нет, я с вами. Вы говорите, я слушать не буду.

Зоя. Ладно. Тогда так... Ты только сзади пойдешь. Хорошо?

Клава. Хорошо.
(Борис и Зоя уходят. Следом за ними Клава. Высокие, зеленые берега Москвареки, седые тополя, дачные палисадники. Идут Борис и Зоя.)

Борис. Я тебя непременно свожу туда. Там река глубокая и чистая, закат во все небо, на обрыве растут красные прямые сосны и в воде до самого дна отражаются. Я всегда хожу туда один. Мы пойдем туда вместе, хочешь?

Зоя (тихо). Хочу.
Борис. Ты никогда не каталась на глассере? Это так здорово, ты увидишь. Мы покатаемся вместе, хочешь?

Зоя (тихо). Хочу.
(Они идут дальше, за ними на расстоянии плетется Клава.)

Клава. «Овладевать знаниями, культурой, наукой и техникой... Изучать военное дело...»

(Клава уходит. Стемнело. Зажигаются за рекою огни Москвы. Проходят Борис и Зоя.)

Борис. Сегодня бал будет замечательным. Как хорошо, что в Колонном зале.

Зоя. Да.
Борис (не очень твердо). Ты ни с кем не танцуй, только со мной. Пожалуйста.

Зоя. Да.
Борис. Ты надень новое красивое платье.

Зоя (растерянно останавливается). У меня нет никакого нового платья.

Борис. Ну и не надо. Это я так. Все равно.

Зоя. Но у меня есть блузка новая. И юбка тоже почти как новая.

Борис. Хорошо.
(Дом Зои. Палисадник. Калитка. Скамеечка.)

Борис. Вот и пришли. Ты переодевайся, я подожду тебя здесь у калитки. Можно?

Зоя. Можно.
Борис. И еще... Вот ты просила эти листочки сегодняшние, вот они, возьми их, если хочешь. Теперь все будет так, как ты захочешь.

Зоя. Ну тогда пусть они остаются у тебя.

Борис. Спасибо. Я тебя жду.
Зоя. Прощай.
Борис. Почему прощай?

Зоя. Так... Просто это у меня такая привычка. (Убегает в дом и, на мгновение задержавшись на крыльце, уже невидимая отошедшему в сторону Борису, взволнованно шепчет) Я оуду хорошая! Я буду добрая! Я буду веселая!

Борис (один, листая странички дневника). «Человек создан для счастья, как птица для полета»...

(Входит Клава.)

Клава. Наговорились?

Борис. Да.

Клава. Слушай, Боря, ты будь другом, ты скажи Зое... А то ведь она, знаешь, какая.. Еще вправду будет завтра против.

Борис. Будет. И я тоже, наверное... Понимаешь, Клава... Она в общем права.

Клава. Права, права. Влюбился в нее, вот и говоришь, права! (Пауза). И она в тебя тоже, я знаю. Когда ты не видишь, она на тебя вот так смотрит.

Борис. Как?

Клава. Я не умею объяснить — но вот так, пристально

Борис. А ты не трепись.

(Входит Зоя. Она очень нарядная, тоненькая и строгая.)

Зоя. Вот и я готова.

Клава. А я как же?

Борис. Что?

Клава. У меня же билета нет на бал. Я же не отличница.

Зоя. Ничего — проведем! Проведем, Боря?

Борис. Непременно.

(На дорожке показывается маленькая девочка с большой подушкой. Ни на кого не глядя, она проходит в калитку зоиного дома.)

Зоя. Люська! (И добавляет растерянно.) Подождите, я сейчас!

(Зоя убегает следом за девочкой.)

Борис. Разве у нее есть младшая сестренка?

Клава. Нет. Это Люська соседская. Чудно!

(Возвращается Зоя.)

Зоя (тихо). Боря, милый, ты не сердись на меня, пожалуйста. Ты иди.

Борис. Что? А ты?

Зоя. Я не могу, я очень хочу, но не могу. Вот возьми, Клава, мой билет. Теперь тебя никто не задержит.

Борис. Зоя!

Зоя. Иди, Боря, пусть тебе будет весело.

Борис. Ну, Зоя.. Это уж... Дурак я! Дурак! Прощай! Идем, Клава!

(Борис и Клава уходят. Зоя одна. Она опускается на скамейку и неожиданно совсем по-летски всхлипывает. Пауза.)

Возвращается Клава.)

Клава. Зойка, ты, может, передумала? А то Борис идет и та-ак молчит, что прямо слушать страшно. Не передумала?

Зоя (сквозь слезы). Нет. Я дала честное комсомольское слово.

Клава. Кому?

Зоя. Вот этой Люське.

Клава. Подумаешь, мелкоте такой. Зоя. Но ведь это я дала слово. Ты не говори Борису.

Клава. Почему?

Зоя. Не хочу. Не хочу, чтобы он меня жалел. Беги, Клава. Скажи ему, что я веселая. Пусть злится. Только, чтоб не жалел.

Клава. Тогда спасибо.

Зоя. За что?

Клава. За билет.

(Клава целует Зою и быстро убегает. Пауза. Входит Люська.)

Люська. Зойка! Ты что плачешь, Зоя? Из-за меня?

Зоя. Нет... я веселая. А вдруг я бы ушла, Люська, что тогда?

Люська. Как же так можно? Ты же обещала.

Зоя. Верно. Как же так можно! Ничего! Ничего! Ничего! Через год опять будет такой же бал. И зимой на каникулах. Еще столько будет балов... Еще столько будет... Только вдруг он дружить со мной не захочет? Что тогда?

Люська. Не знаю. Ты сказку расскази. Ты обещала.

Зоя. Неохота. Какую еще?

Люська. Про рыбака и рыбку.

Зоя. Нет, день, длинная. Я тебе лучше песню спою. Вот слушай:

Маленький, зелененький,
Коленками назад,
Все кузнечик прыгает,
Чему-то очень рад.
Он рад зеленой травушке,
Тому, что зелен сад,
Тому, что сам зелененький,
Коленками назад.

Люська. Смешная. Давай еще.

Зоя. Что?

Люська. Что хочешь.

Зоя. Ну, слушай и засыпай.

Люська. А ты рассказывай.

Зоя. Вот жили-были на свете люди, добрые и злые, красивые и некрасивые, умные и глупые. И всем им очень хотелось быть счастливыми. И каждый думал: для того чтобы стать счастливым, надо ему обидеть соседа, сделать его несчастным, и потому никто из них никогда не бывал счастливым. Вдруг пришла Правда... Нет, не так. Не пришла, она всегда была.

Люська. А какая она была?

Зоя. Какая? (На миг задумывается.) Она была очень красивой, очень смелая... Нет, не так. Она была такая, как все. Только сердце у нее было очень горячее

и очень большое, да еще глаза у нее были не такие, как у всех — людей.

Люська. А какие?

Зоя. А такие, что видела она не только то, что близко, а далеко-далеко, всю землю и все, что раньше было, и все, что потом будет. Вот увидела она всю землю и всех людей, как они друг дружку обижают и какие они все бедные, и сказала: — Люди, люди, неправильно, все неправильно, счастье, оно одно на всех, и биться за него нужно всем, вместе. — Вот и решила Правда пойти по земле и всем людям думу свою рассказать. И надела Правда котомку, положила в нее хлеба краюшку да соли щепотку и пустилась в путь-дороженьку. Ой! (Зоя вскакивает.) Не успела! Опять не успела!

Люська. Что? Что? Что не успела?

Зоя (с досадой). Звезда упала, а я не успела желание задумать. Вот ведь и желание наперед заготовила, а все-таки не успела.

Люська. А какое желание?

Зоя (загадочно). Такое желание, самое хитрое, самое лучшее. Такое желание, чтобы все на свете увидеть, чтобы до самого большого счастья дожить, чтобы жить на свете долго-долго, если можно, всегда...

(Темнеет. Вдали возникает песня. Она звучит все ближе и ближе.)

ПЕСНЯ О СИНЕЙ ЗВЕЗДЕ

Жить и жить, во что бы то ни стало.
Жить светло, жить гордо, жить
всегда.

Чтобы издаёка нам сияла
синяя и вечная звезда.
Птицы запевают вместе с нами,
море бьет волнами в берега,
Над веселыми годами,
над весенними садами,
над родными городами
тополияная пурга.

И на чистом солнечном восходе,
молодого сердца не тая,
по колено в росных травах бродит
радость беспричинная твоя.
И под золотыми небесами
ты в нее поверишь навсегда,
За высокими горами,
за глубокими морями,
за дремучими лесами
светит синяя звезда.

(И на последних строках песни слышен сонный голосок Люськи.)

Люська. А дальше, дальше, Зойка, дальше что было? Дальше рассказывай.

Зоя. А ты спи.

Люська. А ты рассказывай.

Зоя. И надела Правда котомку, положила в нее хлеба краюшку да соли щепотку и пустилась в путь-дорогу...

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина вторая

Вечер начала октября 1941 года. Ясно и сухо, но уже по-осеннему прохладно. На школьной крыше сидит группа ребят. Вокруг Москва, притихшая, сосредоточенная, военная. Ребята едят горячую картошку, которая дымится в большой миске, разговаривают тихими, немного даже таинственными голосами.

Лиза. Бродит бесшумно, как призрак, как тень, даже шагов не слышно.

Клава. И не спит вроде. Хоть днем, хоть ночью, всегда на него наткнешься.

Алеша. Неужто его дом так разбомбили, что и жить нельзя?

Светлана. В общем, рамы вылетели, все попадало: книги, посуда, и кошку его сибирскую чем-то тяжелым просто совсем распушило.

Алеша. Кошку — в лепешку.

Светлана. Тетя Даша рассказывает: он вошел в комнату, походил-походил, головой покачал, вроде и не очень расстроился, а как увидел эту кошку, застоялся, из комнаты выбежал, сел на крыльце, руками за голову держится и полчаса только одно бормотал: «Наташенька, Наташенька, Наташенька...»

Алеша. Это кошку, что ли, Наташкой звали?

Светлана. Да не кошку, а дочку его. Кошка-то ведь дочкина. Потом встал, ушел и с той поры туда и не показывается. Так и живет теперь здесь в школе — в завхозовской каморке.

Клава. И бродит, и бродит, и шагов не слышно, просто жуть. Я намерил от страха вскрикнула, а он: «Не пугайся, девочка, это я, Николай Петрович».

Лиза. Да он, небось, и голодный сидит. Как же это?

Светлана. Ему тетя Даша хлеб берет.

Клава. И сегодня, я видела, у него в каморке полная авоська овощей висит.

Алеша. Я ему вчера там штемсель починил. Очень был доволен. «Теперь, — говорит, — есть возможность питаться горячей пищей, и бриться можно будет самому».

Лиза. Ничего, обживется помаленьку, привыкнет.

(Пауза.)

Борис (тихо). Как тихо. Совсем к вечеру город стихает.

Алеша. Скоро прилетит.

(Пауза. И в тишине вдруг кто-то отчаянно вопиет.)

Все. Что? Что? Кто это? Что случилось?

Тот, кто вскрикнул. Да нет, это я картошкой обжегся.

Лиза. Ну тебя, испугал до чего.

Алеша. А вчера он пришел сюда на крышу во время тревоги, постоял-постоял, посмотрел-посмотрел и задумчиво так говорит: «Иногда мне кажется, что все это страшный сон, но потом я понимаю: это не сон, это явь, потому что во сне все было бы много страшнее».

Борис. А верно: представить себе, что до войны снится такое...

Светлана. Я бы решила, что я с ума схожу.

Клава. А я бы так испугалась, ну, до смерти. Я всегда, как испугаюсь, кричу со сна, а уж тут бы я так завопила, так завопила, что весь бы наш дом проснулся.

Алеша (добродушно). И с чего ты, право, Клава, стала лазить сюда каждую ночь?

Клава. А что? Я уже не боюсь, привыкла. Вот только, когда сирена воеет, очень противно, на край света бы убежала от нее. По мне, хоть бы зенитки бухали, хоть бы бомбы падали, только бы не сирена.

Алеша. Вот на фронте, там и бомбят, и стреляют без sireны. Видимо, придется тебе отсюда на фронт бежать.

Клава (очень серьезно). Вот и я думала-думала и надумала...

Алеша (перебивая ее). Нет, ребята, вы можете себе представить нашу Клаву на фронте.

Борис. Действительно.

(Все смеются.)

Клава (очень миролюбиво). Я сама себе представить не могу. Ну, ничего, как-нибудь... (И вдруг вскрикивает). Ой!

Все. Что? Что? Что такое? (И глядят в ту сторону, куда указывает Клава. Там стоит какая-то длинная неясная фигура.)

Николай Петрович. Не пугайся, девочка, это я, Николай Петрович.

Все. Добрый вечер, Николай Петрович. Николай Петрович. Прохладно. Длинные холодные вечера. Ну что ж, ничего не поделаешь, осень берет свое: начало октября—конец сентября, по старому стилю. Будьте осторожны, ребята, не простужайтесь.

Клава. Хорошо, Николай Петрович.

Николай Петрович. Я, собственно, к вам по хозяйственному вопросу. Не скажет ли мне кто-нибудь из вас, когда

надлежит солить суп, до готовности овощей или лучше?

Лиза. Лучше, когда закипят, Николай Петрович.

Николай Петрович. Я, знаете ли, никогда супа не варил, не приходилось как-то... У меня жена великая кулинарка.

Борис. Она теперь где, Николай Петрович?

Николай Петрович. Я эвакуировал их с дочуркою в Казахстан. Там у жены сестра работает врачом, одинокий человек. Им будет легче вдвоем.

Борис. А вам бы не хотелось поехать к ним, Николай Петрович?

Николай Петрович. Не уверен. Я всю свою жизнь москвич. Затем, высокогорный климат при моем сердце... А самое главное: дисциплина, дисциплина, товарищи. Во время учебного года делопроизводитель должен быть на месте, независимо от того, идут ли занятия.

Светлана. Но ведь вам трудно жить одному, Николай Петрович.

Николай Петрович. Да, это верно. Не знаю, собственно, сколь трудно, но во всяком случае непривычно. Всю жизнь у меня была большая семья... Вернее, не столь большая семья, сколь маленькая комната. В одной комнате двое взрослых и двое детей кажутся очень большой семьей. И еще ведь было много книг и кошка. Вы, вероятно, слышали — ее разбомбило.

(Он замолкает. Ребята сочувственно молчат.)

Николай Петрович. И комнату тоже. Впрочем, теперь потребности изменились. Спасибо Алеше, наладил штепсель, и жизнь постепенно налаживается. К зиме, я надеюсь, тут будет спокойнее, а то сейчас очень шумно — сегодня, например, уже несколько часов в коридоре какие-то ребята играют в чехарду.

Алеша. Шестиклассники!

Борис. Неужели опять являлись?

Светлана. Никакого спасения нет.

Николай Петрович. Все-таки правы англичане, которые в первые же дни войны эвакуировали из Лондона всех детей без исключения!

Девочка лет 13-ти (поднимается на крышу и, подойдя к ребятам, говорит, вызываясь глядя на Алешу). Я к вам, Николай Петрович, Николай Петрович, я к вам. У вас в комнате что-то кипит неизменно.

Николай Петрович. Суп! (Убегает.)

Девочка. Боря Фомин, команда шестого класса в полном сборе и требует, чтобы ты пустил ее на крышу.

Алеша. Ишь ты! Требует.

Борис. Лучше убирайтесь домой, куда тревоги нет.

Девочка. Вот мы и хотим в тревогу. Почему ты нас днем на крыше держишь.

когда ни одна зенитка не стреляет? Мы хотим в тревогу подежурить.

Борис. От каждого по способностям, каждому по потребностям — это будет при коммунизме. А у нас еще только его первая стадия, то-есть социализм.

Алеша. В общем, беги вниз, пока кочички целы.

(Девочка убегает.)

Борис. Ну, ребята, поели, пошумели, расходись по постам.

(Все расходятся, остаются только Алеша и Борис.)

Алеша. Ну, Борис, говорю тебе в последний раз, надоела мне эта лавочка, дальше я тянуть ее не имею никакого интереса. Дружба дружбой, а больше я тебя ждаты не намерен.

Борис. Подумаешь, как ты заждался. Давно ли нам райком путевки дал?

Алеша. Да плевал я на путевки. Там идет война, ты понимаешь, настоящая война, а мы сидим, как балбесы, и над Клавкой командуем. Дело себе тоже наши.

Борис. Ладно тебе шуметь. Сказано: нашему району с завтрашнего дня явка. Стало быть, и пойдем как управимся. Завтра или послезавтра.

Алеша. Иди ты со своими послезавтра знаешь куда! Или ты дрейфишь, что ли?

Борис. Да брось ты ругаться. Завтра, так завтра. Надо только подумать, кого мы вместо себя тут начальствовать поставим.

Алеша. Вот чертова девка Зойка, шумела здесь, шумела, а когда она нужна, ее ясное дело, нет.

Борис. А ну ее!

Алеша. Была б она здесь, оставили бы мы ей крышу. И дернуло ее на эту картошку уехать. Почти все отбоярились, а она нет, как миленькая поехала.

Борис. Туда ей и дорога
(Несколько мгновений ребята сидят молча.)

Алеша. И вообще ты зря к ней придираешься всегда. Она хоть и с фокусами и чудит иногда, а вообще девчонка стоящая. Наверно даже.

(Борис молчит.)

Алеша. И потом она из себя тоже ничего. Такая это ладная сильная, тонкая. Я не люблю, знаешь, когда девчонки толстые.

(Борис молчит.)

Алеша. И когда девчонки квелые, размазня бессильная, я тоже не люблю. А она, и со стороны видать, крепкая, руки у нее сильные, а ладошки, знаешь, даже удивительно, какие гладкие да мягкие.

Борис. А ты почему знаешь?

Алеша. Просто она меня раз по щеке погладила.

Борис (недоверчиво). Погладила?

Алеша. Ну так, похлопала, в общем.

Борис. Наверно, съездила. С нее станет.

Алеша. Еще чего! Дался бы я! Просто был такой случай, я что-то очень здорово сморозил остроумно, и она засмеялась и эдак меня по щеке потрпала. Нет, в общем, я зря говорить не стану — она стоящая.

Борис. Эх, Алешка!.. Мне часто, знаешь, казалось, ах, какая она! А раз, знаешь, мне совсем показалось: уж такая она стоящая, такая замечательная, и так я тогда в нее поверил, а она... В общем, тут у нас неприятность получилась, и я здорово на нее рассердился.

(Алеша молча слушает.)

Борис. А жалко, правда, что нет ее сейчас. Мы бы с ней поговорили, я бы ей сказал... она бы... я бы... Ведь может и не встретимся больше никогда... (Он замолкает, не договорив, и мальчики сидят молча.)

Алеша (тихо и стараясь говорить небрежно). Боря, знаешь чего, давай, правда, еще дня два подождем в МК являться. Они ведь не нынче-завтра с картошки вернутся.

Борис (резко). Ни одного дня больше тянуть не желаю. Мы пойдем завтра чем свет, и брось свои штучки. Наверно, просто страшно стало.

(Алеша молчит, не протестуя и не обижаясь. Борис тоже смолкает. Пауза. И тогда у трубы показывается какая-то неясная фигура.)

Зоя (неуверенно). Ничего не вижу с непривычки.

Алеша (вскакивает от неожиданности). Кто это?

Зоя. Это я, Зоя. А это кто? Я ничего не вижу.

(Алеша и Борис стоят молча, растерянные и ошарашенные.)

Зоя (подходя ближе) Алеша? Ну, конечно, Алеша. Что ты так на меня смотришь, ну я, Зоя. А там еще кто?

Алеша (тихо). Там... Борис.

Зоя (радостно). Борька! (но сразу осекается и, не поздоровавшись с ним, резко отворачивается. Мальчики продолжают стоять в растерянности. Зоя тоже несколько растерявшаяся и озадаченная их поведением) Ну... Ну тогда... А еще кто тут есть? (И освоившись с темнотою, кричит, оглядываясь по сторонам) Эй, ребята! Кто тут есть? Это я, Зойка! Я приехала! Идите все сюда!

Борис (резко). А ну, не кричи тут! Ты не на картошке, а на крыше. Это военный объект, а не огород.

(Зоя вспыхивает и видимо хочет ему ответить, но не успевает, так как ее окружают другие ребята.)

Все Зоя! Зойка! Зойка приехала. Здравствуй Зойка! А ну-ка, покажись.

Борис (резко). Это, собственно, черт знает что такое, срывать людей с постов.

Зоя (презрительно). Я погляжу, бюрократизм успешно внедряется в дело дежурств на крыше.

Борис. Это не бюрократизм, а дисциплина.

Алеша. Ну теперь окончательно выяснилось — все, что было, это только страшный сон. На земле ничего не случилось, все по-старому — Зойка с Борисом спорятся. Непонятно только, почему на крыше. Страшный сон продолжается.

Все — Ну, расскажи, как картошка?

— Трудно было?

— А Лизка Семенова здорово канючила?

— А Оля Жданова всем надоела?

— Ну расскажи, расскажи!

Зоя (отмахиваясь). Да что там рассказывать, ничего интересного. Подумаешь, дело, картошку рыть. Если бы вы знали, как мне там все время на крышу хотелось, да чтоб тревога, на всю ночь...

(Говоря это, Зоя пожимает всем руки, когда она доходит до Светланы, та вскрикивает.)

Светлана. Ой, Зойка, что у тебя с руками?

Зоя (разглядывая руки). А что?

Светлана. Какие-то они у тебя корявые, жесткие, в пузырьках да в мозолях.

Зоя (смущенно). Так ведь это все-таки картошка.

Алеша. А ну, покажи (Берет ее руку.)

Лиза. Если ты проголодалась, мы тебя можем угостить, у нас вот от ужина осталось. (Протягивает ей миску с картошкой.)

Зоя (смеясь, отмахивается). Ну вас, ну вас. Видеть не могу. Кажется, на всю жизнь она мне опротивела.

(Все смеются.)

Лиза. Ты когда приехала? Сегодня, что ли?

Зоя. Сегодня в обед. От площади пешком шла. Трамвай не ходит. Там прошлой ночью дом разбомбили, знаете, угловой, где библиотека.

Алеша. Ну, не может быть... библиотека...

Борис (озабоченно). Ты что, Алексей? Клава. У тебя там родной кто?

Алеша. Там библиотечка одна, очень симпатичная старушка. Она мне велела зайти в субботу, послезавтра значит... Второй том «Графа Монте-Кристо» прибережь обещала, а то я за ним весь год охочусь. Очень дочитать охота.

(Все молчат, и вдруг из мрака раздаётся чей-то голосишко. — Боря Фомин шестой класс надеется, что ты вспомнишь о нем ипустишь его на крышу!)

Борис. Надеется? Ну и пусть надеется.

Алеша. Надежда юношей питает.

Борис. Советую вам, окрыленным на-

деждой, разойтись по домам до тревоги, а завтра явиться в свое время.

(Голосишко. — Никуда мы не уйдем. — Пауза.)

Зоя. А я все-таки думала: вот приеду, а у нас занятия начались. Теперь, значит, уже не начнутся?

(Все молчат.)

Зоя. Жалко. Самое лучшее время было начало школьного года. Помните: школа отремонтирована, класс новый, парты чистые, покрашенные, можно наново начинать царапать, на весь год хватит. Ведь нам еще только год оставалось учиться. Еще только один раз в жизни. И вот нет у нас этого последнего раза...

(Все молчат.)

Николай Петрович (появляясь из мрака). Борис, там учащиеся шестого класса очень просили меня походатайствовать перед тобой о допущении их на крышу.

Борис. Не пушу. Пусть привыкают к дисциплине.

Николай Петрович. Да, лондонцы безусловно поступили правильно. Зоя, а эта маленькая девочка, которую ты оставила в учительской, сидит там и плачет.

Люська (появляясь из мрака). Я не там плачу, я тут плачу. Дяденька пошел, а я за ним, Зойка, ну что же ты?

Николай Петрович. Зачем ты привела с собой ребенка? Это что, сестра твоя?

Зоя (с досадой). Нет, это Люська соседская. Ее всегда одну мать оставляет, она плачет, а мне жалко. Теперь она тут без меня целый месяц одна просидела, и сегодня прямо, ну, вцепилась в меня. А я целый месяц не видела ребят, первый вечер в Москве... Ну, и пришлось ее взять с собой.

Борис. Значит, в тот вечер... ты из-за нее, из-за нее...

(Сирена.)

Все. Тревога! Тревога!

Клава. Ну вот, не могу, не могу! Всю душу переворачивает. Хоть самой с ней вить влору.

Люська (скачет на одной ножке и шопотом).

Маленький, зелененький,
коленками назад,
все кузнечик прыгает,
чему-то очень рад,
Он рад зеленой травушке,
тому, что зелен сад,
тому, что сам зелененький,
коленками назад.

Николай Петрович. Пойдем со мной вниз, девочка. (Уходит с Люской.) (Сначала вдали и сразу же совсем близко начинают бить зенитки.)

Клава. Пах-пах-пах, бульк-бульк-

бульк! Как будто бы в очень большой кастрюле очень быстро кипит очень много манной каши.

(Все смеются.)

Борис. Ох, Клава, Клава, не дает тебе немец спокойно страшной заниматься.

Клава. Не дает. А я люблю. Очень интересно. Соберешь всякую ерунду вместе, перемешаешь, перевернешь, поколдуешь над ней и смотришь, такая вкуснота получается, такая вкуснота!..

Борис. Видно тебе на роду написано страшной быть.

Клава. Ага. Я так и сказала тому майору, который меня на курсы отбирал.

Борис. На какие курсы? Какому майору? Говори толком.

Клава. Разве вам скажешь толком? Сколько раз пыталась, все перебиваете, не слушаете.

Все. Ну говори, говори.

Клава (торжественно и гордо). Я завтрашний день ухожу на курсы. Не на долгие, так немножко, а потом меня пошлют на фронт, даже не на фронт, а еще дальше.

Алеша (в неистовстве). Обскакала! Обскакала! Клава нас обскакала!

Клава. Вот опять перебиваете. Не на фронт, а еще дальше, через фронт, к немцам в тыл, в партизаны. Мне там больше нравится, никаких тебе сирен...

Алеша (в отчаянии). Досиделись! Подумать только: Клава нас обскакала!

Борис. Ну ладно, не ной, завтра и нас пошлют.

Зоя. Клава, я только приехала, я ничего не знаю, ты меня научи, куда идти, я тоже пойду.

Клава (гордо). Не возьмут тебя, девушек не берут.

Зоя. Как не берут? Ведь тебя же взяли.

Клава. Так то я.

Зоя. А что ты такое за исключение?

Клава. Я — по знакомству. Меня Гриша устроил.

Зоя (в ярости). Гриша устроил! По знакомству! В партизаны — по знакомству! Ну, это мы еще посмотрим!

Алеша. А ты не шуми, Зойка, и никуда не рвись. Тебе придется принять начальство над крышей.

Зоя. Ну и приму, и очень буду рада...

(В это время вдруг стихают зенитки и возникает один чужой, протяжный, невыносимо воющий звук.)

Алеша. Сбросил, сбросил!

Борис. Посты! Дежурные! По местам! (Дальше сцена идет на большой гремющей и негсдующей музыке, на стрельбе зениток, гудении самолетов, свисте бомб. Разрывы зениток, осветительные ракеты, прожектора. Люди стоят на разных углах крыши, каждый говорит то, что думает про себя в эти напряженные минуты.)

Зоя. Как в сказке, непонятно и красиво.

Борис. Как в страшной музыке.
Алеша. Ласей его, лови!
Зоя. Прожектора, ракеты и разрывы,
и ночь в огне, как человек в крови.
И гибнут люди.

Борис. Каждый меткий выстрел
за что-то мстит. За тот разбитый дом.

Там был народ.
Алеша. За «Графа Монте-Кристо».
За непрочтенный разбомбленный том.

Зоя. За этот разворованный врагами
последний в жизни наш учебный год!

Борис. За молодость, не прожитую
нами!

Алеша. За родину!

Зоя. За правду!

Борис. За народ!

Зоя. За то, чтоб люди долго нас любили.

Борис. Чтоб был далеко слышен
гром сердец,

влюбленных и горячих.
Алеша. Сбили, сбили!

Все (сбегаясь). Отвоевал! Попался!
Наконец!

(В скрепленных лучах прожекторов видно, как падает немецкий самолет, и вдруг стихают зенитки, в наступившей полной тишине стоит на московской крыше сбившаяся тесно кучка ребят, и тогда на крышу всходит Николай Петрович. Он сосредоточен и озабочен.)

Николай Петрович (тихо). Борис!

Борис. Что, Николай Петрович?

Николай Петрович. Подойди сюда (и когда тот подходит, еще тише). Здесь начальник не я, а ты, Боря, и я не хочу вмешиваться в твое ведомство, но... Сними свои посты, Боря, уведи всех с крыши и отошли домой. (Борис изумленно глядит на него). Я сейчас звонил одному своему знакомому, и он мне сказал последние сообщения. Заняты Орел и Вязьма. Снимай ребят с крыши! Борис.

Борис. Я ничего не понимаю.

Николай Петрович (оборачивается к ребятам). Ребята... (Голос его странно срывается на миг, и в наступившей тишине он договаривает.) Ребята... Дети... Дети... Уходите с крыши, дети, идите домой, к своим родным. (Несколько секунд стоит тишина, а затем начинают все сразу.)

— Зачем же нам уходить, когда, наверно, опять будет тревога.

— Теперь-то уж обязательно, и не одна.

— Мы не имеем права сейчас оставить крышу.

— Мы никуда не пойдем.

— Мы не понимаем вас, Николай Петрович.

Николай Петрович (сдавленным дрожащим голосом). Дети, поймите, во-

прос решен, через несколько дней они возьмут Москву. Я не хочу, чтобы ваша жизнь подвергалась опасности...

(Все стоят, застыв в молчании, затем к Николаю Петровичу подходит Зоя.)

Зоя (тихо). Вы успокойтесь, Николай Петрович, успокойтесь. Это ничего, вы, наверно, просто не очень хорошо понимаете то, что сейчас сказали. Потому что, если б понимали, верно, вы бы не стали говорить этого нам. Потому что то, что вы считаете решенным, это ведь наша жизнь. Что ж, вы хотите сказать, что кончена наша жизнь?

Николай Петрович. Я ничего не хочу сказать... Я ничего не говорю. Кугу-

зов тоже сдал Москву. Это ничего не решает.

Зоя (не слушая его, оборачивается к Борису). Тебе придется сменить посты, Борис. Мы должны сойти с крыши, мы уже три с половиной месяца стоим на крыше, война за это время подошла ближе, и мы должны делать что-то потруднее. Нужно только решить вместе, куда пойти, где найти свое место, свое самое трудное.

Борис (подходит к лестнице). Эй, кто там? Зовите-ка сюда шестой класс! (Затем он твердо и уверенно идет прямо к Зое и, протянув ей руку, говорит негромко, дрогнувшим от счастливого смущения голосом). Здравствуй, Зоя.

Зоя (радостно). Здравствуй, Боря.

Затмение

Картина третья

Кабинет секретаря МК ВЛКСМ. На стене большая яркая карта. Но обычно спокойная сосредоточенная кабинетная обстановка явно нарушена. В углах свалены какие-то рюкзаки, мешки, к иным привязаны манерки. За большим окном, накрест заклеенными синими полосами, осенняя Москва. Секретарь тов. Шепелев, совсем еще молодой человек, прощается с группой ребят. Среди ребят — Борис.

Шепелев. Значит, запомнили адрес? Лефортово, 173 школа, спросить майора Горина. А он уже разберется, кого куда послать, кого на подготовку, кого прямо в части.

Голоса. — Мы все обученные.

— Мы все — прямо в часть.

Шепелев. Он сам увидит. А со мной торговаться нечего. Только время теряете. Стало быть, добрый путь. Счастливо вам.

Голоса. — До свиданья!

— Пока!

— Счастливо оставаться!

— Авось, скоро увидимся.

Шепелев. Авось, скорее, чем вы думаете. Доброго пути.

(Ребята уходят. Когда открывается дверь, в кабинет врывается шум.)

Борис (отставая). Товарищ секретарь, еще я хотел...

Шепелев. Что?

Борис. Я хотел сказать... Тут к вам придет одна девушка... девчонка одна, в общем, из нашей школы. Она очень подходящая. В общем, вы сами увидите, что она годится. Ну, я пошел.

Шепелев. В добрый час. А насчет девушки... (Борис торопливо выходит). Постой, как же ее фамилия? Эх, и фамилию сказать не успел, застеснялся. Ох, до чего же хочется, чтобы вернулся вот такой целым и невредимым к своей девушке и

чтобы она оказалась действительно подходящей

(В кабинет входит парень.)

Шепелев. Давай, садись. Слушаю тебя.

Парень (протягивает бумагу). Вот путевка. Меня послали Фрунзенский райком. Шепелев. Послали? А сам бы ты не пришел?

Парень (пожимая плечами). Говорят, вам нужны люди.

Шепелев. Угу. Немцы подходят к Москве. Положение очень серьезное.

Парень. Неужели настолько, что не хватает регулярных частей Красной Армии?

Шепелев (несколько мгновений пристально глядит на него). Нет, отчего же. Хватает и регулярных частей.

Парень. Тогда зачем же нас мобилизуют?

Шепелев. Я и сам не пойму зачем. Очевидно, по недоразумению. Неувязка какая-нибудь.

Парень. Вот чорт! Выходит, я зря несколько часов потерял. Жаль.

Шепелев. Сколько лет ты в комсомоле?

Парень. Скоро три года, а что?

Шепелев. А то, что, выходит, мы зря три года потеряли. Жаль

(Телефон звонит.)

Шепелев (снимает трубку). Откуда?

Белорусский вокзал? Слушаю. Сколько народу? Хорошо, сейчас пошлем. Может не сразу, но в течение часа подошлем народ. Привет. (Кладет трубку.) Что же ты стоишь? Можешь идти.

Парень. Но ведь вам, очевидно, все-таки нужны люди...

Шепелев. Вот именно, люди нам нужны. И их, как видишь, пришло немало. Иди и по дороге присмотришься к ним, какие они, наши люди.

Парень. Все-таки вы торопитесь с выводами. Если бы вы уделили мне больше внимания, вы убедились бы в том, что я хороший комсомолец.

Шепелев. Хорошо, загляни ко мне после войны, я охотно уделю тебе больше внимания. А сейчас у меня нет времени. Ступай.

(Парень уходит. Звонит телефон. Секретарь снимает трубку.)

Шепелев. Откуда? 29-й завод? Что? Девушки требуют, чтобы их послали на фронт? Подумаешь, боевые какие, мало им военного завода. Слушай, уговори их как-нибудь. Ничего не слушают? Тогда скажи, что сейчас придет от нас человек, который их отправит на фронт, а я пришлю хорошего агитатора, он их удержит. (Нажимает кнопку звонка.)

(Во время разговора в кабинет входит девушка, нерешительно останавливается.)

Девушка. Разрешите?

Шепелев. Да, да, входи.

Девушка (указывая на стул). Разрешите?

Шепелев. Садись, садись.

(Входит секретарша.)

Шепелев. Пошлите агитатора на 29-й завод. Там девушки на фронт рвутся, надо их удержать, да так, чтобы не обидеть, чтобы им работать захотелось.

(Секретарша выходит.)

Девушка. На фронт хочу. С шести утра тут жду.

Шепелев. Измучилась, наверно?

Девушка. Нет, тут у вас очень здорово. Сразу настроение подымается.

Шепелев. А то оно у тебя плохое было?

Девушка. Не то, чтобы плохое, а все-таки неважное. В городе много растерянных, разговоры всякие. И еще налеты эти.

Шепелев. Страшно?

Девушка. Противно. Утомляют очень. На психику действуют, как мама говорит. Хочу на фронт.

Шепелев. А что ты там делать сможешь?

Девушка. Военной специальности у меня нет, но, я думаю, я могу быть разведчиком.

Шепелев. Дело разведчика это не шутка. А вдруг тебе придется... реку переплыть, как тогда? Ты плаваешь?

Девушка. Плавать-то плаваю, но ведь сейчас поздняя осень, вода холодная...

Шепелев. Надо полагать.

Девушка. Я не пробовала плавать в холодной воде, но на крайний случай авось выплыву. (Усмехаясь) Но вообще, конечно, это маложелательный вариант.

Шепелев. А вдруг такой еще менее желательный вариант: ты попадешься к немцам. Как тогда?

Девушка (улыбаясь). Да, действительно, это еще менее желательный вариант. Но будем надеяться на лучший исход. А в крайнем случае я ничего не боюсь. Я хочу защищать Москву. Я пойду на все, на любую опасность. Даже на неизбежный конфликт с родителями.

(Открывается дверь, вваливается группа ребят.)

Первый. Явились к отправке.

Второй. Вот только мешки захватить, товарищ секретарь.

Шепелев. А, давайте. Все в порядке, стало быть?

Третий. Все в порядке. Распрощались честь-честью.

Четвертый. Мне вот не вышло проститься. Так и не попал домой.

Шепелев. Что так?

Четвертый. Соседи эвакуировались, а жена еще со смены не вернулась, всю ночь проработала на второй. Не знаю, как и быть.

Шепелев. На вот тебе конверт, сложи туда все да адрес напиши. Я прослежу, передадут.

Четвертый. Вот спасибо вам.

(Ребята надевают мешки, подтягиваются. Четвертый парень передает секретарю конверт.)

Шепелев. Будет доставлено. (Ко второму). А ты что в одной гимнастерке?

Второй. Домой не попал. Живу за городом — в Щелкове. Ну, и не хотелось с поездом связываться.

Шепелев. Это не дело. Пока еще тебя обмундируют. (Снимает с себя теплый шарф). Вот бери, у меня дома другой есть, даже лучше, гораздо лучше. Ну, не тяни, не тяни. Нечего время терять. Давайте прощаться, что ли? Да, погодите. (Вдруг резко оборачивается к сидящей девушке). Слушай-ка! Давай отправляйся прямо с этой группой. Сегодня и назначение получишь.

Девушка. Как, непосредственно сейчас, сию минуту?

Шепелев. Ага.

Девушка. Я не знаю, я на это не рассчитывала. У меня еще кое-какие дела...

Шепелев. А когда же, ты думала?

Девушка. Я думала, завтра. Но если сегодня... Мне бы хоть несколько часов.

Первый. Ну, за несколько часов немцы могут пройти еще на несколько километров вперед.

Шепелев. Верно. Идите, ребята.

(Ребята шумно прощаются и уходят.)

Шепелев (возвращаясь к девушке). Ну, что тебе сказать? Девушка ты, наверно, хорошая, и на фронт тебе, видно, хочется очень, но нам ведь и тут люди нужны. Пойди-ка лучше в следующую комнату к товарищу Сергееву, он тебя направит на слабый участок в Москве.

Девушка. Вы думаете так? (Сирена). Опять!

Шепелев. Действительно, черт его знает, что эти немцы себе позволяют. (Звонит секретарше). Чорт! Кнопку у меня заело. Скажи там по дороге девушке, пусть придет ко мне.

(Девушка уходит. В дверях показывается Зоя.)

Шепелев (не оборачиваясь, не видя ее). Скажи там ребятам, Леночка, пусть идут в убежище. Тревога все-таки.

Зоя. Убежище — какое некрасивое слово. Жалкое слово, обидное слово. Ну, с какой же стати в убежище? Разве люди сюда за этим пришли?

Шепелев (оборачиваясь с интересом глядит на нее). А-а... Я думал, это моя секретарша. Ну, входи.

Зоя (подходит к столу, торопливо говорит). Моя фамилия Космодемьянская, имя Зоя, год рождения 1923. Еще что-нибудь вам нужно знать?

Шепелев. Не спеши, не следи. Нам еще очень много чего нужно знать. Куда ты так торопишься? И почему ты такая, какая-то встрепанная? Вон и пуговица оборвана. Думаешь, если война, так можно уже и неряхой ходить. А еще девушка.

Зоя (вспыхнув). Поглядела бы, какой бы у вас был вид, если бы вам протискиваться через такую толпищу. От самой Покровки... весь переулочек... Сколько бы у вас пуговиц отлетело.

Шепелев. А зачем же ты так? Подождала бы.

Зоя. Ну да, и прити последней. И ждешь нивест сколько, сейчас, когда немцы там... наступают... Нет, уж спасибо за совет.

Шепелев. Пожалуйста, сколько угодно.

Зоя (не слушая его). Конечно, во всем виноваты ребята, сказали, раньше надо в райком...

Шепелев. И правильно сказали.

Зоя. Ну я пошла в райком, а там тоже народу тьма. По несколько дней стоят. Ну я подумала: сначала там жди, потом тут жди, а немцы там наступают. И пошла прямо сюда, а тут толпа... Ну я подумала...

Шепелев. Что же у тебя и путевки райкомовской, стало быть, нет?

Зоя. Нет.

Шепелев. Как же я с тобой без путевки разговаривать буду?

Зоя. А... а что там в путевке?

Шепелев. Ну, имя, фамилия, кто ты, откуда.

Зоя. Так ведь это все я вам и сама сказать могу.

Шепелев. Это-то так, так ведь путевки в МК райком дает не каждому, только лучшим.

Зоя (смушается). Лучшим? Лучшим... (и покорным упавшим голосом). Ну, хорошо, я пойду в райком. (Тихо и понуро идет к дверям.)

Шепелев (следа за ней). Да ну что уж теперь. Опять через толпу пробираться, пуговицы терять. Оставайся, садись, авось сами разберемся.

Зоя (радостно вспыхнув, возвращается). Моя фамилия Космодемьянская, имя Зоя, год рождения 1923. (Шепелев записывает.)

Шепелев. Какого райкома? Из школы или с производства?

Зоя. Тимирязевского райкома, 201 школы. (Секретарь что-то записывает). Скажите, неужели это все имеет для вас значение сейчас, когда немцы стоят под самой Москвой?

Шепелев (не отвечая ей). Сколько классов закончила?

Зоя (со сдержанной яростью). Я девять классов закончила.

Шепелев. Военную подготовку прошла?

(Зоя молчит.)

Шепелев. Кружишь у вас были какие-нибудь военные? Ну? Что ж ты молчишь?

Зоя. А все-таки вы бюрократ, товарищ Шепелев.

Шепелев. А как же! (Помолчав.) Что делала в военные месяцы?

Зоя. Все перепробовала. На картошку ездила, полевые сумки шила, на крыше сидела.

Шепелев. Ничего, не страшно?

Зоя (усмехаясь). Меня сейчас начальником Противопожарной команды назначили. Никак вот хорошего заместителя не найду.

Шепелев. Ну вот видишь, милая моя, и ты, оказывается, бюрократ. Чуть начальником стала, так тебе сразу и заместитель понадобился. Теперь мы с тобой сразу найдем общий язык и поговорим, как бюрократ с бюрократом.

Зоя (смеясь). Но ведь надо же оставить объект на надежном человеке.

Шепелев. Зачем же оставлять?

Зоя. Ну, когда я уйду на фронт.

Шепелев. Погоди ты, на фронт, на фронт. Еще никто тебя туда не посылает.

Зоя. Не посылает? Что это в Америку или на Северный полюс? Кто это может меня не послать, когда фронт рядом, когда война вокруг. Вы меня тут разговорами задерживаете, а немцы там наступают.

Шепелев. А мы что же, по-твоему, сложка руки стоим! Ты, кажется, воображаешь, что все сейчас зависит от того, чтобы именно ты вышла против немцев. (И вдруг на миг задумывается). Хотя... пожалуй, если бы каждый думал, что все зависит только от него... это было бы очень здорово. (К Зое). Впрочем, воевать можно и в Москве. И ты воеешь, оберегая свой дом от бомб.

Зоя. Да, но ведь это мне очень легко. Я вот сижу на крыше и ногами дрыгаю, и мне это страшно легко, пускай же это делает тот, кому это трудно, а я пойду делать что-нибудь потруднее.

Шепелев. Что же ты сможешь делать? Что-нибудь очень героическое?

Зоя. Что-нибудь очень нужное.

Шепелев. Могла бы ты пойти поварихой в саперный батальон?

Зоя. Ну... Если нужно... Я умею готовить. Мама много работает, и обед приходится варить мне.

Шепелев. Они живут на болоте, в грязи. Кого к ним не шлю, все отказываются, работа грязная...

Зоя. Хорошо, тогда я пойду.

Шепелев (испытующе). Еще мы пополняем сейчас нашим народом подмосковные партизанские отряды. Это большое дело, вылазки в тыл врага, разведка, диверсия... трудная холодная жизнь...

Зоя (она очень напряженно слушала его). Пошлите меня туда.

Шепелев (очень серьезно). Это очень-очень опасно, девушка. На такой работе человеку грозит не только смерть от немецкой пули, он может быть пойман немцами, а это значит допросы, пытки, это очень страшно.

Зоя. Да, наверное. (И на миг задумавшись, продолжает, как будто обдумывая что-то, как будто для себя, а не для Шепелева.) Наверное, очень страшно. Нужно быть очень осторожной. Нужно все делать, ничего не бояться, ни перед чем не останавливаться и быть при этом очень осторожной. И потому, что это работа трудная и опасная, которую надо хорошо сделать, до конца сделать, там-то уж, на работе, страшно не будет. некогда думать, страшно или нет, нужно действовать. Издали это все страшнее, потому, что далеко, а там... Вот так. (И вдруг с улыбкой). В общем, давайте условимся, я вам все эти ощущения очень точно расскажу потом, когда вернусь. Ладно?

Шепелев (задумчиво). Вот ведь ты говоришь: когда вернусь...

Зоя (помолчав). Понимаю. Но ведь это само собой разумеется. Это война, и я хочу быть солдатом... А солдат знает, что пока он жив, он должен думать и верить в то что он будет жить, потому что то другое... это ведь само собой разумеется... Я не хочу этого, но я не боюсь этого, и вы можете в этом не сомневаться.

Шепелев. Почему же я могу не сомневаться?

Зоя (возмущенно). Почему? Вы спрашиваете у меня: почему? Вы — комсомолец! Разве вы не помните, что я обещала?

Шепелев. Что ты обещала?

Зоя. Быть готовой отдать родине все силы, а если понадобится, и жизнь. Вот что я обещала. И вы приняли меня в комсомол, значит вы поверили мне. Чему же вы поверили? Тому, что я знаю устав? Но ведь его же можно и зазубрить.

Шепелев. Пстой, пстой.

Зоя. Нет, нет, когда вы поверили мне и приняли меня в комсомол, вы знали, что в нем стало еще одним человеком больше, что он стал еще на одну жизнь сильнее. И вот теперь вы вдруг засомневались во мне, комсомолке? Почему? За что? Теперь, когда другие там, впереди, в огне? Им верят, а мне нет. Почему? Чем я хуже?

Шепелев. Почему же хуже? Погоди!

Зоя. Для чего же была вся жизнь, все клятвы, все, чему меня учили, все, что я любила? И песни были об этом, и стихи об этом, и кино об этом, неужели же это были слова, только слова...

Шепелев. Да погоди ты!

Зоя. Нет, нет, как хотите, а вам придется послать меня именно туда, именно к партизанам. Вот это, как раз это достаточно трудно для меня, как раз тут понадобится все мои силы, все мое сердце...

(Гул самолетов, сильно бьют зенитки.)

(Входит секретарша.)

Секретарша. Вы меня знали? Я задержалась. Мы там еле справляемся.

Шепелев. Ах, да... Нет, это я... Надо там ребят в убежище послать все-таки. Вон как зенитки бьют.

Секретарша (изумленно). В какое убежище?

Шепелев. Да в наше, в подвал.

Секретарша. Да вы гляньте в окно, товарищ Шепелев. Разве их упрячешь? Весь переулочек забит народом.

(Шепелев подходит к окну, распахивает его. Шум, до сих пор глухо присутствующий в комнате, врывается в окно. Гул тысячь молодых голосов, крики: — Откройте ворота! — Дайте нам оружие! — На фронт! — На защиту Москвы! — Какая-то паника. И за всем этим где-то бьют зенитки. И за спиной секретарши раздается звенящий торжеством голос Зои.)

Зоя. Ну? Неужели вы еще и теперь сомневаетесь во мне?

Шепелев (оборачивается к ней). Нет, девушка. Иди защищать Москву. (Открывается дверь, входит молодая женщина в полувоенном.)

Женщина. Привет, товарищ Шепелев. Я из МК от товарища Захарова. Антипова.

Шепелев. Антипова! Пришла! Уже! Вот это да! (Хватает ее за плечи, усаживает на свое место). Садись, садись. Я тебе

не долго буду дела сдавать. Дела теперь ясные. Первым делом, видишь этот список? Пиши сюда за номером триста восемнадцать вот ее, Космодемьянскую Зою. (Бросается к телефону, набирает номер). Горина! Это Шепелев из МК. Дела хорошие, так хороши, что дальше некуда. А что? А то, что уже сидит в моем кресле замена, товарищ Антипов, а сам я очень скоро являюсь пред твои очи и в полное твое распоряжение, и делай еб мной, что хочешь, посылай меня, куда хочешь, только с таким уговором, чтобы немцам от этого побольше неприятностей вышло. (Затемнение. Шум за окном все нарастает, из него стройно и свободно вырастает песня. С этой песней проходят отправляющиеся на фронт комсомольцы.)

ПЕСНЯ КОМСОМОЛЬЦЕВ

Лица опаленные,
окна затемненные,
черный час над городом родным.
Все, что сердцу дорого,
защитим от врага,
смелыми сердцами заслоним.

За огнем, за пламенем,
за советским пламенем,
молодые, верные, вперед!
Через наше мужество,
через наше дружество
никакая сила не пройдет.

(И здесь же на фоне сборов в дорогу среди прощающихся групп идет сцена прощания Зои с матерью.)

Зоя. Ну вот, дальше ты не пойдешь. Вот на этом уголке, у нашей булочной, мы и протимся. Посмотри, баррикады. У нашей булочной баррикады. А какие тут были вкусные плюшки, помнишь? Почему-то их перестали выпекать в последние годы. Ну?.. Ты все молчишь, моя родненькая? Ну помолчи, помолчи, я же все понимаю.

Ну вот, наконец-то я вспомнила, что мне напоминает это наше прощание, мамочка. Помнишь, в первые годы школы, когда я училась во второй смене, я всегда провожала тебя на работу. И вот здесь у булочной мы и прощались. Я все норовила дойти с тобой до остановки, но ты не давала. «Незачем, незачем, — говорила ты, — лишний раз дорогу переходить». Еще ты мне наказывала: «Не забудь закрыть вьюшку, не пересоли суп, не бей посуды и вообще будь умницей, чтобы мне там на работе спокойнее было». И я тебя слушалась. Вот. А теперь я большая, а ты маленькая, я уйду на работу, а ты остаешься дома, вот и слушай мой наказ: если ты можешь, если ты только можешь, мамочка, как это ни трудно, пойми, что твоя большая дочь не может поступить иначе. И вообще, будь умницей, чтобы мне там на работе спокойнее было. (Обнимает ее.) До свидания, моя родная мама.

Мать (едва слышно, но очень твердо). Прощай, моя девочка.

(Снова марш комсомольцев.)

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина четвертая

Занесенный снегом густой подмосковный лес. Валит снег, сквозь шум ветра и деревьев проступает песня, приглушенно, как будто ее поют шопотом, но в то же время беспредельно широко и спокойно. Кажется, будто это поет лес — сосны, дубы и березы. Шум деревьев, снег и ветер постепенно стихают, песня тоже едва слышна. Может статься, стволы расступаются и становится видна полянка, следы жилья, низкий дымок из трубы замаскированной землянки. На пенёчке несколько человек в полушубках, в центре — самый старший из них, Денисов, он покуривает трубку. Люди тихо допевают песню.

Денисов. А ну тише, ребята!
(Песня резко обрывается. Несколько мгновений — напряженная тишина.)

Борис. Ты что?

Денисов. Да нет, ничего. Почудилось, будто идут.

Борис. Скоро придут. Не тревожься.

Другой парень. Рано еще.

Денисов. И то.

(Раздвигаются ветки, заслоняющие вход в землянку, и оттуда высовывается странная голова в платке и треухе. Вряд ли можно сразу догадаться, что это Клава.)

Клава. Дымит неимоверно. Просто спасения нет. (Ей никто не отвечает). Дя-

дя Денисов, слышишь, что ли, что делать-то будем?

Денисов (шутливо). Жалуйтесь в домоуправление. Прием ежедневно от 2-х до 5-ти. В выходной — выходные.

Клава. Нечего тебе шутки шутить. Очень даже неуместно.

Денисов. Да что ты ко мне пристала, курносая? Будто я и впрямь здесь управдом какой. Я над печками не начальник.

Клава. Не начальник, не начальник, ты здешний человек, должен про все в курсе быть. Мы здесь неделю одну живем, а ты тут небось всю войну сидишь, должен знать, как с печками управляться.

Алеша. Отвяжись от него, Клава, он дымом не заведует.

Клава (вылезает из землянки). Я не о себе хлопочу, мы дыма не боимся, а вот люди придут с операции, усталые, отдохнуть захотят, а в таком дыму что за отдых.

Борис. Что-то наши замешкались. Смеркается, а их все нет.

Денисов. И то. К обеду намеревались вернуться.

(Пауза. Из землянки вылезает еще несколько человек.)

— Фу, благодать какая.

— Там прямо не продохнуть.

Борис. Что ж Зойка канителится в дыму? (Зовет.) Зойка!

Зоя (выходит из землянки). Вот она я. Все готово. Наши придут, все им наварено-нажарено.

Клава. Жаль, долго не высидим на морозе, опять в дым возвращаться придется.

Борис. Ничего, мы сейчас костер разложим, — и тепло, и светло, и весело сразу станет. (Вскакивает.) Лучше всего охотничий. Он хорошо греет и долго не гаснет, и дыму от него мало. Давайте берсты. Ну вот.

Клава. Это ты, Борька, здорово придумал!

Денисов. И то. А ну, козяюшки, тащите сюда свою кашу. Здесь повечеряем. (Девушки, Зоя и Клава бегут в землянку.)

Денисов. Айда и я туда.

(Зоя и Клава тащат горшок с кашей. Денисов возвращается с бутылкой в руках.)

Денисов. Если уж греться, то насквозь. Ваша каша — наша на доньшке.

Ребята. — Вот это ужин, так ужин!

Клава. Дядя Денисов, а она не энзе?

Денисов. А ты знаешь, курносая, что это значит: энзе?

Клава (очень серьезно). Неприкосновенный запас.

Денисов. Ну, это как для кого. А для других совсем наоборот. Энзе — не залеживается. (Подымает бутылку). А когда об этой штуке речь идет, тут совсем особая терминология — энзе — не заменимая. Ну, кто с нами, подставляй свои плошки-ложки. (Разливает водку.)

(Пьют.)

Ребята. — В самый раз!

— Хорошо!

— Знано!

Денисов. И кто ее выдумал, проклятую? До чего вкусна, а?

(Все едят. Пауза.)

Борис. А наших все нет и нет.

Денисов (неохотно). Придут. Путь им не близкий.

Борис. Пора все-таки. К обеду ждали их.

Денисов. Мало ли что. Может, где-от

леживаться пришлось. Всего наперед не умотришь.

Алеша (увидя в руках Клавы зеркало). Дай-ка сюда зеркальце, Клава. Ну-ка, какое оно, я и забыл. (Берет зеркальце.) Ой! Это что за рожа такая? И чья она?

Денисов. А ты думал: красавец мужчина.

Другой (берет зеркальце). Зеркало. Крохотное, а зеркало. А вы можете себе представить, ребята, что сейчас где-нибудь в незатемненном городе открыта парикмахерская и там очень светло, очень тепло, очень чисто...

Третий. И кто-то чирикает и пошвытывает и пахнет сладко-сладко, как на лугу в жаркий летний день.

Второй. И можно постричься и побриться с компрессом. Нет, ты можешь себе представить?

Первый. Парикмахерская, компресс, это что! А вот то, что где-то там, за плечами, есть Москва, темная, безлюдная..! И можно пройти по своей улице, подняться по своей лестнице, открыть своим ключом дверь своей квартиры, посидеть у своего стола, лечь в свою постель...

Денисов. Не рано ли затосковали? Без году неделя, как из Москвы.

Первый. А я не тоскую, я помню. Все, что есть у меня, все, что я люблю, все помню. И всегда буду помнить, во что бы то ни стало.

(Зеркальце, обойдя всех, вернулось к Клаве, и она опять глядится в него.)

Борис. Что ты, Клава, все в зеркало смотришься, не влюбилась ли в кого?

Клава. Нет еще.

Алеша. Она суженого встретить надеется.

Клава. А где ж быть ему, моему суженому, сейчас, как не тут, на войне? Уцелел бы только, сохрани его бог, до меня бы живым добрался.

Зоя. А вдруг, правда, вот так живешь на свете, а где-то там по лесу ползет человек, хоронится за кустами, уходит от немецкой пули, и суждено ему пройти огонь и воду, остаться целым и невредимым, встретить тебя и стать самым твоим дорогим на свете.

Борис (раздраженно, насмешливо). Стоило действительно в партизаны итти, чтобы суженого искать!

Клава. А где же его искать, как не тут? Суженные наши, они теперь все на войне.

(Все хохочут.)

Алеша. Вот это так! Вот это верно! (Зоя вскакивает и отходит в сторону.)

Борис. Завтра мороз будет. Вон какие звезды частые. Ясно.

Другой парень. А наших ребят все нет.

Третий. Что делать-то будем, а, Денисов?

Денисов (помолчав). Подождем еще.
(Пауза.)

Клава. Тихо как. Это у нас в школе присказка такая была: кошка съехала, хвост облез, кто промолвит, тот и съест. Помните, ребята?

(Пауза.)

Зоя (тихо). Борька! Борис!

Борис. Что? Ты что, Зойка?

Зоя. Ничего. Мне очень хорошо, Борька. Но все еще во мне какое-то нетерпение, все еще я чувствую: это еще не самое трудное, я еще могу сделать больше, то, что труднее.

Борис. Зойка...

Зоя. Вот сегодня я поняла, что самое трудное — это приготовить обед, потому что дымил печка, и никому не хотелось сидеть в землянке, даже Клаве. И я сготовила вре: и обед, и ужин. Это ведь пустяки, страшно легко, ну, немного глаза пощипало. А когда же то, самое трудное?

Борис. Зойка...

Зоя. Но оно будет, оно встанет передо мной, это самое трудное, я знаю, и мне хорошо от этого, и что-то во мне чисто-чисто звенит, будто в груди струна натянута, и дух захватывает. Так бывает иногда весной, когда встанешь рано-рано, с солнышком, и тихо вокруг, и небо чистое, и начинают лететь птицы, и ты сама не знаешь, что с тобой. Ах, Борька, я очень счастливая! Скорее бы в задние, в настоящие, в опасные, в самое трудное!

Борис. Зойка... Зойка, можно тебе сказать?

Зоя (почти испуганно). Нет, ничего не говори! (И помолчав, добавляет). Но... ты можешь взять меня за руку. Просто так. (Борис берет ее за руку, и несколько мгновений они сидят молча.)

(Пауза.)

Денисов. Ну, ребята, больше ждать не приходится. (Все группируются вокруг Денисова.) Нашим в обед надлежало вернуться, а их все нет. Конечно, дело лесное, военное, все может быть. Поэтому считаю нужным послать разведку.

— Правильно! — Верно! — Точно!

Денисов. Ты пойдешь, Гаврилов, ты дорогу знаешь, а с тобой...

Зоя. Я, дядя Денисов, меня пошлите...

Денисов. А вторым ты пойдешь. (Кладет руку на плечо Борису.) Все. Собирайтесь, ребята.

(Борис и Гаврилов уходят в землянку и очень быстро возвращаются вооруженные.)

Денисов (Борису). Ну, смотри, парень. По-моему, ты человек правильный. Дорогу, если что, найдешь?

Борис (оживленный и возбужденный). Найду. Я лес знаю. По мху найду, по стволам... А ночью по звездам.

Денисов. Ну! Счастливо. А если гриб-

ковских ребят по пути встретите, передайте: почта для них с московским подкреплением к нам попала.

Борис, Гаврилов. Есть. Скажем. Пошли.

Борис. Я пошел, Зойка.

Зоя (тихо и ласково). Иди.

(Борис и Гаврилов уходят. Кто-то подбрасывает хворосту в костер, и он опять разгорается. Все сидят сосредоточенные, тихие.)

Зоя (с укоризной). Почему ты не послал меня, дядя Денисов? Мне так хотелось. Я бы все сумела, я знаю.

Денисов. А сумела бы, так чего и спешить? Еще столько немцев, еще столько войны, ой-ой-ой!

Зоя. Я так давно думаю об этом... Правда. Еще и войны никакой не было. Я была маленькой и жила у бабушки в деревне. Бывало, уйду в лес, в самую чащу зайду, глаза зажмурю, на месте покружусь, покружусь, где он, мой дом? И вот тогда начинаю продираться сквозь самую чащу и воображаю: я — боец, мне дали приказ доставить очень важные бумаги, крупом враги, я должна пройти незамеченной, в моих руках судьбы товарищей. Я пробираюсь сквозь чащу, сердце колотится, мне страшно и весело, я бегу, ползу, крадусь, и вот деревня, и улица, и бабушкин дом. Я влетаю пулей и прямо бабушке на шею. Платье у меня изодрано, волосы растрепаны, лицо, ноги, руки в кровь исцарапаны, все надо мной смеются и никто ничего не понимает, а мне весело-весело! Наши спасены — я в срок доставила донесение.

Денисов. Затейница ты, девушка, выдумщица. Все ты чудеса себе придумывала, а жизнь, она, вишь, чудеснее выдумок оказалась.

Часовой. Кто это? Кто идет?

(Все вскакивают.)

Денисов. Стой! Кто идет?

Краснов (выходит из кустов, таща на плечах человека). Не шуми, Денисов, свои.

Денисов. Краснов? Это кто?

Краснов (устало опуская человека и садясь на снег). Это тоже наш, грибовский парень, Вася Лазарев. Вот... Ранили. Кто у вас тут? Перевязку...

Денисов. А ну, девушки, кипяток, бинты!

(Зоя и Клава наклоняются над раненым.)

Раненый (глухо). Нет... Теперь уж не надо перевязки. Больно только будет. Не надо... (Видимо теряет сознание.)

Краснов. Вот так все время, то в себя придет, то сознание теряет.

Денисов. Садись к огню, грейся.

Краснов. Вы, небось, о своих тревожитесь? Не тревожьтесь. Дело такое вышло, — на станцию Марково эту ночь прибывает эшелон с оружием и бое-

припасами. Эшелон серьезный, охрана немалая, да и Марково — станция большая, там части стоят, одним нам не справиться, решили вас звать на подмогу. Под Черным Логом мы ваших ребят с командиром встретили, они домой шли, услышали дело такое и на соединение с нашими повернули, а нам с Василием велели дойти до вас и передать приказ: сниматься всем и идти под Марково.

(Всеобщее оживление. — Здорово! — Дождались — Это дело серьезное!)

Краснов. А его (кивает на раненого). Мы как шли через линию, слышим дрезинка торопится. Ну, думаем, что ей торопиться-то зря, куда бы это? Ну, все наладили, да там немчик один, аккуратный, стал вслед стрелять, вот и вышла беда такая. Конечно, ежели бы сразу, да хорошая перевязка, да... совсем может и рана-то не страшная, так ведь нет этого, вот и... (машет рукой).

Денисов. Ничего... может, и обойдется.

(Пауза.)

Краснов. Ваши ребята сказывали: москвичи почту привезли, а там, вроде, и нашим кое-кому есть. Покажи, пожалуйста.

Денисов. Ребята, дайте ему почту глянуть.

Краснов. Да и собирайтесь. Нам пути без малого пятнадцать верст, ночью, по снегу, это тебе не в лес за грибами.

Денисов. Одеться тепло и полегче — жарко будет в пути. Лишнего ничего не брать. Оружие, консервы, хлеб, плащ-палатки... (Все снаряжаются в дорогу.)

Краснов. Ну как, москвичи, Москва очень изменилась? Здорово бомбит он?

Клава. Летает он много, да бомбить ему не очень-то дают. Так на-глаз и нет разрушений.

Зоя. Театр Вахтангова разбомбило, актера Кузу убило, он дежурил в ту ночь.

(Краснову дают почту.)

Краснов. Подумайте! (Рассматривает конверты.) Оно, конечно, мне и шансу нет получить письмо. Кому мой лесной адрес известен. Шел из окружения, попал в партизаны. А дома, небось, думают; погиб. Неужто так можно думать про меня, живого? Что это? (Вглядывается в адрес на конверте.) Ему? Так и есть ему: Лазареву, Василию, от... от Татьяны Лазаревой. От Тани, от жинки от его. Она у немцев осталась, с сынишкой с маленьким. Уж он так горевал. Стало быть, спаслась она и его разыскала, а он... (Подходит к раненому.) Без сознания.

Клава. Вот он полежит, очнется, а тут радость ему такая.

Краснов. Я не дам ему письма.

Все. Что это? Почему? Как такое?

Краснов. Он от горя злой был и отчаянный. Ему так и умирать легче будет, а если узнает он теперь, перед смертью...

Зоя. Нет! Вы не должны так поступать! От счастья человек может стать еще отчаяннее — ничего ему не страшно тогда... И потом, вдруг ему сразу захочется жить, так захочется, что он найдет еще силы и выдержит, выживет...

Краснов. Поздно уж.

Денисов. Ну, вроде собрались. Завалявай дверь, ребята.

Раненый (стонет в беспамятстве). Илья! (Краснов склоняется над ним). Слушай, Илья! (Он говорит уже совсем тихо и глухо, слышно, как это ему трудно.) Так что, вещишки там мои... ты ребятам раздай. Часы парнишке отдай, Сережке, а полушубок... Ох! (теряет сознание).

Краснов. А о нем-то мы, ребята, и не подумали. Как же мы его-то оставим?

(Пауза. Замешательство.)

Денисов (Клаве). Может быть ты, курносая? Оставляйся с ним, а?

Клава. Ой, дядя Денисов, ой нет, нет, нет! По мне лучше, что хотите...

Зоя (встает). Я останусь с ним, дядя Денисов.

Денисов. Ты? И то. Оставляйся, девушка, а мы, даст бог, скоро вернемся. Тащи его в землянку, ребята.

Краснов. Не надо в землянку. Лучше пусть он тут, на воздухе, а ты костер держи. (Подбрасывает хворосту в костер, он снова разгорается ярче.)

Зоя. Дайте мне письмо для него.

(Краснов протягивает ей конверт.)

Зоя. Идите. Пора вам, Я управлюсь. Счастливо. (Все уходит.)

(И вот остаются у горящего костра только двое: Зоя и умирающий человек. Шумят и скрипят сосны, потрескивают сучья в огне.)

Раненый (приходит в себя). Илья, а Илья? Где мы с тобой? Тут вроде люди были... Где они? Где ты, Илья?

Зоя (склоняется над ним). Вы добрались. Все уже ушли под Марково, и Илья ушел, а я с вами осталась. Вам лучше, да? Раненый. Девушка... Татьяна... Таня.

Зоя. Я не Таня, я Зоя.

Раненый (с усилием). Все равно... Таня... Зоя... Откуда ты здесь, в нашем лесу? (Жадно пьет воду.)

Зоя. Я из Москвы.

Раненый. Из Москвы? Правда? (С усилием приподымается. Зоя кладет его голову к себе на колени.)

Зоя. Вот так вам удобнее будет. Пейте еще. Из Москвы, правда. Вам лучше?

Раненый. Не знаю. Наверно. Ну, расскажи про Москву. Разрушений много от бомбежек?

Зоя. Нет, нет.

Раненый. А на Сретенке нету, ты не слышала? У меня там комната, хорошая. Как раз перед войной отремонтировали. Думали, думали, потом в желтый окрасили. Это когда закат, такая красота...

Зоя. Нету, нету, на Сретенке и вовсе нету.

Раненый. Стекла могли вылететь. Я как из дому уходил, окно раскрыл, да так и оставил. Еще кубиком припер Валюшкойм. Думал: еще вернусь домой, а не пришлось. (Вскрикивает от боли).

Зоя. Пейте еще, вода хорошая!

(Раненый жадно пьет.)

Раненый. Еще скажи, девушка. Таня... Зоя... А как там в Москве с харчами в общем? Ну вот хлеб, к примеру, какой дают? Если ребятам?

Зоя. Хлеб и черный и белый, даже иногда взамен белого печенье.

Раненый. Это я... если они вдруг в Москву доберутся, вдруг уцелели, выбрались... Понимаешь, Таня у меня — жинка и Валюшка — сынок, перед самой войной к родным на Украину госпитль поехали, там и пропали...

Зоя. Нет! Нет, не пропали. Видите, мы из Москвы письма принесли, и вот вам письмо от нее, от Тани, вот оно. (Приближает письмо к его глазам и светит фонариком. В полной тишине раненый несколько мгновений молча глядит на письмо)...

Раненый. Ее рука. Она жива. Живет на свете. И Валюшка живет на свете. Ну... вот и все. (В голосе его какой-то необычайный покой).

Зоя. Давайте, я прочитаю вам.

Раненый (останавливая ее). Нет. погоди. Я еще тебя вижу... Ты еще меня слышишь... Вот, скажи ребятам, не забудь, пусть часы мои... Сережке, пареньку... он рад будет...

Зоя (повторяет). Часы — Сережке.

Раненый. А полубубок — этому, окруженцу, Либовичу, а то он парень хороший, а шинелька у него совсем худая.

Зоя. Полубубок — Либовичу.

Раненый. А компас — Краснову, на память.

Раненый. И еще скажи ребятам, он, мол, велел передать: вы ничего не бойтесь, ребята, даже этого не бойтесь. Это совсем не страшно, потому что все равно до конца не веришь... Спасибо тебе, девушка... Милая моя Таня... Ну... вот теперь читай. (Голос его совсем падает.)

Зоя (рвет конверт и разворачивает письмо). «Родной мой! Золотой мой! Любимый мой. Ты жив, и мы нашли друг друга. Я теперь ничего не боюсь; ни тоски, ни одиночества. Мы с Валюшкой попали в Киргизию — не тревожься о нас, мы живем хорошо. Валюшка загорел и вырос — он уже совсем большой, наш с тобой сын. Он по целым дням играет с киргизскими детишками, они болтают между собой и

знаешь, отлично понимают друг друга. А я скоро начну работать в школе. Я так волнуюсь, что не могу больше писать. Вечером я напишу еще, обо всем очень подробно, а сейчас сердце дрожит, и я думаю только о том, что ты будешь держать в руках этот клочок бумаги, будешь повторять эти мои слова своими губами, ты, Вася, настоящий, живой. Дорогой мой, что бы ни случилось, любимый навеки, счастье мое родное, — так ты иногда меня называешь... Я не могу больше писать. Твоя Таня».

(Зоя тихо опускает письмо. Раненый не издаст ни звука. Тишина.)

Зоя (тихо). Слышите, как она вас любит? Хорошо вам теперь, тепло на сердце, правда? И жить очень хочется, да? Теперь вы будете жить, правда? То-то, а вы уже и завешание составляли! Компас — Краснову. Эх, вы! Да он еще вам самому пригодится, этот компас. Гляньте-ка на него, где там восток? А там ваша Таня, и так она вас любит... И еще там Москва, и ваша Сретенка, и комната окнами на запад. Когда вы вернетесь в нее, вы зажжете свет, не закрывая окон и не спуская штор. Ну их к чорту, шторы. Сорвите их! Ну что же вы молчите? Вам не хочется говорить? А я так много наговорила, простите. (На миг стихает и шопотом продолжает). Неужели опять без сознания? (Прислушивается.) Но тогда было слышно, как он трудно дышит, а сейчас... (Прислушивается.) Совсем тихо. Совсем... (Ощупывает руками его лицо.) Холодный. Холодные глаза, холодные губы. Совсем. Все. (Бережно опускает его голову на землю.) Живы его любимые. И комната на Сретенке цела. И хлеб белый в Москве дают. Все узнало и совсем успокоилось его сердце. Бедный, счастливый человек! Бедный, бедный! (Пауза.) Он же сказал: это совсем не страшно, — все равно до конца не веришь. Ну, конечно, для него не страшно. А для нее, там? Как она была счастлива, когда писала ему это письмо. А теперь?

(Пауза. Усиливающийся ветер и снег, гнутся и скрипят сосны, гаснет костер.)

Зоя. Гаснет костер. Что мне делать одной? Может быть, итти им вслед? Но я не знаю дороги. Как темно. Мне страшно, страшно. Мамочка, если бы ты знала! (Плачет.)

(Тишина. Шум леса.)

Зоя. Тишина. Только сосны, да ветер, да ночь.

Даже звезды не вышли и месяц не светит.

Я одна, и никто мне не может помочь, И никто на вопросы мои не ответит. Я и мертвый. Вокруг ни жилья, ни души.

Я и смерть. И ни звука, ни взгляда, ни слова.

Ты одна. Разберись и пойми и реши.
Вот на что ты пошла, вот к чему ты
готова.

Умер. Холодно. Тихо. И нет ничего.
Человек остывает, глухой и незрячий.
Но далеко-далеко, где любят его,
там еще он живой, говорящий,
горячий.

Долго-долго он с ними еще проживет,
их живыми сердцами хранимый
любовно.

Дорогой, молодой, он не скоро умрет,
этот нынче умерший в ночи

подмосковной.
Значит, смерть наступает совсем не
тогда,

когда силы иссякнут и сердце
сморкает.

Можно жить после смерти года и года,
если кто-то живого тебя вспоминает.

А для этого нужно на свете прожить
так, чтоб любящих, верных живыми
оставить,

чтобы было кому тебя долго любить,
чтобы было за что тебя помнить и
славить.

Вот тогда и не страшно! (Вскрикивает).
Шумы, тишина!

Гнитесь, старые сосны, в полупночном
бреду!

Значит, верно задача моя решена,
значит, выбрана верно дорога к
победе.

Мы — бойцы, мы стоим на дороге
врага,

справедливые, добрые, злые, как
черти.

Миллионам живых наша жизнь
дорога,

значит, сами мы можем не помнить
о смерти.

(Борис выходит из леса.)

Борис. Часовой! Почему нет часового?
Кто у костра?

Зоя (вскрикивает). Борька! Ты! Ты! Ты
пришел? Борис!

Борис. Зойка! Надо будить всех. Ты
понимаешь...

Зоя. Что случилось?

Борис (быстро). Когда мы разошлись
с Гавриловым, я встретил двух колхозников.
Они рассказали... грибовский отряд
собирается напасть на станцию Марково,
а немцам это стало известно, они хотят
окружить отряд и уничтожить. У них
сейчас много частей. Надо что-то пред-
принять. Буди Денисова. (Кидается к
землянке.)

Зоя. Там никого нет.

Борис. Как?

Зоя. Все уши.

Борис. Куда?

Зоя. На соединение с грибовским от-
рядом.

(Пауза.)

Борис. Давно?

Зоя. Наверно час тому назад. Или
больше.

Борис. Добежать до Маркова мы уже
не успеем. Это пятнадцать километров.
Что же делать? Что же делать? Они попа-
дутся в ловушку и... все погибнут.

(Зоя молчит.)

Борис. Только я и ты знаем, только мы
можем еще что-нибудь сделать, но что?
Что? (Они стоят молча.)

Зоя. Откуда пойдет окружение, ты зна-
ешь?

Борис. Части высылаются из Петри-
щева. Это километров шесть отсюда, и из
Протасова, это километров девять. Выйти
они должны на рассвете.

Зоя. Понимаю, когда наши уже начнут
бой. Чтобы они не смогли уйти. Понимаю.
Значит, до выхода частей на окружение
в Петрищеве и Протасове должно про-
зойти что-нибудь, что отвлекло бы нем-
цев и заставило их подумать, что намере-
ние отряда изменилось и что не все наши
под Марковым.

Борис. Но что же это может быть?

Зоя. Какая-нибудь серьезная дивер-
сия. Поджог, взрыв, что-нибудь. Это един-
ственное, что можно сделать, и это сдела-
ем мы.

Борис. Зойка, ты... Правильно! Это
спасет наших.

Зоя. Бери тол, спички, все, что надо на
двоих, и пошли.

(Борис уходит в землянку.)

Зоя (одна). Самое трудное... Это сов-
сем не страшно... Ну вот. Ну вот. Вот и
луна взошла. Самое трудное...

Борис. Все в порядке. Пошли, Зойка.
Зоя. Пошли.

(И вот идут Борис и Зоя по снежному
русскому лесу, освещенному лунным све-
том и белизной снега. Могучие сосны,
осевшие пушистые ели, тоненькие белые
березки.)

Борис. Ты пойдешь в Петрищеву, а я
дальше, в Протасово. Хорошо, что я знаю
уже эти места, мы тут были с Денисовым.
На околице Петрищева немецкие конюш-
ни, подожги сначала их, а там, смотря по
обстоятельствам, но если будет малейшая
опасность, схоронись, пережди, иди снова.
Хорошо, если бы удалось в течение дня
и следующей ночи совершить несколько
поджогов и в разных местах села, чтобы
совсем сбить с толку немцев. За конюш-
нями избу, в которых живут офицеры...

Зоя (тихо). Ты мне уже третий раз все
это рассказываешь, Борька.

(Несколько мгновений идут молча.)

Борис. Помнишь, когда мы жили в ла-
герях, мы однажды шли с тобой за почтой
в деревню таким же лесом. Очень похо-
же.

Зоя (тихо). Нет, не похоже. Там было
лето.

Борис (останавливается). Сломанная

березка, обгорелый пенек... Так и есть, вот и тропинка влево. Мы дошли, Зойка.

Зоя. Уже?

Борис. В Петрищево — направо, в Протасово — налево. Тебе, ходу минут 15—20, мне не менее часу. Давай сверим часы.

Зоя. Без четверти четыре.

Борис. Ты дойдешь до опушки и посидишь до пяти без десяти минут. За эти десять минут ты успеешь дойти до коношен и ровно в пять..

Зоя. Ровно в пять.

Борис. Не сердись, но я все-таки скажу: будь осторожна.

Зоя. Будь спокоен за меня.

Борис. Я бы мог еще немного проводить тебя.

Зоя. Нет, не надо, иди. И говори, пожалуйста, тише, Боря.

Борис. А все-таки ты немножко трусишь, Зоя.

Зоя. Нет, я даже забыла об этом.

Борис. Какая-то ты необычная. И я.. мне надо тебе сказать, Зойка, можно тебе сказать?

Зоя. Нет, не надо.

Борис. Зойка, ну позволь..

Зоя. Нет, не сейчас.

Борис (упрямо). Все равно я буду об этом думать, все равно я буду об этом помнить, где бы я ни был, что бы я ни делал.

Зоя. Ну, если это так, тогда.. тогда это счастье.

Борис. Да, это счастье. Это мое счастье, а твое? Твое тоже?

Зоя (тихо). Не надо сейчас об этом. Это будет, это непременно будет, только потом, после, когда мы все сделаем. Только дела наверно еще очень много и сил нужно очень много.

Борис. Сил у нас хватит.

Зоя. Да.

Борис. Ну... до свидания.

Зоя. Прощай.

Борис. Ах, это твоя глупая привычка всегда говорить «прощай» вместо «до свидания».

Зоя. Ну, так это ведь только привычка.

Борис. Ну, еще раз.

Зоя. Еще раз. (Они жмут друг другу руки.)

(Борис уходит.)

(Затемнение на несколько секунд.)

(Зоя одна на опушке.)

Зоя. Тишина. Ах, какая стоит тишина. Даже шорохи ветра нечасты и глухи. Я как будто осталась на свете одна, неуклюжая, в ватных штанах и

треухе.

Мне еще остается пятнадцать минут. Это много. Да нет, это вовсе не много. Загорятся конюшни, и кони заржут, и подымется шум, суета и тревога! Ах, какая большая стоит тишина. Заметенные елочки к шороху чутки.

Как досадно, что я еще крыл лишена, я бы к маме слетала хоть на две

минутки.

Мама, мама, какой я была до сих пор? Может быть недостаточно мягкой и

нежной?

Между нами захваченный немцем простор, много русской земли неподвижной и

снежной.

Я одна. Ах, какая стоит тишина.

Только сосны скрипят, головами

качая.

Тихо так, что послушай, и станет слышна вся страна, вся война до переднего

края.

То, чего никогда не услышать вокруг, я хочу, чтоб сегодня душа услышала. Вот стоит на гранитном крутом берегу тордый город, которого я не видала. Он стоит под обстрелом чужих

батарей.

Тихо так, что отчетливо сердце услышит голоса матерей, потерявших детей и ведущих к спасенью чужих

ребятишек.

Я вас вижу! Я скоро проникну к врагу, и меня не заметят, не схватят, не

свяжут.

Ленинград, Ленинград, я тебе помогу! Прикажи мне. Я сделаю все, что

прикажут.

Я тебя не отдам никому, Ленинград. Слышу, слышу орудий твоих

канонаду.

На высоких басах начинается

Кронштадт

и.. Малахов курган отвечает

Кронштадту.

Проплывают больших облаков паруса через тысячи верст человеческого горя. Артиллерии русской гремят голоса от Балтийского моря до Черного моря. Севастополь. В ночи полыхая огнем, на светящемся гребне девятого вала он причалил к земле боевым кораблем, этот город, которого я не видала. Севастополь. Я смело пойду и зажгу и конюшни, и склады, согласно

приказу.

Севастополь, я завтра тебе помогу. Я ловка и невидима вражьему глазу. Ты невидима вражьему глазу?

А вдруг?

Что тогда? Как тогда? Ты готова на это?

Тишина, тишина нарастает вокруг. Притаилась земля, ожидая ответа. Даже сосны застыли, и ели молчат. Вся природа великим безмолвьем

объята.

А под Марковым наш партизанский отряд. Я вас выручу, я помогу вам, ребята!

Человек умирает на русском снегу,
где-то женщина помнит и любит

живого.

Я сильна, я бесстрашна, я ей помогу.
Тихо-тихо. Ни звука, ни стопа, ни
слова.

Я не верю тебе, неподвижная ночь!
В тишине этой столько страданья
людского.

Дорогие мои, я хочу вам помочь.
Прикажите. Я жду. Я сильна.
Я готова.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Картина пятая.

Большая изба тускло освещена мигающей лампой с разбитым стеклом. У печи старуха, к ней жмутся ребята.

Старуха (монотонно). И надела Правда котомку, положила в нее хлеба краюшку да соли щепотку и пустилась в путь-дороженьку. Шла она долго, по темному лесу, по чистому полю, перешла река быстрые, переходила горы высокие. Где убогого заметит — пожалеет, где обиженного встретит — заступится. И становилось людям жить легче, вздыхали они глубоко, слезы утирали, улыбались друг дружке, да с новою силой жить начинали. Как прослышала о том Кривда, пуще прежнего на Правду озлилась.

Детский голос. Бабушка, а какая она, Кривда-то?

Старуха. Ууу, внученька, она лютая, рыжая, глаза кровью налитые... Пуще прежнего Кривда разгневалась, кликнула своих солдат, закричала хриплым голосом:—Вы, солдаты мои, черны вороны, разлетайтесь, разбегайтесь в разные стороны, белый свет обшарьте, обыщите, девку-Правду на расправу притащите. — И побежали кривдины солдаты в разные стороны, по белу свету рыщут, Правду ищут. У кого ни спросят, все отвечают: была, да дальше ушла. Никак кривдины солдаты Правду не поймают. Только раз вышли они в чисто поле, видят — полем девушка идет, как тростинка тоненькая, на голове платочек, за плечами котомка. Спрашивают кривдины солдаты: — Девка, а, девка, не видала ли ты Правды? — Как не видать, — отвечает девушка, — видала. Вот она вокруг. — Плянули по сторонам кривдины солдаты, а кругом ни души не видать, только поле зеленеет, только небо голубеет, да жаворонки поют. Разозлились кривдины солдаты, закричали, затопали на девушку. — Укажи, в какую сторону Правда ушла! — А девушка молчит, улыбается, а солнышко над нею все чаще светит, поле все ярче зеленеет, птицы все веселее поют. Еще пуще разозлились кривдины солдаты: — Ах, ты, девка негодная, так ты над нами смеяться вздумала! Погоди, вот сведем мы тебя к Кривде, она у тебя дознается, куда Правда пошла. — Набросились на девушку, скрутили ей руки тонкие, поволокли ее к Кривде на расправу.

(Дверь с шумом распаивается, в избу вталкивают человека без шапки, в разорванном ватнике. Это Зоя. На миг она останавливается и тяжело падает на пол. Старуха, было, кидается к ней, но в ту же минуту дверь, за которой слышны тяжелые шаги и немецкие голоса, начинает медленно открываться. Старуха, сжавшись в комок, отступает к печи. Медленно открывается дверь. Затемнение, и сразу же патефон начинает играть сентиментальную и слащавую немецкую песенку. За ней — спокойные, сдержанные немецкие голоса, незначительные, а может быть веселые реплики. Свет. Видно, как медленно закрывается та же дверь за ушедшими немцами. На лавке лежит совершенно обессилевшая пыткой Зоя, полураздетая, в лохмотьях, поджимая босые ноги. Сцена освещена только полосками света, вырывающимися из щелей. Старуха подходит к столу и зажигает копилку).

Девочка (с печи). Бабушка, за что они ее били?

Старуха. За правду, дитяtko. Тише, тише.

Мальчик. Бабушка, а какая у нее правда?

Старуха. Хорошая, дитяtko. Тише, тише.

Девочка. Бабушка, у нее ноги в крови. Мне страшно, бабушка, бабушка.

Старуха. Тише, дитяtko, тише, тише.

Мальчик. Бабушка, что же она не кричала? Она, небожь, каменная. Живая бы давно закричала.

Старуха. Тише, дитяtko, тише, тише. Девочка. Бабушка, если ее убьют, значит и правду убили тоже?

Зоя (стонет). Пить, пить, пить...

Дети. Живая! Живая!

Старуха. Да тише вы, тише. (Дети прячутся на печь.) Сейчас дам тебе испить, доченька, сейчас. (Уходит.)

(Зоя медленно приподнимается.)

Зоя. Неужели на свете бывает вода?

Ты наверно ее не пила никогда голубыми, большими, как небо, глотками.

Помнишь, как она сладко врывается
в рот?

Ты толкаешь ее языком и губами,
и она тебе в самое сердце течет.

Воду пить... Вспомни, как это было.
Постой.

Можно пить из стакана, и вот он
пустой.

Можно черпать ее загорелой рукою.
Можно к речке сбежать, можно к

луже шрипасть
и глотать ее, пить ее, пить ее влать.

Это сон, это бред, это счастье такое.
Воду пьешь, словно русскую песню

поешь,
словно ветер глотает над лунной
рекою.

(Пауза.)

Горит... Горит... Все горит...
Руки горят... Ноги горят... Сердце
горит...

Слышите! Видите! Все горит!
Тише, тише, пусть немцы не слышат,
Пить... Пить...

(Старуха возвращается и подает ей воду.)

Старуха. Пей, доченька, шей, болез-
ная.

Зоя (жадно пьет). Вода... Голубая во-
да... Какая голубая вода, Голубая речка...
(Опять пьет, потом, откинувшись, начина-
ет тихо напевать.)

На речке, на речке, на том бережочке
мыла Марусенька белые ноги.

Мыла, белила, сама говорила...

(Опять припадает к воде.)

Плыли к Марусеньке серые гуси,

Плыли к Марусеньке серые гуси.

(Опять пьет.)

Ишь вы, летите, воды не смутите.

Ишь вы, летите, воды не смутите.

Бабушка, ты знаешь эту песню? Мы пе-
ли ее с мамой. А теперь я забыла ее. Про-
сто она сгорела, понимаешь, сгорела, ее
подожгли немцы. А я? А я еще не сгорела,
я еще не сгорела, я еще горю. Я горю?
Нет, это не я, это все вокруг меня горит.
Это я все подожгла, я сама. Я выполнила
задание. Я! (Падает без сил на лавку.)

Старуха. Кровная моя, родимая моя,
зажмури глаза, авось вздремнет тебе.
Во сне оно все-таки легче. Поспи.
(Гладит ее, укрывает. Зоя затихает.) За-
былась, горькая моя, утихла. (Скло-
няется к Зое.) Доченька моя, невестушка,
кто ж тебя вынянчил, вырастил такую?
Ведали ли твои заботные, на какую муку
смертную тебе итти? Кабы так вот стихла
ты, горемычная, так ведь нет же, как у-
тро настанет, поведут тебя на смерть, го-
лубоньку, а нас всех прикладами выгонят
смотреть, как тебя убивают. Чтобы боя-
лись мы быть смелыми, непокорными,

упрямыми. (За окном раздаются мерные
удары топоров. Старуха встает, подходит
к окну.) Стучат, стучат, окоянные. Стол-
бы ставят, виселицу строят. Господи!
Так нет же, не будет вам этого, не хочу
глядеть, не буду глядеть, не заставите!
(И вдруг, заметавшись по избе, начинает
собирать какое-то тряпье, связывает узел,
достает котомку, затем подходит к печи,
где спят дети.)

Старуха. Ванюшка, Машенька! Про-
сыпайтесь, родимые.

Сонный голос мальчика с пе-
чи. Чего тебе, бабушка?

Старуха. Вставай, вставай, внучень-
ко.

Мальчик (соскакивает с печи). Что
ты, бабушка? Аль собралась куда?

Старуха. Тише, тише, родненький.
Одевай шубенку, валенки.

(Она надевает тулуп, снимает с печи сон-
ную девочку, укутывает ее в платок.)

Мальчик. Куда это мы, бабушка,
ночью из дому?

Старуха. Нет у нас дома, внучек, по-
ка в нем немцы стоят. Пойдем прочь из
него.

Мальчик. Куда, бабушка?

Старуха. В лес пойдем. К своим пой-
дем. (Кивает на Зою.) Про ее муку расска-
зывать, гнев в людях будить, силы² им
прибавлять.

(Подходит к Зое, ставит рядом с ней жбан
с водой.)

Зоя (очнувшись, приподымается и
прислушивается к ударам топора). Что
это, бабушка? Кто это стучит?

Старуха. Кто стучит? Дятлы стучат.
Дятлы в лесу. Не слушай их, доченька,
спи. (Уходит с детьми.)

Зоя (с улыбочкой). Дятлы? Дятлы... (На-
чинает тихо напевать):

Во лесу, лесу, лесу
на суку, суку, суку
дятел сидит,
носом долбит,
видно, на ужин
жук ему нужен
с усами.

(И под эту песенку стихают удары топо-
ров, и возле Зои вырастает маленькая
фигурка.)

Люська. Зойка!

Зоя (встрепенувшись). Люська! Люсь-
ка, это ты? Как ты здесь очутилась?

Люська. Раз ты песенку поешь, зна-
чит ты свободная. Ну, я с тобой посижу, а
то мне скучно одной.

Зоя. А мама твоя?

Люська. Она на работе, дежурная.
Она теперь не скоро придет, завтра. Зой-
ка, а мы намеренно с ребятами целую за-
жигалку потушили.

Зоя. Не страшно?

Люська. Ну... как не страшно? Все страшно. И зажигалки тушить страшно, и одной в комнате спать страшно, и через кухню ходить страшно. Так ведь ничего не поделаешь.

Зоя. Да

Люська. А чтоб совсем страшно не было, я песенку спою, веселую, что ты научила.

Маленький, зелененький,
коленками назад,
все кузнечик прыгает,
чему-то очень рад.
Он рад зеленой травушке,
тому, что зелен сад,
тому, что сам зелененький
коленками назад.

Зоя (тихо). Бедный веселый кузнечик. Бедный, бедный. Ты помни эту песенку, Люська, и меня помни. Помни и люби. Долго-долго. Ладно?

Люська. Ага.

Зоя. А то ведь, знаешь, Люська, скоро меня не будет, скоро я умру.

(Люська смеется.)

Зоя. Что же ты смеешься? Я вправду умру.

Люська. Да разве ты старенькая? Да разве молодые умирают? Вон у нас бабушка умерла так умерла, а ты... Нет.

Зоя. Я умру, меня убьют немцы, Люська.

Люська. Ну и пусть убивают, а ты возьми и не умри. Ты же сама рассказывала про богатейшей разных, как их убивали, а они живыми оставались. Ты ж сама рассказывала. Про Иван-царевича...

Зоя (задумчиво). Так ведь ему живой воды испить дали.

Люська. Живой воды? Ну так на вот тебе. (Подает ей оставленный старухой ковшик с водой. Зоя жадно пьет). Шей. Ты не умрешь, Зойка.

Зоя. Все-таки страшно, Люська.

Люська. Страшно? Ну... Ну тогда... (и приложив палец к губам, звонким шопотом поет, подпрыгивая на одной ножке)

Маленький, зелененький,
коленками назад,
все кузнечик прыгает,
чему-то очень рад.
Он рад зеленой травушке,
тому, что зелен сад,
тому, что сам зелененький,
коленками назад...

(И так припрыгивая, она уходит в темноту. Зоя со стоном падает на лавку; несколько мгновений глухая тишина, и тогда опять начинают стучать топоры.)

Зоя (приподымается). Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь - восемь-девять-десять-одиннадцать... Одиннадцать часов, а мамы все нет. Опять обед остынет, перестойтся, невкусным будет.

Мать. Вот и я, Зойка.

Зоя (вскакивает). Mamочka!

Мать. погоди, погоди, дай снег стряхнуть.

Зоя. Пospела ты на трамвай?

Мать. Ну, что ты, какой трамвай, пешком, конечно.

Зоя. Ну, садись есть. Голодна, небось.

Мать. Нет, я сыта.

Зоя. Ну, тогда садись, отдохни. Милая моя подружка, голубка моя усталая. (Обнимает ее.) Вот я кончу школу, и у нас будет очень веселый выпускной вечер с танцами до утра... Давай справим мне платье, совсем новое, чтоб была твоя Зойка нарядная и красивая...

Мать. Я и то уже деньги откладываю.

Зоя. Видишь, ты какая хитрая, а мне ни слова. Ну, давай придумаем, какое платье мы справим?

Мать. Ну какое-нибудь шерстяное, серенькое.

Зоя. Нет! Никакое не шерстяное, никакое не серенькое! Шелковое, яркое, в цветах!

Мать. Но ведь это же непрактично.

Зоя. Ну и пусть непрактично! Вот и пусть непрактично! Обязательно непрактично!

Мать (смеясь, целует ее). Ну ладно, пусть по-твоему.

Зоя. Ну, давай дальше разговаривать. Потом я пойду в институт и буду учиться, и мы с тобой оглянуться не успеем, как я кончу его и... А кем я буду, мамочка? Ты думаешь, учительницей? Нет. Один класс — 25—30 человек, ведь это же очень мало, мамочка. А есть люди, которые учат жить миллионы других людей. Учат, как Пушкин, как Толстой, как Николай Островский... Я понимаю, это очень трудно, нужно иметь большую, горячую, всезнающую душу, но... может быть... а вдруг мне хватит души? (Пауза.) Ну, ладно! Все равно, я начну работать, и тогда мы с тобой поедем путешествовать. Уложим чемоданы, запасем провизию на дорогу. Ну, что мы возьмем на дорогу?

Мать. Котлет и крутых яиц.

Зоя. Долой крутые яйца! Никаких крутых яиц! Мы купим ветчины, охотничьих сосисок, красной рыбы, и три кило трифелей и три кило «Мишек». Вот!

Мать. Но ведь это дорого, Зойка.

Зоя. Ну и пусть дорого! Я же буду сама работать. Мы же будем богатые.

Мать. Ну хорошо, хорошо.

Зоя. И вот мы сядем на белый красивый пароход и поедем прямо в Черное море, прямо в Крым... (И вдруг запинаясь.) Крым... Ах, да, для этого ведь надо еще прогнать отсюда немцев. Это так далеко, так далеко, и все через огонь... Горит, все горит, Крым горит, море горит, небо горит. И я тоже горю, меня тоже немцы подожгли... Mamочka, меня поймали немцы, и пытали, и били, и вот я лежу тут у них, а ты как? Как ты-то сюда попала?

Мать. Я пришла к тебе, Зоя.

Зоя. Но ведь я же у немцев, мама.
Мать. Ты в России, девочка. Это они тут чужие, а мы — я, ты — мы свои здесь, русские.

Зоя. И ты прошла через фронт, и они тебя не заметили, не схватили? Но ведь это чудо, мамочка. Разве бывают чудеса?
Мать. Конечно, бывают, Зоя.

Зоя. Тогда может быть немцы не убьют меня, и я останусь жива? Может быть такое чудо, мамочка?

Мать. Но для этого ты должна рассказать им все, о чем они спрашивают. Выдать товарищей. Ты можешь сделать это?

Зоя. Не могу. Они били меня ремнями, они жгли мне губы, а я не сказала. Не могу.

Мать. Значит, нужно другое чудо. Такое чудо, чтоб ты не умерла от их смерти. Чтобы их немецкая смерть не смогла одолеть тебя, русскую.

Зоя. Как же это, мамочка?

Мать. Желай этого, Зоя. Верь в это, Зоя. Как верила в детстве. Как верила сказкам.

Зоя (шепчет). Иван-царевич... Живая вода... Пить... пить... Да, да, я знаю. Самое трудное сейчас не кричать от боли, не испугаться их смерти, поверить в то, что я не умру, что они не в силах убить меня, что я сильнее их смерти... Самое трудное... Спасибо тебе, мамочка.

Мать. Спи, моя доченька, спи, моя маленькая.

Зоя (тихо). А ты рассказывай.

Мать. А ты засыпай. Слушай и засыпай.

За невестою своей
Королевич Елисей
Между тем по свету скачет.
Нет как нет! Он горько плачет,
И кого ни спросит он,
Всем вопрос его мудрен;
Кто в глаза ему смеется,
Кто скорее отвернется...

Елисей, не унывая,
К ветру кинулся взывая:
«Ветер, ветер, ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе,
Не боишься никого,
Кроме бога одного.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ее» — «Постой, —
Отвечает ветер буйный:
Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,
В ней глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальной
На цепях между столбов.
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места.

В том гробу твоя невеста».
(Мать тихо отступает в темноту.)

Зоя (продолжает).
Ветер дале побежал.
Королевич зарыдал
И пошел к пустому месту,
На прекрасную невесту
Посмотреть еще хоть раз.
Вот идет, и поднялась
Перед ним гора крутая,
Вкруг нее стена пустая;
Под горою темный вход.
Он туда скорей идет.
Перед ним, во мгле печальной,
Гроб качается хрустальной,
И в хрустальном гробу том
Спит царевна вечным сном.
И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился, Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумленными глазами...

Борис (задыхаясь, выбегает из темноты). Зойка! Ты! Наконец-то!

Зоя. Борис! Что случилось? Почему ты так запыхался?

Борис. Я все время бежал. Мне не терпелось посмотреть, как ты ему обрадуешься.

Зоя. Кому? Кому я обрадуюсь?

Борис. Вот гляди, кого я тебе принес (вынимает из-за пазухи длинноухого зайчонка).

Зоя. Зайчонок! Живой! Настоящий! Борька! (Захлебывается от восторга). Борька, но как ты узнал?

Борис. Что узнал?

Зоя. Да про зайчонка. Когда я была маленькой и жила у бабушки в деревне, дед однажды принес мне из лесу живого зайчонка. Я была так счастлива, так счастлива! А потом его загрызла собака, и я очень плакала в нем, и мне больше всего на свете хотелось, чтобы снова был у меня такой длинноухий, серый, теплый зайчонок. Но как ты узнал?

Борис. Я всегда буду угадывать все твои желания.

Зоя. Да? А что у тебя в шапке?

Борис (протягивает ей шапку). Это тоже тебе. Я собрал у болота.

Зоя. Клюква! Какая крупная! Какая вкусная!

Борис. Было так весело ее собирать. Жаль только было, что тебя нет. Ведь мы еще ни разу с тобой не гуляли вместе так, чтобы далеко, долго, чтобы никому не спешить, чтобы никто нас не ждал.

Зоя. И ни одной книжки вместе не читали.

Борис. И ни разу в театр не ходили вместе.

(Оба замолкают.)

Зоя (тихо). Борька, не молчи. Не молчи. Говори, пожалуйста.

Борис (тихо). Зойка.

Зоя. Ну? Ну, хочешь, я первая скажу?

Борис. Хочу.

Зоя (тихо). Я тебя люблю.

(Оба замолкают.)

Зоя. Ну? Ну, теперь ты.

Борис (тихо). Я тебя люблю.

(Замолкают.)

Зоя (настойчиво). Ну. И еще. Еще говори. Все, что ты всегда хотел сказать, что я тебе говорить не разрешала. Теперь я уже ничего не боюсь, и я все тебе разрешаю. Говори же, говори — я хочу слышать, как об этом говорят, я хочу видеть, как при этом смотрят.

Борис (тихо). Зойка!

Зоя. Ну! Ну! Хочешь, чтоб я сама все за тебя сказала?

Борис. Хочу.

Зоя. Хочешь, чтоб мы были всегда вместе, совсем вместе?

Борис. Хочу.

Зоя. Хочешь обнимать и целовать меня?

Борис. Хочу.

Зоя. А хочешь, хочешь, чтобы я родила тебе кого-то маленького, кого-то только нашего с тобой?

Борис. Хочу.

Зоя. Сначала только я почувствую его, как теплый комочек, как дрожащий огонек, и может быть я даже не сразу скажу тебе об этом.

Борис. Но я угадаю.

Зоя. Постой, но кто же он будет?

Борис. Обязательно дочка.

Зоя. Хорошо, а потом сын. Потом? Потом... (На мгновение задумывается.) Потом ничего не будет. Ты не знаешь, я забыла тебе сказать: я попалаась, меня поймали немцы. Ты может быть даже и разлюбишь меня оттого, что я не такая уж ловкая?

Борис. Я люблю тебя.

Зоя. Они пытали меня, били, а потом они убьют меня. Ты не разлюбишь меня за то, что немцы смогут убить меня?

Борис. Нет! Нет! Ты не умрешь, Зойка.

Зоя (тихо и спокойно). Я знаю. Я не умру, сколько бы они не убивали меня. Но та, что останется жить, будет уже не эта вот Зоя, с этими вот руками и ногами, с этими вот глазами и губами. Ту Зою, которая не умрет, нельзя будет обнимать и целовать, а я хотела, чтобы ты меня обнимал и целовал.

Борис. Я всегда буду любить тебя! всю жизнь! Тебя одну!

Зоя. Нет! Нет, не надо. Тогда тебе будет очень горько и скучно жить на свете, и ты будешь несчастный и жалкий, а я не хочу. Раз уж ты умеешь так прекрасно любить, то ты непременно люби. Найди на земле другую, которой по силам придется твоя большая любовь. А меня ты

все равно никогда не будешь любить меньше.

Борис. Только тебя! Тебя одну! Всегда тебя! (Вырывается из ее объятий). Я побегу в лес! Я найду наших! Мы нападем на Петрищево! Мы спасем тебя! Только не говори мне «прощай». (Убегает.)

Зоя (одна). Он найдет их. Он приведет их. Они спасут меня. Немцам не удастся меня убить. (На миг задумывается). А вдруг они начнут злорадствовать, немцы? Скажут: вот ведь гордая, сильная, ничего не боялась, били, пытали, мучили — не кричала, а смерти нашей все-таки испугалась. Значит, страшна наша смерть, значит... (Удары топоров. Зоя прислушивается.) Слышу. Слышу шаги... Это идут люди, армия, войско, это наши идут! Они спасут меня!

(Удары топоров перерастают в маршевую музыку.)

Зоя. Гремят барабаны, гремят барабаны!

Труба о победе поет.

Идут партизаны, идут партизаны, великое войско идет.

Сейчас это кончится, боль

прекратится,

не долго осталось терпеть.

Ты скоро увидишь любимые лица, тебе не позволят стонать.

Спешат на подмогу деревни и села, и музыка наша гремит.

и вся твоя улица, вся твоя школа

к тебе на подмогу спешит.

(Гремит музыка, и Зою окружают партизаны, ее друзья.)

Все. Зоя! Здравствуй, Зоя!

Зоя. Вы! Вы пришли! Вы успели! Я так и знала!

Клава (припадает к ней). Зоюшка,

милая ты моя, что они с тобой сделали!

Зоя. Они поймали меня, обыскали меня и стали допрашивать. Они спрашивали, где вы, сколько вас, что вы мне поручили, где наша стоянка, кто у нас командир, но я ничего не сказала.

Все. Спасибо тебе, Зоя.

Зоя. Они долго били меня, было очень больно, но я ничего не сказала. Я только раз не выдержала и попросила пить, и тогда один из них поднес к моим губам керосиновую лампу без стекла, но я ничего не сказала.

Все. Спасибо тебе, Зоя.

Зоя. Потом они долго гоняли меня по снегу, в одной сорочке, босую, а ноги у меня были избитые, в кровоподтеках и страшно горели, а снег... вы даже не знаете, какой он холодный. Месяц светил ярко-ярко, и было светло, как в сказке, и звезды были крупные-крупные, и когда я шла в ту сторону, где Москва, мне было легче, а когда он окликал меня и приходилось поворачивать, тогда... я никогда

не знала, что бывает так больно. Но я ничего не сказала.

Все. Спасибо тебе, Зоя.

Зоя. Я рада, что я помогла вам, что я помешала немцам окружить вас, я рада, что знаю это, я бы еще только одного хотела знать... Я знаю, что мы победим, что фашистов не будет на земле, что с сегодняшней страшной моей ночью мы стали еще на одну ночь ближе к этой победе, но... Всей своей жизнью, всеми своими последними силами я желала бы узнать, что немцы не войдут в Москву, в мою Москву, в нашу Москву. (Все молчат.) Я знаю, мне никто этого не скажет, я никогда этого не узнаю. Идите же скорее туда, куда вам приказано, вперед, наступать, побеждать. Идите. Доброго вам пути.

Все. А ты? А ты, Зоя?

Клавва. И ты с нами, Зоя. Мы не оставим тебя.

Зоя. Нет. Я останусь здесь. Когда они били меня, я ни разу не вскрикнула, не застонала, и им было страшно от этого. А тот, который выгонял меня на мороз, босую, раздетую, он поднимал воротник своей шинели, и прятал руки в рукава, и дрожал, и лязгал зубами от холода. Он все ждал, что я упаду, заплачу, взмолюсь о пощаде, а я шла, не сгибаясь, и так страшно стало тому немцу, что он завыл от страха, потрясая своими синими кулаками.

Клавва. Зочка, уйдем с нами, Зочка! Если больно тебе ступать, мы понесем тебя. Нельзя тебе здесь оставаться. Не могу я этого. Они убьют тебя.

Зоя. Да. Они убьют меня. А я хочу так умереть, чтобы стало им еще страшнее, так умереть, чтобы они в десять раз больше стали бояться каждого из нас, каждого такого, кто умеет так умирать, так не бояться их смерти. Идите, мои дорогие! Идите вперед! Идите наступать! И спойте мне на прощание песню, ту, нашу, мою любимую.

(Начинается песня, и пока она поется, люди поочередно подходят к Зое, за руку прощаются с ней и уходят в темноту.)

ПЕСНЯ ПАРТИЗАН

На горе высокой
Старый дуб стоит,
А под этим дубом
Партизан лежит.
Он лежит, не смотрит
И как будто спит,
Золотые кудри
Ветер шевелит.
А над ним старушка-
Мать его стоит.
Слезы проливает,

Сыну говорит:

«Я ль тебя растила,
Нежно берегла,
А теперь могила
Будет здесь твоя.
Когда ты родился,
Батяка немцев бил,
Где-то под Одессой
Голову сложил.
Я вдовой осталась,
Пятеро детей.
Ну скажи словечко,
Милый мой Андрей.
Ты гадюк-фашистов
Меткой пулей бил.
Орден со звездой
Гордо ты носил.
Ну скажи словечко
Матери своей.
Ой, болит сердечко,
Милый мой Андрей.»
За стеной старушку
Слушал командир,
Ласковое слово
Ей проговорил:
«Ты не плачь, родная,
Он героем пал»,
И с земли старушку
Тихо приподнял.
На горе высокой
Старый дуб стоит,
А под этим дубом
Партизан зарыл.
За страну родную
Пал он не один,
За него фашистам
Крепко отомстим.

(Зоя допевает песню и, загнувшись на последних словах, напряженно вглядывается в темноту.)

Зоя. Кто это там стоит у окна? Я не могу встать, Иосиф Виссарионович, у меня горят ноги, но я так выслушаю ваш приказ. Сегодня, 5 декабря тысяча девятьсот сорок первого года, части Красной Армии под Москвой переходят в генеральное наступление. Значит, они не возьмут Москву, никогда не возьмут Москву! Спасибо вам, Иосиф Виссарионович, за то, что вы пришли мне об этом сказать, теперь мне уже ничего не страшно. (Затемнение. Музыка.)

(Свет. Следующая ночь. Луна в тучах. По заснеженной площади Петрищева пробирается Борис. Очень тихо, и где-то невдалеке разгорается зарево.)

Борис. Все сделано. Луна зашла за тучи.
Пылают склады. Близок, близок срок.
Мы встретимся, мой ясный, мой певучий,
мой золотой единственный дружок.
Любовь моя, ты шла со мною рядом,
была в пути отвагою моею,
и под твоим прямым пристрастным
взглядом

¹ Это подлинная песня орловских партизан.

БЕЛАЯ МЕЧЕТЬ

Рассказ

СЕМЕН БАБАЕВСКИЙ

★

I

Издавна Белая Мечеть считается самой красивой станицей на Кубани. Тенистые улицы ее уходят к каменному собору на просторной площади, обсаженной тополями. В густой зелени белеют цинковые крыши и горят на солнце застекленные террасы, оплетенные хмелем; когда смотришь вниз с высокой горы, станица напоминает гусиную стаю, слетевшую на отапливаемые, заросшие садами берега. А еще украшает Белую Мечеть старинный собор из голубого, как рафинад, камня. Великаном стоит он на площади; самый высокий тополь выглядывает передним деревцом; шапка валится с головы, когда проходишь по площади и смотришь на его золотые купола. В солнечные дни своим сиянием он на десятки километров встречает и провожает идущих по тракту людей.

Лежит Белая Мечеть в долине Кубани. Наступило лето, и так же, как и до войны, укрывает улицы темная зелень садов, сплетаются ветви и прячут под листвой оголенные строения. Но сколько ни будешь смотреть на площадь, не увидишь там сахарного собора и не забелеют в садах гусиной стаей цинковые крыши, не запылают под солнцем террасы. На месте собора — груды камней и покосившаяся мраморная колонна, точно дуло орудия, смотрит на запад... Тополя обуглены, улицы в бурьяне, изгороди сожжены. Ободранные дома без крыш, точно нищие в рубище, выглядывают из свежей зелени. Не зажили еще свежие следы разбоя и грабежа. Но всему видно — не прельщала немцев природная красота старинного кубанского поселения. Пришельцы больше любовались цинком. Вместе с крышей на землю валялись стропила, и несколько месяцев над Белой Мечетью стоял людской плач и лязг цинковой жести. Грузовики подвезжали к дому; железо и дерево аккумуля

ратно складывались на машины, увозились на станцию и погружались в длинные эшелоны. Это было в декабре. А в январе 1943 года, в день освобождения станицы, выпал глубокий снег. По свежему насту прискакали казаки, остановили коней на пустой, заснеженной улице и сняли шапки. Белая Мечеть, точно покойница, лежала на берегу Кубани, и над ее белым саваном угрюмо чернели давно остывшие дымари...

Пришла весна. Напиталась земля теплом и светом. Ожили и сады, но уже ни зелень деревьев, ни буйное цветение хмеля не могли укрыть черные остовы труб и не скрывали картины разрухи. В конце апреля выпали теплые дожди и вместе с радостью принесли они в станицу новые страдания: в домах образовались лужи, обвалилась глина на размокших потолках и по стенам слезами стекали рыжие подтеки. Тогда-то и решила Дуся Чимериска восстановить черепичный завод, маячивший трубой за Кубанью. На дороге в район прогремела стансоветская тачанка. Дуся Чимериска исходила все учреждения, и ей посоветовали заглянуть в госпиталь: если среди раненых не окажется специалиста по выделке черепицы, тогда уж его нигде не найти. На счастье оказалась в госпитале такой человек, по имени Григорий Миронец. В длинном черном халате, повязанном тряпчатой веревочкой, в каком-то странном чепчике на чубагой голове Миронец показался Дусе Чимериске похожим на молодого дьячка с картинки. Она даже засмеялась, глядя на широченные рукава... Лицо у Григория было восковое, без единой кровинки. Острый нос, глубокие впадины щек отливали матовой желтизной. Но темные большие глаза светились теплом, и во взгляде их, живом и остром, Дуся Чимериска заметила искорки глубоко запрятого добродушия.

— Боюсь, что причину вам много хлопот, — сказал Миронец, и хотел было

улыбнуться, но сухие губы только скрипелись. — После контузии врачи требуют, чтобы я ехал домой и все лето питался молоком. А у меня, признаюсь вам, нет ни дома, ни родных, ни близких. Выход порастерял на войне...

— Так вам требуется молоко? — спросила Дуся, приветливо улыбаясь. — А у нас молочные реки текут. Казачки будут смотреть за вами, как за малым дитем. Вы только будете командовать, а мы все сделаем сами. — Дуся посмотрела вокруг, сожмурила блестящие карие глаза и уже с чисто женской хитрецей сказала: — А поздороуете, пожелаете обзавестись женой. — невесту дадим на выбор. В Белой Мечети живут писанные красавицы.

— А какие же это писанные красавицы? — спросил Миронец и на этот раз улыбнулся.

— А вот, хоть бы и такие! — Дуся взялась руками в бока. — Посмотрите! Чем не красавица!

Дуся Чимериска так и не знает: может быть, не скажи она опрометчиво этих слов, и не приехал бы в станицу Григорий Миронец, не дымилась бы заводская труба за станицей и никто бы не нарушил покой ее рано овдовевшего сердца... Стой поры, как поселилась Григорий Миронец в заводской сторожке, лишилась Дуся покоя. Все думала о нем, а почему — и сама не знала. Ей казалось, что виною всему парное молоко, которое приносила она ему по вечерам в черепяном кувшине. Григорий Миронец поздоровел, лицо его помолодело и в темных глазах было столько веселости, что Дуся без улыбки не могла на него смотреть. И часто, оставаясь одна, она думала: может быть не следует ей носить молоко и пищу всего надо бояться пристально ласкового взгляда, которым Григорий встречал и провожал ее. Но молоко попрежнему ставилось в печь, а когда начинало смеркаться, Дуся заворачивала кувшин в шаль (чтобы не остыло молоко) и уходила на завод. А недавно в глубокую полночь Григорий вдруг постучал в дверь ее дома. Дуся не отозвалась, хотя отчетливо слышала его слова: «Дуся... открой.» В сенцах он простоял долго. Дуся не открыла...

С той поры прошло более двух месяцев, но Дуся Чимериска не могла забыть эту ночь. Вот и сегодня она возвращается из района на светлогнедом иноходце, видит сизый дымок над трубой и думает о Григории. Она подстегнула плеткой коня и, задумчиво улыбаясь, сказала сама себе: «Кто пролюбит Дусю Чимериску, тот уж так просто не уедет...»

Видимо, Дуся Чимериска знала себе цену. Статная собой, полногрудая, она еще не утратила девичьей свежести и былого дородства. Лицо ее, выдавшее и жаркие ветры-суховеи, и каленое степное

солнце, изрядно покрылось матовой чернотой, но попрежнему было молодо, Лишь глаза ее, быстрые карие глаза, когда-то веселые и озорные, заметно потускнели и на лбу, точно карандашный след, обозначились две-три морщинки. Одет она была по-дорожному: мужнини шаровары краснели лампасами, кофточка, наподобие бешмета, повязана ремешком, а на голове гнездом намотан башлык из тонкого сукна. Издали посмотришь на нее, и невольно скажешь: табунщик! На коне она сидела несколько боком, как обычно сидят, отдыхая в седле, слытные табунщики. Лениво болтавшаяся на ее руке плетка как бы подбадривала резвого коня, который точно и не шел, а танцевал по заросшей бурьяном улице. В полуденный час безлюдна была Белая Мечеть. Только у ворот крайнего от выгона двора стоял фронтовик Игнат Сметана. Опершись на костыль и покручивая в раздумье усы, он долго изучающе провожал глазами всадницу. Подбегая к площади, Дуся Чимериска махнула плетью и, легко приподнявшись на стремени, посхала рысью. Игнат Сметана усмехнулся в ус и сказал:

— Джигитка! Казак-баба! И до чего ж бедовая, ловко сидит в седле. Эй! Аграфена Самсоновна! — позвал он жену. — Радуйся! Ваша атаманша прибыла.

А Дуся Чимериска уже подъехала к зданию станичного совета и у крылечка, увитого хмелем, остановила коня. Из хмеля, точно медведь из берлоги, вылез дед Панько, заросший черной вьющейся кольцами бородой, в парусиновых штанах, с арапником в руке, натурально — цыган.

— Алюром летела? — строго спросил дед Панько и сунул ладонь под горячий и мокрый потник.

— Ехала, не мешкала, — ответила Дуся, соскочив с седла.

— Да ведь это ж не простой конь, а иноходец, и алюром на нем ездить не разрешается. Иноходь испортится.

— Ничего с ним не случится, — Дуся быстро поднялась по ступенькам, сбивая плеткой свисавшие к земле листья хмеля: — Докладывайте, дедушка, что нового?

— Какие ж у нас могут быть новости? — Дед Панько подолом своей полотняной сорочки заботливо вытер колюче глаза. — Новостей у нас нету, а жалоб на тебя много.

— От кого?

— От моей личности... Не могу я, Евдокия Сергеевна, находиться при двух должностях — и конюховать и секретарювать. С конями мне легче управляться. А это секретарство не подходит под мою натуру. Как ты уехала, бабы мне осадку издедали. Хоть караул кричи! Одна, к примеру, требует справку на предмет беременности. Как я могу ей

выдать такую свидетельству? Иди, говорю ей, к доктору, а она кричит и требует: ты секретарь и ты все можешь... Другая муженька разыскивает. Весь вечер сочинял письма. Ну, эта баба мирная. А ж Анютке Мальцевой пристаёт какой-то плотник или механик, и она требует законную запись. Я ей по-русски говорю — иди в загс, а Анютка и слушать не желает. Чего-то она задумала, Евдокия Сергеевна!

— Анюта Мальцева не может без приключений, — сердито сказала Дуся, засунув руки в карманы шаровар. — Ну, а еще какие новости? Меня никто не спрашивал?

— Спрашивала. Сметаниха. Ее Игнат вернул с фронта. Обрадовалась Сметаниха и два раза в совет заезжала на своем шарабане.

— А Григорий Миронец не приезжал? — Дуся сорвала листок и прижала его к губам.

— Это который же, такой из себя жуковатый? Под мою масть? Не, его я не видел.

— Панько Осипович, садитесь на коня и скачите на завод к Григорию Миронец. — Дуся разорвала губами листок и бросила его на землю. — Скажите ему: так, мол, и так, Чимериска вернулась из района и просит вас к себе по срочному делу... А от секретарства я вас освобожу, — сказала она, когда дед Панько уже молодцевато сидел в седле.

Дуся Чимериска вошла в кабинет. На столе рядом с чернильницей лежала бумажка, и рукой деда Панько было написано: «Звонили из родниковских хуторов нащот чирипицы». Дуся посмотрела на эту бумажку, думая о Григории. Потом подошла к раскрытому окну, выходящему на площадь. И снова перед глазами стояли дома без крыш, и от площади в оба конца столбами маячили дымовые трубы. Дуся достала за окном цветок повители и понюхала его. «К осени закрасуется наша станица черепичным нарядом... И родниковским хуторам поможем. Всем поможем. Удержать бы мне этого черноглазого мастера». — Дуся грустно улыбнулась, трогая губами розовую пыльцу на пестике цветка.

II

Анюта Мальцева носила простенькое платьице и брезентовый фартук, какой бывает у плотников. Она была молода, и все в ней было обычным: и русая коса, закрученная «дулей», и милостивое, уверенное от солнца лицо, и наивно-грустные серые глаза; лишь губы у Анюты были слишком пышные, как бы слегка припухшие. Когда Анюта улыбалась, с губ ее точно слетала незримая ласка.

— Анюта, милая! — обрадовалась Дуся, встречая Мальцеву на пороге. — Настоящий плотник! И с пилой! Ну, как идет строительство крыши? Белеют?

— Белеет-то они белеют, а только нет у нас в станице порядка. — Анюта бросила на стол пилу-ножовку, хотела казаться строгой, но губы все испортили: они так приветливо улыбнулись, что все лицо ее точно расцвело.

— Что случилось?

— Начальников развелось много. — Анюта скрестила под фартуком руки, и на красивых ее губах оказалась горькая улыбка: — Не знаю, кому и подчиняться. Только залезли мы на крышу Анастасии Гречкиной, как является наш председатель колхоза преподобная Сметаниха и перебрасывает нас на крышу Марьяны Синебрюхиной. А у Синебрюхиной не оказалось леса. Тогда Сметаниха бросает нас на крышу Авдотьи Кочергиной. Только мы приступили к делу и застучали топорами, скачет на своем белом коне Тягнирядно. И давай на чем свет стоит жучить Сметаниху, как будто она обманным путем забрала нас к себе в колхоз... Вот я и забрала к тебе спросить, кому нам подчиняться?

— Мне, — твердо сказала Дуся Чимериска. — Крыши надо делать по плану стансовета. Давала я тебе такой план?

— Давала.

— Вот ему и подчиняйся. Ни Сметаниха, ни Тягнирядно тебе не закон. А что они воюют между собой, так это старая песня.

— Значит, снова перебираться на крышу Анастасии Гречкиной? Ну, я побегу. Вот и ножовочку достала. — Анюта отошла к двери, постояла, играя пилой, а потом тихо проговорила: — Дуся, сознаюсь тебе как родной сестре. Я полюбила одного. И без него я не могу жить... — Анюта засмеялась грудным, неестественным смехом, и губы ее виновато улыбнулись.

— Кто же он, этот?

— Механик сельхозмашин из МТС. Он у нас ремонтирует молотилки. А вчера весь день помогал мне крышу ставить. На все руки мастер. И молодой, такой красивый. Уже на фронте был, орден имеет. А теперь в отпуску по болезни.

— А Петро? Что Петро скажет?

Анюта сразу не ответила. Лицо ее скривилось, как от жгучей боли. Она склонила голову и шопотом сказала:

— Эх, Петро, Петро. Что ж ты мне теперь скажешь? Четвертый год молчишь. Видно, ты уже мне ничего не скажешь.

— Что ж? Решила не ждать?

— Сколько ж еще ждать? — Анюта подняла голову. — Дуся, мне уже двадцать четвертый год пошел, а я жизни не видела.

— Дурочка ты, Анюта, вот ты кто, — сказала Дуся. — Старости испугалась. Мне уже скоро тридцать будет, и тоже

четвертый год живу без мужа. Ты хоть можешь ждать, надеяться, а я уже своими глазами видела тот холмик, где почивает мой Андрейка... А на жизнь я не жалуюсь. Слов нет, трудная у нас жизнь, идем мы, Анюта, негротопанной дорогой, но зато уж такой другой жизни у людей не будет.

— Тебе тоже не легко, — Анюта ласково посмотрела Дусе в глаза. — Но, сознайся, Дуся, ты же любишь Григория! Ну, скажи, любишь? Ведь сердцу не прикажешь.

— Да, сердцу не прикажешь... Но у человека есть воля. Не всегда, Анюта, доверяешь своему сердцу.

— Эх, воля, воля, — проговорила Анюта, вновь играя пиллой. — Нету ее у меня... безвольная я. Вот и прошу тебя, помоги зарегистрировать нас... Чтоб все было по закону.

Дуся Чимериска молча подошла к окну. Сорвала выглянувший из-под окна цветок и, крутя его в пальцах, смотрела на площадь, на белое дуло колонны. Над станицей спускался вечер. Листья в саду загорелись холодным пламенем. Подымая пыль, через площадь проходило стадо.

— Не могу, — сказала Дуся, глядя на корова. Пойми, Анюта, скоро войне конец. Вернется Петро Мальцев. Придет в станичный совет и спросит, где же моя красавица Анюта? Что я отвечу? Как я буду смотреть ему в глаза, как буду держать...

Договорить Чимериске не дала Сметаниха.

— Дуняшка! Здравствуй, серденько! — Издали кричала она, увидев в окно Дусю. — Слава богу, прибыла. Мы тут без тебя, как малые дети без матери...

Грузная, уже не молодых лет женщина с энергичным и властным лицом, она, как царевна, восседала на двухколесном рессорном шарабане, — запряженном в одну лошадь. На ней была юбка, вернее сказать, не юбка, а какое-то головоломное сплетение оборок и складок. А какой размах имели подола! Раскрытый парашют, и только. По единодушному утверждению станичников, такие подола свободно могли бы укрыть весь шарабан или добрый сруб на колодце вместе с журавлем... Подхлестывая коня, она сехала по площади хорошей рысью. Шарабан тяжело наклонялся то в одну, то в другую сторону и гулко стучал по камням. (Под такой тяжестью, конечно, рессоры бы не устояли, если б чья-то догадливая голова во-время не поставила на ось надежные стальные сошки).

— Значит, безвольная я... Что ж мне теперь делать? — чуть слышно проговорила Анюта, и не взглянув на Дусю, взяла пилу и тихо вышла.

По коридору уже гремели кованые полусапожки и слышался резкий повсиг

кнута. Точно от сильного порыва ветра распахнулась дверь, и на пороге появилась Сметаниха. Рыхлая телом, она ходила бодро, ставя ноги, обутые в керзовые гетры, решительно, как солдат.

— Дуняшка! Ты в шароварах! — Сметаниха оглядела председательницу совета с ног до головы. — Истинно, жазак!

— На коне удобно ездить, — сказала Дуся.

— Счастливая ты. Фигура у тебя стройная, не то что у меня. — Сметаниха загребла рукой подола и села на стул. — Как-то и я вздумала нарядиться в казака. Натянула игнатовы шаровары, глянула в зеркало, и ахнула: получился не казак, а какое-то страколюдь. В цирке можно людей пугать... Так что по моей комплекции нет лучшего наряда, как вот эта юбочка, шириной в четыре метра.

Дуся придвинула свой стул ближе к Сметанихе и сказала:

— Зачем вы, Аграфена Самсоновна, обижаете Тягнирядно? Мужчин у нас и так мало.

— Я обижаю? — Сметаниха даже встала. — А ты знаешь, что он вчера говорил? До слез меня довел. Шайка, говорит, у вас. Это, стало быть, все женщины — шайка. Ему нужна плотничья бригада, так он обзывает нас шайкой... Ничего, говорит, уже возвращаются с фронта казаки, дескать, осталось недолго вам верховодить. Уже, говорит, прибыл мой друг Игнат Сметана. Тайком приходил он до моего мужа и такое наговорил ему, что тот впал в ревность.

— В какую ревность?

— Ну, это я по-научному... А сказать по-нашему, берут его завидки на свою жену. Оставлял слезливую бабу, а оказалось, она у него председателем. Как же тут не впадать в ревность?.. Легли мы с ним спать, а он и говорит с подходом: «Ты, бедняжка, и так застрадалась, пока я воевал. Пора тебе и отдохнуть». Ишь ты, жалеть вздумал! Тягнирядно, говорит он мне, мой давний дружок, и будем мы с ним жить в ладу да в согласии. Эге, думаю себе, дудки. Вижу, куда линию гнет.

— А вы посылайте Игната Сидоровича на ферму, — участливо заговорила Дуся. — Он же природный конник.

— На ферме люди есть. Надо станицу наряжать. Я даю ему бедарку, и пусть соревнуется со своим дружком, кто скорей крыши покроет. Вот я и приехала к тебе спросить, когда ж будут черепицы? Что-то твой миленок плохо старается.

— Дней через пять получим первую партию, — сухо ответила Дуся. — Готовьте стропила и латы. Покрывать будем днем и ночью. — Дуся помолчала, потом, как бы вспомнив, сказала заметное волнуясь: — А насчет того, что Григория вы назваи моим миленком, это зря.

Нет у меня, Аграфена Самсоновна, миленька.

— Да ты не обижайся. Он сам мне говорил, что души в тебе не чают. Только и думаю о ней... Так зачем же дело стоит? Запишитесь в совете, добрую свадьбу справим, да и бог с вами, живите и радуйтесь.

— Радуйтесь? — Дуся скупо улыбнулась и глаза ее затуманились. — Хорошо сказать — радуйтесь. Да тут только сделай почин, не оберешься горя. На меня все бабы смотрят... Уж и так которые нетерпеливые, вертялые бабочки приходили ко мне со своими женишками и просили записать. А я всем заказала — до окончания войны! И себе заказала.

Сметаниха встала. Повязывая косынку, она сказала:

— Значит, дней через пять будет черепица? Ну, я побегу готовиться. Пусть Тягнирядно погоняется за мной...

Она прогремела по коридору, проворно влезла на шарабан, подобрала свисавшие ниже колес подолаи и, уже стегая коня кнутом, крикнула:

— Дуняшца! А насчет нетерпеливых бабочек — действуй! Одобряю!

Застучали по камням колеса, и шарабан скрылся в сумерках. На горизонте догорало пламя, и Дуся Чимериска увидела багряную верхушку деревьев, листья которых были точно осыпаны бронзовой пылью. Постепенно смеркалось, чернели сады и над потухшим закатым поднялась черная туча, похожая на стог сена. Было тихо. О листья сирени шлепнулся не то шмель, не то жук-носорог. Застучали ступеньки. Кто-то быстрошел по коридору. По стуку сапог, по торопливому шагу Дуся Чимериска узнала Григория. Почему-то тревожно забилося сердце, запылали щеки, и Дуся была рада, что в комнате не горела лампа.

— Здравствуй, Дуся — сказал Миронец, подходя к Чимериске. — Ты меня звала? — Садись. Поговорим.

Они продолжали стоять у раскрытого окна. Из сада подул ветер. Стог сена на горизонте надвое рассклала молния. Где-то далеко прогремел гром.

— Опять будет дождь, — сказала Дуся. — А дома без крыш. На тебя, Гриша, смотрит вся станица.

— Скоро, скоро будет черепица, — Григорий подошел к окну и, чувствуя влажное дыхание ночи, спросил: — завод у нас отбирают?

— Оставили до осени...

— А о моем отъезде говорили?

Дуся ответила не сразу. Протирая пальцем стекло, она сказала:

— Если тебе у нас плохо, то уезжай... только с условием, уедешь, когда будет покрыта последняя крыша. — Дуся ти-

хонько засмеялась: — Так решил райисполком.

— Ничего не понимаю, — Миронец приблизился к Дусе, стараясь по лицу ее узнать, говорит ли она правду или шутку. — Почему тут последняя крыша? Ради тебя я приехал сюда. — Григорий осторожно взял ее за плечи твердыми ладонями. — Помнишь, Дуся, госпиталь? Тогда ты была со мной ласкова. Ты сказала, отремонтируй завод. И я отремонтировал. Вот этими руками строил печи, и в них уже выжигается черепица... Значит, я нужен здесь, пока будет покрыта последняя крыша?

Дуся посмотрела на иссиня-черное небо и сказала:

— Что ж поделаешь? Так постановил райисполком. А мое решение ты знаешь: замуж я не выйду.

— За меня?

— Нет... Вообще.

— Тогда мне не на что надеяться... Поторопливо быстрее накрыть последнюю крышу...

Дуся Чимериска ничего не сказала, отвернулась к окну и прижалась горячей щекой к мокрому стеклу. Гремела гроза и в листьях сада приветливо шумел дождь. Григорий Миронец не простился и тихо вышел. Когда он стоял на крыльце, и молния на секунду осветила его матовое лицо, Дуся крикнула:

— Григорий! Куда же ты в такую погоду? Вернись!

Григорий Миронец не отозвался.

III

Полночь. Сладко спит Белая Мечеть под розовым покрывалом лунного света. Прогремела тачанка на улице и остановилась у дома Дуси Чимериски.

— Карета подана! — крикнул дед Панько и усердно постучал кнутовищем о жестяной козырек тачанки. Потом привязал к ноге вожжи, вынул длинный, сделанный из чулка кисет и стал не спеша сворачивать цыгарку.

Из калитки вышла Дуся Чимериска. На ходу повязывая шерстяным платком, она решительно стала на подножку. Заиграли рессоры и тачанка, точно угодая своей хозяйке, низко наклонилась, приглашая на покрытое мягкой полостью сиденье.

— В какую сторону рулить? — дед Панько повернул к Дусе бородатое лицо, морщась от дыма цыгарки, прилепленной к его нижней отвисшей губе.

— На завод, — Дуся заботливо подобрала концы узкого платья. — Только живее.

Дед Панько отпустил вожжи, и застоявшиеся кони с места пошли рысью. Четко застучали копыта. Плавное, точно на воде, закачались рессоры. Мягко заго-

ворили колеса, и уже пошла, понеслась в лунную даль знакомая с детства песня... Знаю я, кто не был в летнюю пору на Кубани и не слышал на рассвете звонкий цокот тачанки, кому не доводилось засыпать среди степи под убаюкивающие напевы несущихся на просторе колес, — тот никогда не поймет волшебную силу этих звуков... Представьте себе картину лунной ночи в июле. Вы одни в поле. Вокруг целинные луга, не зеленые, а темнорозовые, как шелк; в голубом сиянии поднимаются в небо стога только что сложенного сена. Тишина и степное безмолвие. И вдруг, где-то далеко-далеко, может быть за Кубанью, рождается еле-еле уловимый ухом говор колес; звуки еще совсем робкие и неровные, как бы идущие из недр земли, а глухая дробь копыт чуть-чуть приметна; вы еще не знаете, едет ли это председатель колхоза из далекого стана или скачет на доброй тройке секретарь райкома; а может быть счастливый жених увозит в свой дом невесту и не видит впереди себя ни дороги, ни верстовых столбов. Вы еще не знаете, кто этот скачущий степью человек, а на сердце вашем уже теплится и зреет радость: как бы ни было вам тяжело, как бы ни мучило вас одиночество, услышите ночные напевы тачанки — забудете и о тоске и об усталости, встанете на ноги и пойдете... А цокот колес все нарастает и нарастает, и под эти спокойные звуки в памяти возникают картины детской страды, тучными гривами встает по степным дорогам пыль, снуют от тока к току серые грузовики, машут крыльями комбайны; далеко на горизонте горят серебряные головы элеваторов и к ним, как к степным маякам, тянутся по жнивью тысячи бычьих и конных упряжек, доверху заваленных зерном. Журавлями скрипят ярма и как будто выговаривают: «Хлеб возем. Много, много хлеба возем»... А то было и так. Только что отгремели над Кубанью бои, и попутная машина завезла вас в станицу. После долгой разлуки вы снова под родной кровлей. Опустение... Нет, не опустение, а оскудение отовсюду смотрит вам в глаза. Окаменевшая боль давит сердце... Приходит вечер. Как бывало в детстве, доносится в станицу сладкое дыхание степи. Вы ложитесь спать, но не на материнских пуховиках (распороты штыком подушки и ветром развеян гусиный пух), а под навесом без крыш. В тяжком забытьи вы смотрите на звезды и до утра не смыкаете глаз... И с рождением зари, где-то совсем рядом, возникает ласковый говор тачанки. Вы уже не можете спокойно лежать. Сколько в этих звуках знакомой сердцу тревоги! Сколько рождают они в груди забытых и, казалось, уже давно потерянных воспоминаний... Белеет небо, в птичьем гомоне просыпаются сады, на улицах слышен людской

говор... Над оживающей станицей встает новый день.

... Дуся Чимериска разбудила Белую Мечеть. В домах зажглись огни. Замелькали фонари на колхозных дворах и посылались голоса: «Шею, шею, лысы!» «Кнута ему!» «А куда нам спешить?» «Да как же не спешить! Провозимся, пока Сметаниха всю черепицу заберет».

А Сметаниха на ту беду еще спала. Мимо окон ее прогремела тачанка. Аграфена Самсоновна вылезла из-под одеяла и прислушалась: звенели стекла. Забежала по хате в одной сорочке.

— Русалка, чего ты танцуешь? — протирая глаза, спросил Игнат.

— Ой, — закричала Сметаниха. — Проспали! Все погибло! Чуешь, ярма скрипят? Тягнирядно ведет свои обозы на завод. Всю черепицу заберет.

— Кто? — сказал Игнат, вставая на одну ногу. — Тягнирядно?! Мой дружок? А ну, подай мне костыль.

Тень от заводской трубы лежала через весь двор. Вдоль печей протянулись штабеля новенькой и еще теплой черепицы: на свете луны она горела красным блеском. В глубине двора, на приводе ходила лошадь и вращала лежавшее на чане огромное колесо с деревянными зубьями. Женщины бросали лопатами глину, в чане копошились лопасти и жидкое месиво шипело и точно вскипало. У борта стоял Григорий Миронец и то подстегивал кнутом лошадь, то пробовал рукой глиняный раствор. Когда лошадь ускоряла ход, лопасти издавали глухие шлепки и вверх взлетали мелкие комочки грязи.

— Уже не спишь, Гриша! — сказал Дуся Чимериска, подходя к Григорию.

— Какой там сон. Видишь, какую глиномешалку добыл.

— Сам избобрел?

— По старой памяти... У нас на заводе до войны три таких было. Простая вещь, а какая помощь. Сто человек заменяет, — Григорий наклонился за борт и зачерпнул в горсть грязи. — Такой у меня характер: начну что-нибудь делать и не могу бросить.

— А я думала, что ты уже уехал, шутовым тоном сказала Дуся.

— Грозилась, а вот не уехал... Не могу, Глиномешалка задержала.

— А может есть и другая причина?

Дуся не взглянула на Григория, посмотрела в чан. Глина вздымалась, пугырилась и на свете луны желтизной своей напоминала сливочное масло. Григорий подгонял кнутом коня и молчал, а Дуся Чимериска, пробуя пальцем глину, задумчиво заговорила:

— Я знаю, Гриша, ты уедешь от нас... И мне видится та ночь. Может быть, вот так, как и сейчас, взойдет луна. Тебя уже не будет, а я выйду одна на курган и подо мной раскинется станица в

своим новым наряде. В желтых ветках будут отсвечивать черепичные крыши, и люди, ложась спать и вставая, будут вспоминать тебя добрым словом...

— Фантазия, — сказал Григорий.

А двор уже наполнялся подводами. Они текли двумя рядами: впереди одного ряда на белом, будто сделанном из алюминия коне ехал Тягнирядно. Впереди второго — Сметаниха, как богиня, на рессорном шарабане. На ярмах сидели сонные мальцы-погонычи с батогами. Вскоре обозы запрудили двор, между подвод, как на ярмарке, сновали люди и стоял оживленный говор.

— Куды ж ты пуляешь? У меня пуля гостует в ребре, а ты на меня пуляешь?

— Минька, не спи, сынок, а то тебя бык рогом шибанет...

— Куды ж ты напиралась? Люшня трещит, а ты напиралась!

— Пропустите мою арбу!

— Граждане, казачки, задним ходом нельзя.

— Бабочки, не пускайте тягнирядновцев.

— Да где ж на ту беду запропастилась Чимериска?

Тягнирядно подскакал на коне к Дусе. Разгоряченный скакун танцевал белыми ногами. Всадник был уже немолодой, с кышными, белесыми усами.

— Рассуди нас, Евдокия Сергеевна, — сказал он, браво приподнявшись на стремене. — Сметаниха всю ночь со своим фронтвиком миловалась и немножко проспала. А я всю ночь со своим колхозом не спал и находился на исходных позициях. Как заремела твоя тачайка, мы и тронули... За Кубанью нагнала нас Сметаниха и кричит: я первая! Как же так...

— И неправда! — кричала, подходя, Сметаниха. — Дуняшка, не верь этому уса-чу.

— А вы не ссорьтесь, — спокойно сказала Дуся. — Черепицы хватит. Вы, товарищ Тягнирядно, подъезжайте с того конца. А вы, тетя Груня, с этого...

Сметаниха села на шарабан и подозвала к себе мужа.

— Игнатушка, — сказала она шопотом, — ты тут действуй. Спервоначалу езжай к Синебрюхиной и к Гречкиной. А я полечу в станицу и разбужу анютину бригаду.

Арбы поскрипывали и подстраивались одна к другой. Передние уже нагружались. Звенели черепичные плитки, мягко ложась на соломенную подстилку. Дуся Чимериска вошла в гущу подвод. Над обозом ярко-красной пеленой поднималась пыль. У воза, доверху нагруженного черепицей, двое мужчин били друг друга по рукам, как цыгане на ярмарке. Дуся слышала знакомый бас Тягнирядно:

— Игнат, дружка мой! Да если б не твоя

Аграфена, так я ради тебя готов хоть с кручи в воду!

— Ого! Да зачем же, дружка мой, сигать с кручи в воду? Давай лучше придем к единому согласию, начнем покрывать дома с нашего колхоза. У нас уже и кровельщики сидят на крышах, и вдовушки войны с малыши деташками ждут не дождутся этой радости.

— А от тех вдовушек мы пойдем через всю станицу?

— Ага! Ты угадливый. От тех вдовушек мы пойдем через всю станицу и не разлучимся, пока не укроем последнюю хатенку.

— Согласие во всяком деле дороже всего, — сказала Дуся Чимериска, подходя. — Давно б так. А ну, товарищ Тягнирядно, принимайте на себя главную команду. Направляйте первые подводы во двор Гречкиной и Синебрюхиной. Там Сметаниха ждет вас не дожидется. А вы, дядя Игнат, руководите погрузкой.

Станица белеет свежими стропилами. В саду стоит квадратный, как улей, домик Марьяны Синебрюхиной. Чисто оструганные бревна блестят, и на них, на самом гребне, сидит Анюта Мальцева. Миловидное ее личико повязано косынкой. Она встает, и тень от нее ложится на белые стропила. Лунный свет озаряет ее лицо: она смотрит за станицу, и ее пышные губы задумчиво улыбаются. На дороге показалась валка подвод: точками зачернели погонычи на ярмах, а впереди ехал на белом коне Тягнирядно.

— Тетя Груня! — крикнула Анюта Сметанихе. — Едут, только не наши, а тягнирядновцы.

Сметаниха взобралась по лестнице на крышу, увидела обоз и белого коня и всплеснула руками:

— Обжужльничал усатый моего Игната. Так и простояла она на крыше, пока к воротам Синебрюхиной не подъехал на белом коне Тягнирядно. Сдерживая коня, он крикнул:

— Самсоновна! Открывай ворота!

Ворота распахнулись. Их открыла сама хозяйка с такой поспешностью, как будто во двор влетал свалебный поезд. Тяжело застучали под окнами подводы. Загremели колеса. Дрожала земля. В доме проснулись дети и голышами, как мышата из гнезда, выбежали на двор. А Марьяна Синебрюхина, круглолицая, до-родная казачка уже стояла на возу. Вро-вень с ней на лестнице сидела девушка из бригады Мальцовой, с заспанными глазами и непричесанной косой. Анюта Мальцева сидела верхом на перилах и командовала:

— Подавай!

Марьяна Синебрюхина нагибалась с такой легкостью и поворачивалась так легко и проворно, что казалось, она не шодавала черепицу, а плясала на подводе. Она работала обеими руками, и моло-

денькая казачка не попевала за ней. А Синябрюхина за каждым взмахом рук приговаривала: «Поторопись, Танюша! А лови эту красавицу! А держи вот эту звонжку!» По рукам, как по конвейеру, шла черепица за черепицей. Подъезжали новые подводы, и погонячи, соскакивая с ярм, подводили быков вплотную к стене. Танюша передвигала лестницу, и Марьяна Синябрюхина с подобранным выше колен подолом уже взбиралась на подводу. Быстро росла вокруг дома ярко-красная полоска, точно нарядная оборка на белом платье. А когда Анюта Мальцева уложила на гребне последний ряд черепицы и по канату спустилась на землю, Синябрюхина отошла на середину двора, обняла сбегавшихся к ней детей и, вытирая с лица пот, умиленно посмотрела на новую крышу: «До чего ж красиво!»

По соседству — двор Гречкиной. И у нее уже принарядился дом. Не чернеет в саду дымарь. Под лунным светом черепица горела таким пламенем, точно она еще находилась в обжигальной печи. Подходя к дому Гречкиной, Дуся Чимериска увидела за плетнем две черные лапши, как будто два коршунячих гнезда. Опершись на посохи, два старика стояли возле плетня и смотрели на новую крышу.

— Ну, слава богу, обновляемся.

— Железо, оно прочнее и красивше... А все ж таки и это добрая кровлюшка.

— Молодцеватая у нас атаманша, дай ей бог здоровье.

— Ты, куме Иван, не ее благодари, а того раненого командира... Бабы балакают, будто даже убивается тот командир за Дуняшей, а она на него и не смотрит.

— Эхе-хе-хе, молодчество... Не смотрит, не смотрит, а подконец и узреет...

Дуся послушала и торопливо отошла к соседнему дому. Там сбихались подводы. Слышался голос Сметанихи. А в небе уже светало. Блекли краски в саду и не красной, а коричневой сделалась черепица. Сметаниха подошла к Дусе и сказала:

— Дуняша, не могу я понять этого Тягнирядно. Зачем, скажи ты, завернул он свои подводы в мои дворы? Я так думаю, не иначе, поддобрется до меня... Хитрун.

С очередной партией подвод прискал в станицу Григорий Миронец. Он залез на крышу, велел Анюте Мальцевой отдохнуть и стал сам укладывать черепицу. Ему подавали с двух подвов, и он покрывал сразу два ряда. Когда крыша была готова, Миронец спустился на фронтоны и увидел Дусю.

— Проверь свою работу, — сказал он, как бы в чем-то оправдываясь.

— Ну и что же?

— Хорошо ложится... Между зубцами нет ни единой щелки.

Они смотрели на красневшую новыми

крышами Белую Мечеть. Теплый ветер доносил запах зреющих плодов. Над садами еще струился утренний холодок и с темнозеленого бархата листвы на черепицу свисали спелые яблоки...

IV

Вечером моросил дождь. Сметаниха натянула на голову капюшон из грубого брезента, подстегнула коня, и двухколесный шарабан мягко покатился по мокрой улице. У станичного совета она остановила коня и вошла в кабинет Дуси Чимериски.

— Дуняша! — сказала она весело. — Ну, слава богу, аккурат к дождю управились. Спасибо Тягнирядне. Хороший он человек. Так дело организовал, что все кругом гудело.

— Значит, помирились? — спросила Дуся, продолжая что-то писать. — Вот и хорошо.

— Да мой муж с ним давно дружит. — Сметаниха сняла капюшон и, поправляя сбившийся на глаза платок, сказала: — Видела я Григория... Невеселый. Собирается покидать Белую Мечеть.

— А что ж ему еще делать? — равнодушно проговорила Дуся. — У нас с ним и договор был — укроет последнюю крышу и уедет. Слово свое он сдержал. К тому же и завод теперь не наш. Нашлись старые хозяева.

Дуся Чимериска говорила так спокойно, как будто ей было все равно, уедет Григорий Миронец или останется в станице на всю жизнь. Глядя на свет лампы, она жмурилась задумчивые глаза, улыбалась, шутила, а в душе боялась: вдруг у нее нехватит сил бороться с собой, и она сама, не боясь ни молвы, ни разговоров, побегит к Григорию... Так бывает на Кубани в весеннее половодье. Долго крепится река, мчатся мутные вешние потоки, а потом перехлестнет вода через берега и разольется, затопит все на своем пути...

Больше всего Дуся боялась встречи с Григорием. В день его отъезда она нарочно занялась стиркой и думая, что Григорий не посмеет зайти к ней домой. Стирая белье, она не хотела думать о нем, но ей все слышалось, будто Григорий скрипнул калиткой и уже подходит к палисаднику. И часто она оставяла корыто с бельем и подходила к окну. Засыпанный листьями палисадник был пуст. Ветер принес сполы желтую кукурузную ботву и разбросал ее по всему двору. На игольчатых кустах крыжовника серебрилась, точно витки шелка, липкая паутина... Рано в этом году пришла в станицу осень. По улицам валялись арбузные корки, у ворот сидели, купаясь в пыли, гуси. Просторней стало в садах, и черепичные крыши точно сли-

лись с цветом пожелтевшей листвы... Калитка и в самом деле закрипела, точно кто-то переломил палку, и во двор вбежала Анята Мальцева.

— Дусенька, золотце мое! — кричала она, вбегая в комнату. — Ой, родненькая моя! Ты и не знаешь, какое у меня счастье... Петя, Петрусь мой живущенький. Был в партизанах... На, читай!

Дуся взяла письмо и, не отрываясь, долго смотрела на мелко исписанный лист.

— А как хорошо пишет, — сказала она, взглянув на повеселевшее лицо Аняты. — Какие слова ласковые. Видишь, Анята, и к тебе счастье вернулось.

— Спасибо, подружка, спасла ты меня от позора, — Анята с жаром обняла Дусю и, целуя ее в щеку, покраснела и смеялась от счастья: — ой, какая я была дура! Какая я была дура!

Они молча смотрели на письмо и думали каждая о своем.

— Ну, а ты Григория проводила уже? — спросила Анята.

— И не видела... Не заходил.

А Григорий Миронец не забыл проститься с Дусей Чимериской. В тот же день, подвечер, он вошел в ее хату за просто, как в свой дом. Снял с плеч дорожный мешок, положил его на лавку и сказал:

— Пришел попрощаться.

— Спасибо, что не забыл, — участливо ответила Дуся. — А я вот занялась домашним хозяйством. Садись, Гриша, отдохни. Может, парного молока попьешь?

— Не откажусь, — Григорий снял картуз, пригладил ладонью волосы и сел за стол.

Дуся вынула из печи кувшин. Горлышко его было заткнуто сухой, ярко-красной пенкой. Дуся прорвала корку пальцем и налила в стакан густое, пахнущее медом молоко. Григорий пил медленно, ощущая во рту приятную сладость. А перед ним стояла и загадочно улыбалась Дуся Чимериска.

— Не знаю, доведется ли мне еще пить такое молоко.

— Кушай на здоровье, — Дуся задумчиво посмотрела на Григория. — А в какую сторонушку думаешь ехать?

— Дорога у меня одна. Заеду в Днепрпетровск. Там у меня есть друг. А потом попрошусь опять в свою часть. Я теперь, видишь, каков?

Дуся посмотрела в окно и сказала:

— Уже и вечерет. Куда ты, на ночь глядя, пойдешь. Оставайся до утра.

— Поезд идет на рассвете, — сказал Григорий, ставя стакан. — Успеть бы. Пойдем, покажешь из станицы дорогу.

Дуся Чимериска накинула на плечи платок, на бегу поправила волосы, заглянула в зеркало, и они вышли из хаты. Пошли не улицей, а через огород, по сухой и цепкой тыквенной ботве. Сразу же за огородами начиналась выжженная солнцем равнина. Далеко-далеко в вечерних тенях обозначались контуры гор и темнели леса. От края и до края степь была усеяна стогами, скирдами, копнами. Кое-где еще курились белой пылью тока, и пламя над полянами одинокое гуденье молотилки. Проселочная дорога с глубокими, заросшими травой колеями лежала по скошенному полю. Начиная смеркаться. Скрылась из глаз станица и кругом, куда ни глянешь, густо чернели стога. Два стога, как две огромные папахи, стояли на дороге. Дуся остановилась возле них, выдернула сухую травинку и, кусая ее, сказала:

— Сколько ни провожай, а расставаться надо... Кончится война, приезжай, Гриша, к нам.

Вместо ответа Миронец спросил:

— Дуся! Евдокия Сергеевна, может, мне остаться? Скажи, остаться?

Туманилась даль. Над головами шумел ветер. Это полетели к плавням утки. Между стогами недавно скошенного сена стоял жаркий, сладковатый запах степи. Было так тихо, что отчетливо слышалось шуршанье мышей в сене.

— Нет, уходи... Не надо мне тебя, — тихо проговорила Дуся.

Григорий обнял ее, прижал к груди мягкие, соскучившиеся по мужской ласке плечи.

— Вот как! — сказал он. — А ведь любишь? Сознайся хоть на прощанье.

Дуся Чимериска гордо выпрямилась, хотела оттолкнуть Григория, но уже не могла этого сделать. Тело ее ослабло, руки отяжелели, и она только слабо подняла голову. Чувствуя пьянящий запах сена, она сама прижималась к Григорию и тихо говорила:

— Уходи, Гриша... Не мучь меня... Ради бога...

В полночь взошла луна. Осенняя свежесть легла на мокрую росу. Кутаясь в шаль, Дуся Чимериска взошла на курган и долго смотрела в ту сторону, куда ушел Григорий... А внизу, вдоль белой каемки реки, в голубом тумане лежала Белая Мечеть в своем ярком и непривычном наряде. Подул с востока ветер и вместе со сладким дыханием скошенных трав принес знакомый запах домашнего тепла. Дуся Чимериска вздохнула полной грудью, ласково посмотрела на таившие в садах черепичные крыши и, уже не оглядываясь, пошла в станицу.

ДАВИД-СТРОИТЕЛЬ

*Исторический роман**

КОНСТАНТИНЭ ГАМСАХУРДИА

★

21

«ДА НЕ ВОЗЛЮБИШИ НИКОГО!»

По всему дворцу разнесли стольники и факельщики весть о том, что царица Мариам подарила Дедисимеди алмазное ожерелье. Были возмущены сторонники Русудан, но никто не осмеливался рассказать ей об этом. Монах Козман был на седьмом небе от радости; долгополый обратился за помощью к Махаре, но тот отказался быть доносчиком.

Еще два дня терпел монах, а потом, дождавшись приезда игуменьи Туты из Сохастери, выложил ей, будто бы под секретом, все происшествие. И посоветовал: довести все до сведения царицы.

Тута поглядела в прищуренные глаза монаха и уловила искорки злорадного удовольствия в неприятном мерцании зеленватых зрачков. Сказала ему:

— Если тебе так приятно, сообщи сам. «То, что подлежит отсечению, да отсеется», — подумал монах. И в четверг, после вечернего пения псалмов, оставшись наедине с царицей, рассказал ей обо всем подробно.

Невозмутимо выслушала Русудан рассказ монаха. Потом побледнела и, как подкошенная, упала на ковер. Монах побежал за помощью, созвал прислужниц и привел врача. Всю ночь провела Русудан в молитве и в слезах, а на рассвете отрядила Козмана к Антонию, велела позвать его к себе.

Архиепископ с жадным любопытством следил за всем, что происходило во дворце, а когда Русудан возвестила ему о своем желании принять монашество, обрадовался, что без него обошлось щекотливое дело с разводом царицы. Притворился опечаленным, замигал редкими

ресницами, прочесал рукой жиденькую, неприятно рыжеватую бороду и почти равнодушно пробормотал:

— Да исполнится воля всевышнего, государыня, — и осенил царицу крестным знамением.

Это было в пятницу.

Глубоко огорчило решение Русудан ее сторонников. Царица Елена перестала бывать во дворце царя Леона. Плакала и молилась она ночи напролет. Взволновало это происшествие и царя Георгия.

В субботу утром царица Мариам собрала большую конную свиту, взяла с собою Давида, Нианиа, эристава Липарита, цхумского эристава, Гуарама бачисцихского, молодых эриставов, Дедисимеди и всех трех дочерей эристава Гуарама и отправилась с ними к Сатаплии — смотреть белых пчел.

Даже шороха не было слышно в опустевшем после их отъезда дворце. На лестницах сидели одетые в черные платья приближенные Русудан и проливали горькие слезы.

Не выдержал этого зрелища даже Махара — собрал рыбаков и отправился с неводом на Рион.

Когда Антоний и Тута, в сопровождении иноков и инокинь, вывели царицу Русудан из дворца, плачущая царица Елена прижала к сердцу бывшую невестку, поцеловала в глаза и тут же заявила, что не отпустит Русудан одну и поедет сопровождать ее в Сохастери.

Когда поезд приближался к какому-нибудь селу, звонили церковные колокола, сердобольные люди, склонив головы, встречали царицу на ее пути в монастырь. Старые женщины плакали.

В воскресенье непроглядный туман спустился с утра в ущелье Цкалшителы и только огромные ели высовывались мохнатыми верхушками из стоячего моря тумана.

На лестнице Сохастерийского мона-

* Продолжение. См. «Новый мир» №№ 10, 11—12, 1944 г.

стыря стояло десятка два женщин в черных платьях.

Дул неприятный ветер. Моросило.

У самого порога, на ковре сидела царица Елена; правую рукою она обнимала плечи Русудан, прижимала к себе убитую горем царицу, словно мать — тоскующую дочку. Искусственные локоны не украшали голову царицы Елены, седина виднелась из-под черной вуали, лицо царицы было опечалено. Русудан была бодрее, молитва минувшей ночи успокоила ее. Было видно, что она уже примирилась со своею участью.

— Лишь одну печаль уношу я с собою, государыня, и это — забота о Деметре, моем дитяти. Плохую матерью оказалась я, покинула дорогого первенца моего. Молю тебя, государыня, будь матерью царевича вместо меня. Душа моя скорбит о том, что я не могла взглянуть на него на прощанье, но больше нельзя было мне оставаться во дворце.

Так вполголоса говорила Русудан, и слезы лились из глаз царицы Елены.

— Я буду молиться господу за твоего сына, государыня, — продолжала Русудан, — он не виноват передо мною; было великой ошибкой моей, что не вступила я с самого начала на этот путь. Судьба разорвала мою семью, братья мои скитаются где-то в Киликии, — мне ли было искать счастья в этой жизни?

Опустила голову, стерла слезы черным покрывалом, еще крепче прижалась к груди Елены, беспомощно зашевелила жиластыми, восковыми руками и повторила:

— Я буду молиться за царя Давида, государыня, потому что не виноват он передо мною.

При упоминании о Давиде еще более растрогалась Елена.

— Умоляю тебя, Русудан, дочь моя, не поминай злом мою семью, молись богородице за юного царя.

Уже зазвонили в монастыре. Собрались инокини из келий. У порога положили монашеское облачение — рясу из власяницы, монашескую мантию, клобук и сандалии.

Из монастыря показалась Тута, приблизилась почтительно к Русудан, воздала ей почесть в последний раз. Высохшею длинною рукою взяла она за руку бывшую царицу и поставила ее, босую и простоволосую, на колени у самого порога монастырских дверей.

Началась литургия. Хор запел об «обители отчей». Две монахини подошли к Русудан, стали по бокам, подвели к алтарю, заставили преклонить колени.

Облаченный в омофор из виссона, вышел из алтаря католикос Евстратий, стал над Русудан и возгласил:

— Отверзи сердце твое, сестра Русу-

дан, и внемли гласу глаголящу: «Возьмите иго мое на себе и научитесь от мне, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обратите покой душам вашим».

Кадя фимиамом, католикос вернулся в алтарь, а к царице Русудан приблизилась игуменья монастыря Тута.

Начались обрядовые вопросы.

Тута, — Что пришла еси, сестра, припадая, к святому жертвеннику и святой дружине сей?

Русудан, — Желая отринуть суетный свет сей, честная мати.

Тута, — Не от некия ли нужды или насилия?

Русудан, — Нет, честная мати.

Тута, — Храниши ли себе саму в девстве и целомудрии и благословении?

Русудан, — Ей, богу содействующу, честная мати!

Теперь уже архиепископ кутаисский вышел из алтаря, стал над коленопреклоненною и возгласил строгим, гудящим басом:

— Буди во бдениях неленостива; во искушениях не печалуйся; в посте не расслабляйся. Возложив руку свою на рало¹, да не обратишься вспять, да не предпочтеши никого паче бога, ниже отца, ниже мать, ниже братию, ниже коего от своих, и да отвергнешися себе и да возьмешь крест свой. Да не возлюбиши никого!

Наброшенным на плечи покрывалом от власяницы закрыла лицо Русудан, ибо вспомнила царевича Деметра, которого покинула в этой жизни, поручив заботам отца, собиравшегося обзавестись новою семьею.

Чернобородый, растрепанный, долговзый священник вышел из алтаря, одетый в черную рясу, с белой епиграхилью на груди.

Приблизившись к коленопреклоненной Русудан, он прогудел грубым голосом:

— Возьми и возврати.

И возложил перед нею ножницы. Трижды брала их в дрожащую руку Русудан, трижды возвращала чернорясому духовнику. Священник нагнулся и отрезал у царицы накрест волосы на голове. Две монахини подошли к Русудан, подвязали сандалии к ее ногам, накрыли ей голову клобуком, тело облачили в грубую, монашескую одежду и накинули на нее оплечья.

— Да не возлюбиши никого! — раздавалось в ушах новопостриженной инокини.

В одном из темных углов церкви одетые в черное женщины молились, распростершись ниц на кирпичном полу. Одна из них плакала навзрыд.

Русудан узнала голос царицы Елены, но даже не посмотрела в ее сторону, ибо уже не дозволено было ей оглядываться

¹ Рало — плуг, соха.

назад, прислушиваться к стенаниям суетного мира.

Показалось ей: еще отдавался под сводами монастыря гневный голос:

«Да не возлюбиши никого!»

22

ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ АЛМАЗ

Уныние воцарилось во дворце после пострижения в монахицы царицы Русудан. Махара рассказал обо всем вернувшись из Сатаплии Давиду. И добавил: кормилица привезла из Осетии царевича Деметра.

Роптали сторонники Русудан: лишь на один день опоздала кормилица, не успели показать младенца матери перед отбытием ее в монастырь.

Потрясло Давида это известие. Разгневанное лицо царицы-матери встало перед его глазами, Давид решил всячески избегать встречи с нею в эти дни. Сказал Нианиа ехавшему рядом с ним:

— Завтра на рассвете уедем в Гегути. Пусть смотритель табунов держит наготове лошадей.

Было темно в дворцовых переходах. У открытой двери, что вела в женские покои, сидели два постельничьих монаха; завидев царя, вскочили они на ноги. Давид ускорил шаги, но все же заметил: в низком кресле сидела его мать с распущенными волосами, ласкала маленького царевича Деметра.

Не успел Давид снять доспехи в своих покоях, как вошел к нему начальник слуг.

Доложил, склонившись перед царем: просит к себе сына царица Елена.

Два-три хрустальных подсвечника со свечами освещали женские покои.

Завидев сына, встала царица Елена, подняла на руки младенца и шепнула ему вся в слезах:

— Поцелуй отца.

Давид ощутил на своей щеке прикосновение нежных детских ручек, взял младенца на руки, поцеловал его и вернул Елене.

— Бедная Русудан поручила царевича мне, — сказала царица — А теперь прошу тебя, во имя сыновней любви исполни два желания твоей несчастной матери.

— Что угодно тебе, матушка?

— Не отсылай в Осетию младенца. Отныне я заменяю ему мать.

Молчание царя Елена приняла за согласие, прижала младенца к груди и опустилась в кресло.

— А какое другое желание твое, матушка? — спросил почтительно Давид.

— Ты видишь сам, мой сын, какое тяжелое испытание постигло твоих роди-

телей. Отца твоего так потрясли события последних дней, что опечаленный слез он в постель. У меня в эти ночи поседела голова. Ты невинен в этом деле, — так сказала мне и несчастная Русудан.

Давид поглядел на непокрытую голову матери; в самом деле, она стала совершенно седою.

Царь молчал. Елена продолжала:

— Царица Мариам все запутала в нашей семье. Ты знаешь и сам — от века была домом распутства гинекеев византийских императриц. Развратницею была императрица Феодора; рассказывают, что имела она любовников среди конюхов цирка и ипподрома, приворотным зельем одурманивала красивых мужчин. На весь мир прогремели любовные похождения царицы Зои. Не менее постыдную жизнь вели императрицы Феофана и Евдокия, супруга кесаря Романа Диогена. Двух кесарей оставила в монастыре тетка твоя, царица Мариам, и теперь, говорят, из-за нее собирается развестись с Иринеей кесарь Алексей Комнен. Омрачила она чистоту моей непорочной семьи.

Неприятно было Давиду услышать имя царицы Мариам в числе женщин, известных своим распутством; не поднимая головы, спросил он:

— Так что же тебе угодно от меня, матушка?

— Ты уже не дитя, мой сын, скоро исполнится тебе двадцать лет. Я прошу тебя — не поддавайся чужим наветам. Никто не осмеливается сказать тебе, а между тем по всему дворцу разнеслись недостойные слухи.

— Какие же слухи?

— Говорят, что завел себе любовницу во дворце молодой царь.

У Давида вспыхнули щеки, но сдержал усилием воли свой гнев.

— Кого же подразумевают при этом, матушка?

Помолчав, встала с места царица Елена. Ответила почти шопотом:

— Дочь эристава Липарита, мой сын. Я не могу произнести ее имени.

— Простите меня, матушка, но она — не распутная женщина, а... моя невеста.

— Твоя невеста? — спросила царица Елена и вдруг в изнеможении опустилась в кресло.

Некоторое время она сидела, словно окаменев в молчании, потом ударила в ладоши. Вошли постельничьи монахи, царица приказала им отнести дитя к кормилице.

Черные бусы чоток снял со своей шеи один из них, дал в руки младенцу, и они унесли его.

Вновь поднялась царица Елена, нахмурилась брови, сказала Давиду:

— Если она — твоя невеста, то, вероятно, уже обручился ты с нею, а коли обручение произошло — то ведь, по пра-

вилу, не должен был ты оставлять в неведении меня и отца твоего — не так ли?

Никогда Давид не видел свою мать такою рассерженной.

— Обручения еще не было, матушка, но царица Мариам подарила на пиру алмазное ожерелье дочери эристава.

— А сколько было алмазов в том ожерелье, ты знаешь?

Удивился Давид: какое могло иметь значение число алмазов в ожерелье — но ответил простодушно:

— Тридцать три.

Елена поглядела в пол и сказала:

— Тридцать три... Но, говорят, один из них уже потерял дочь эристава. Перевернула весь дворец царица Мариам — и по сей час еще тщетно ищут повсюду этот алмаз.

Сказала и скрестила свой взор со взглядом Давида. Не выдержал он строгого взгляда Елены и опустил глаза.

— Ну что же, я доверю тебе тайну, а ты, смотри, никому об этом не проговоришь, ибо жаль незамужнюю дочь эристава, опозорится имя ее.

Давид с нетерпением глядел в глаза матери, гадал: что бы такое могла она сообщить ему после столь таинственных намеков.

— Я — мать этой семьи и должна следить за нравственностью в этом дворце. Распушенность куропалатиссы Мелиты оказалась заразительной. Весь свет знает об ее сатаплийских похождениях. Каждый день обещает мне Мариам отослать ее в Константинополь. Сначала говорила она, что отправит Мелиту с византийскими епископами, — но те уже отбыли, а куропалатисса все еще здесь. Теперь обещает Мариам отослать ее в Хупту с Григорием Бакуриани. А пока что Мелита продолжает свои поздние прогулки по фиговому саду с молодыми эриставами. В ту ночь доложила постельничьему монаху двоя Халаисдзе, будто заметила она под смоковницами одну из дочерей эриставов вместе с рыцарем в кольчуге. Я послала своего постельничьего монаха разузнать в чем дело: сама я была больна в ту ночь, а ты собирался, кажется, уезжать в Гегути. Не поверила я своим ушам, услышав доклад монаха: рыцаря постельничий не узнал, а женщина, как ты думаешь, кто была женщина?

Царица остановилась, а Давид нахмурился, стал мрачен.

— Дочь эристава Липарита, — воскликнула царица. — Во время ласк и объятий разорвалось ожерелье у дочери эристава, один из алмазов был найден монахом там же, на земле, поутру.

У царя покраснели уши при этом рассказе: тихо, не поднимая глаз, он спросил:

— А где же этот алмаз?

— У меня, — ответила царица, и по-

дойдя к стенному шкафу, достала оттуда драгоценный камень, протянула его царю:

— Узнаешь ли ты алмаз?

Давид порывался ответить, но смелость изменила ему, и он промолчал, а Елена продолжала:

— Теперь прошу тебя, мой сын, немедленно изгнать из дворца дочь эристава Липарита, а не то она и куропалатисса Мелита внесут позор в мой дом. Липарит и Ката возмущены. Я представила им показания постельничьего и этот алмаз. Рати подтвердил, что видел на рассвете во дворце Леона сестру свою, возвращавшуюся, с незнакомцем, но не сказал, кто был этот рыцарь.

Было нелегко Давиду открыть матери тайну этого незнакомца, но, увидев, что дело шло о чести Дедисимеди, он собрал всю свою смелость и, не поднимая глаз, сказал:

— Тогда я скажу тебе истину, матушка. Я был тот незнакомый рыцарь и это я разорвал алмазное ожерелье на шее дочери эристава Липарита.

У царицы-матери подкосились колени. Поцеловала сына в оба глаза Елена и сказала:

— Если это правда, то исполни последнюю мою просьбу. Обзаводиться второй женой, после того как первая жена приняла пострижение, запрещено канонами¹ всякому христианину, мой сын. Отложи свое обручение хотя бы на один год, об этом умоляет тебя твоя несчастная мать.

Давид согласился на просьбу матери, поцеловал ее в щеку и омраченный вышел из палаты.

23

СКВИТИА

В вежинской битве множество лошадей потерял царь Георгий. Давид принялся обновлять войска, почему и стал заводить аланских коней; дважды прислал их табунами по три тысячи голов Мартия Удзила, многоопытный знаток.

С третьим табуном приехал и сам Мартия. Привел он кобылицу необычайного сложения, половецкой породы. Трое молодцов ввели ее на веревке. Лошади дали имя Сквитиа. В Гегути попытался укротить ее главный конюший, надел на нее колючую узду, велел водить ее в двойном наморднике, томить жаждой. Наконец, решили оседлать лошадь, но, завидев седло, пришла в ярость кобылица, откусила ухо у конюха Хахи, встала на дыбы; пятеро молодцов пытались удержать ее на веревке — она раскидала их в сто-

¹ Номоканон — сборник церковных правил и постановлений.

роны и умчалась в лес. Галопом поскакали вдогонку за нею табунщики, преследовали целый день, но не могли настичь беглянку.

В страхе дрожал главный конюший; знал, как зеницу ока бережет лошадей Давид, и Махара непременно сообщит ему о потере Сквитиа. Умолил он Махара, чтобы тот не докладывал царю о бегстве кобылицы, пока табунщики не приведут ее обратно.

Царь, как только прибыл в Гегути, приказал раскинуть шатры в рионских прибрежных чащах. С ним приехали эриставы: Липарит Орбелиани, владетель Бечисцихе — Гуарам, Нианиа Бакуриани и Рати.

Махара все еще не мог простить сыну Липарита его отступническую помощь Ахсартану и Квирикке. Последнее время доходили до него слухи, будто Рати ропщет, недовольный; почему так медлит царь со своим обручением?

В присутствии постельничьих монахов, не чинясь, упрекал он Давида, говорил:

— Пусть обручится скорее с моею сестрою царь, никто не смеет позорить дочь Липарита Орбелиани.

Монахи не смели сообщить об этом Давиду, зато Махаре рассказывали они обо всем, не стесняясь, уверенные, что старик не способен умолчать.

Давид заметил и сам, что Махара последнее время не жаловал липаритова сына. Часто шутил по поводу неуклюжего сложения Рати, называя его «длинношеим», говорил, что его длинные ноги пригодятся для столбов виселицы.

Боялся Давид, как бы не оскорбил чем-нибудь гостя Махара, и потому отослал его в Гегути объезжать аланских коней. Когда же прибыл сам в Гегути, порешил отослать его обратно в Кутаиси.

Необъезженными оказались все аланские кони, выросшие в пустынных степях.

Дворцовые слуги привели пахарей, велили глубоко вспахать поле, потом стреножили лошадей, и всадники скакали на них по взрытой пашне. Заупрямившихся жеребцов нагружали камнями в переметных сумах; переводили с такими вьюками через Рион. Дивились триадетские азнауры подобному способу объезжать лошадей.

Царь Давид с эристами проводил ночи в шатрах, сам следил за ученьем войск и укрощением лошадей.

Так же, как на войне, ложился он спать, не снимая панцыря, на рассвете звуки рогов поднимали на ноги войско, и до самого захода солнца продолжалась джигитовка, скачки и метание копий.

Однажды Давид в сопровождении эриставов поехал по прибрежным рионским

рощам, чтобы отыскать подальше место для лагеря.

После обеда вернулись они в старый лагерь, и как только спешились, подошел к ним Мартиа Удзила.

— Приведи третий табун, — доложил он Нианиа Бакуриани.

В этом табуне оказались одни жеребцы.

Рати подходил к лошадям, у каждой приподнимал губу и осматривал зубы. Очутившись рядом с царем, он доложил Давиду:

— Хорошие кони у аланов, только жаль, что еще молодые.

— Молодость не порок для лошади, — вставил стоявший позади царя Махара. — Молодая лошадь пуглива, в сраженъе может испугать ее звук трубы, а то и просто шум битвы, — сказал Рати.

— Плохо ты знаешь лошадей, как вижу, эристав, — ответил Махара.

На лице Рати выразилось недовольство.

— Для войны не годятся ни жеребцы, ни мерины. Половцы никогда не берут в битву жеребцов, — продолжал Махара.

— Ого, — воскликнул Рати, — а почему так?

Махара оглядел царя и эристава и сказал:

— Кобыла отправляет свою потребность на полном скаку, а жеребец так же, как и мерин, должен остановиться, для того чтобы пролить мочу. В это время может догнать их неприятель. Так случилось со мною у Манцикерта. Последней стрелою сразил я сельджукского амира; поскакал за мною его конюший, что велярядом с ним запасного коня, долго гнался он за мною по полю — и вдруг остановился мой жеребец, и пока он мочился, приблизился турок и пронзил мне лопатку стрелою.

Но все же не согласился Рати со стариком — стоял на своем: жеребец лучше кобылицы и на войне и в состязании.

— Ладно, я сяду на кобылицу, а ты выбери себе любого жеребца, и посмотри! — подзадоривал юношу старик.

Рати взглянул с презрением на увядшие щеки Махара и расхохотался.

Старик покраснел, готов был ответить ядовитым словом, но рядом был царь, и смолчал скопец.

Рати тем временем занялся следующей лошадейю: осмотрел зубы, оглядел ее и сказал царю:

— А это скифский конь, государь; в этом табуне таких лошадей нет.

Махара обошел коня вокруг, осмотрел гриву, хвост и щетину над копытами, сказал Давиду:

— Из этого табуна убежала на днях половецкая кобыла. Три табунщика погнались за нею на отменных жеребцах

и не могли ее настичь, вот тут-то и обнаружилось, что кобыла быстроходней жеребца.

Мартия Удзила стоял за спиной царя. При упоминании о Сквитиа перепугался старик, упал на колени и, воздев руки, доложил:

— Не моя вина, государь, да минует меня твой гнев! Я по счету сдал все три табуна главному смотрителю и ничего не знаю, как вырвалась Сквитиа от табунщиков.

— Встань! — приказал ему Давид и сказал ласково: — А что за лошадь Сквитиа?

— Сквитиа отнял в битве аланский царь у вождя половцев. Так рассказывали мне, государь, осетины... Аланский царь подарил ее своему зятю, потом она попала к одному армянскому купцу, у которого я и купил ее, государь.

Давид позвал главного смотрителя табунов.

— Немедленно изловить коня, — приказал он.

Двух табунщиков, Кутару и Тату, посадили на крепконогой коней. Вместе с ними отрядили ловчего-арканщика Рухиа.

На другое утро отправились к новому лагерю царь с эриставами, по дороге встретили они табунщиков.

Двое молодых вели на веревке упирающуюся, стреноженную кобылу. Двойною уздою была взнуздана лошадь, и все же с трудом сдерживали ее конюхи.

— А где Кутара? — спросил главный смотритель табунов.

— Кутаре переломала ребра проклятая кобыла, и сейчас он лежит без сознания, — ответил ловчий Рухиа. — Всю ночь при луне преследовали мы беглянку. Наконец, настigli у болота; кое-как я накинul ей петлю на шею. Кутара подскочил к ней первым, она повернулась к нему задом, государь, и ударила его обоими копытами.

Увидав лошадей царя и эриставов, громко заржала Сквитиа.

— Быть может нужно ее покрыть? — спросил Липарит.

— И это пробовали мы сделать, великий эристав, да только изувечила она породистых жеребцов, окайнная.

Спешились Давид, Липарит, Рати и Махара, окружили лошадь, рассматривали ее с любопытством.

Липарит взгляделся в ее правое бедро и обратился к Рати:

— Зрение изменяет мне, посмотри-ка, аланское на ней тавро или половецкое? Рати подошел к лошади, затеяя глаза рукою, и сказал:

— Полумесяцем мечена она — это, кажется мне, половецкое тавро, отец.

Хотел поглядеть ее сын Липарита, но вскинула крупом кобыла. Рати отступил, воскликнув:

— Да это не лошадь, а степной волк!
— И впрямь, дика, как скиф, — сказал Нианиа Бакуриани.

Маленькая голова была у Сквитиа, длинные ноги, широкие копыта и округлая холка, бабки узкие, тонкие, так что всякий давался диву: как такое большое тело могло держаться на столь тонких ногах. Над самыми копытами, с задней стороны, на всех четырех ногах отросла щетина, изогнутая, словно когти хищника. Издали казалось, что на ногах у нее отросли серпы. Матью она была каурая, лишь на холке виднелась темная полоса, шириною с пивявку. Хвост и грива черные, но по краям они казались желтыми, столько колочек запуталось в них после бега в кустарниках и зарослях.

Когда лошадь поднимала свою изящную, умную голову, эта спутанная грива с колочками вздымалась над изогнутой, как натянутый лук, шеей, похожая на шероховатые крылья каменных львов, изображенных на вратах багратова храма.

— Развяжите ей ноги, — приказал царь смотрителю табунщиков.

С лошади сняли путы.

— Любопытно, сколько ей лет? — спросил Нианиа Бакуриани.

— Посмотрим ее зубы, — сказал Липарит и бросил Рухиа повод своего коня.

Но только шагнул эристав к Сквитиа, как поднялась на дыбы лошадь, едва не затоптала Липарита.

Отступил назад смущенный эристав.

— И не таких еще случилось мне укротать, — похвалился Рати, подошел к Сквитиа, твердою рукою схватил узду, а другою потянулся к верхней губе лошади, но оказалась проворнее кобыла, разорвала ему парчевый рукав.

Рати рассвирепел, намотал на руку поводья, потянул их к себе; Сквитиа заржала, протащила за собою Рати.

Давид подошел к гостю, взял его за локоть, просил оставить затею — как бы не повредила его дикая лошадь.

Из круга эриставов вышел Махара, протянул коню ладонь.

— Тф, тф, тф.. — пробормотал он и смело приблизился к разъяренному животному. Сквитиа устоялась в протянутую к ней ладонь, потянулась вперед, но прежде чем успела прикоснуться к руке Махары, тот ухватил ее за нижнюю губу, а другою рукою зажал ей ноздри и крикнул:

— Седло, скорее!

Прибежал с седлом Мартия Удзила. Долго мучились оба, пока наконец удалось подтянуть подпруги.

Махара укоротил узду, провел кобылицу несколько шагов и взглянул злы-

ми, смеющимися глазами на Рати, стоявшего между царем и эриставом Липаритом.

— А ну, кто храбрец, садись на эту лошадку!

Замечил Давид: покраснели уши у Рати, минуту он колебался, но самолюбие победило страх, и он выступил вперед.

Испугался царь — как бы не повредила гостя дикая лошадь. Приказать рыцарю или попросить его не садиться на кобылицу? Но мог оскорбиться такою просьбою взыскливый сын Липарита. А потому, опередив Рати, царь первым подошел к Сквитиа.

— Я сам сяду на эту лошады!

Махара не ждал такого оборота и побледнел от неожиданности. Для надменного Рати готовилось это испытание, а теперь, когда царь протянул руку к узде, Махара резко дернул в сторону лошады и встал между Давидом и кобылицей.

Но царь был настойчив. Махара перепугался, не втравить бы в беду молодого царя, и собрался сам сесть на лошады.

Давид опасался в свою очередь: как бы не убила Махару кобылица, вырвал повод из рук старика и быстро вскочил в седло. Все это произошло так молниеносно, что никто из эриставов не успел вмешаться.

Давид с места осадил кобылицу и крикнул на нее громовым голосом. Сквитиа заржала, вытянула шею и, словно вихрь, рванулась вперед.

Эриставы видели, как упорно боролся всадник с лошады; Сквитиа стремилась свернуть на вспаханное поле, Давид твердой рукой удерживал ее на проезжей дороге.

— В седла! — крикнул эриставам Липарит Орбелиани и сам вскочил на подаренного Малик-шахом мерина.

Мартиа Удзила, Тата и Рухиа также погнались своих молодых жеребцов в ту сторону, куда с такой быстротой умчала царя Давида половецкая кобылица.

Последние силы собрал Махара и во весь опор пустил царского жеребца Куджая. Вспомнился скопцу курчавый арап: «Грозит Давиду опасность от коня и женщины».

Доскакав до перепутья, остановил своего мерина Липарит.

Решили разбиться на отряды и продолжать поиски царя по отдельности. Но еще не успели они разъехаться, как Нианиа закричал:

— Царь едет!

На пригорке показался всадник, спускавшийся по склону.

Улыбнулся испуганным эриставам царь, похвалил половецкую кобылицу.

— Нескоро удалось мне с ней справиться. До самого перекрестка она несла меня так, что я не мог согнуть ей шею. Наконец, скача в гору, она утомилась, и, кое-как овладев ею, я легко повернул ее обратно, — говорил он своей свите. — Долго не знала всадника, потому и испортилась лошады.

Когда вернулись в лагерь, захотел испытать кобылицу и Рати, упрямо настаивая на своем желании.

Как только приблизился Рати к кобылице, опять разъярилась Сквитиа, засверкала глазами так грозно, словно дьявол вселился в нее.

Ловчий Рухиа пришел на помощь сыну эристава, подал ему стремя, когда тот садился в седло. Едва успел Рати собрать в руке поводья, как быстро умчала его Сквитиа. Своими богатырскими руками Рати согнул шею вспененной лошады; перебирая ногами вбок, сошла Сквитиа с проезжей дороги и внезапно встала на дыбы. Крепко держался в седле и не выпускал из рук поводьев Рати, но задняя нога вздыбленной лошады попала в борозду, всадник не мог удержаться и вылетел из седла.

Пока царь с эристами, торопясь на помощь, успели пустить лошадей по перепаханному полю, Сквитиа поднялась, дрожа словно в лихорадке, разорвала узду и пустилась вскачь по направлению к лесу.

Рати отделалась дешево: лишь растянул подвернувшуюся правую ногу да ушиб левую руку возле локтя. Два дня лежал он в Гегутском дворце, потом перевезли его в Кутаисский замок.

★

Не стесняясь, во всеулышание насмеялся Махара над сыном Липарита — бранил, мол, кобылу, а вот, пооди ж ты, как отделала Сквитиа триалетского рыцаря!

Заспорил с ним Цихелидзе, говорил: по всему Триалети славится Рати как наездник.

— Не знаю, как в Триалети, а в наших краях никто не слышал об его искусстве, — злорадствовал Махара. — Хорошего ездока узнают на дикой лошады, а на обьезженной удержится и переметная сума.

Хотелось царю Давиду сопровождать раненого гостя в Кутаиси, но в тот самый день приехал в Гегути Вешаг, эристав сванский, которого склонил к дружбе с царем первый вазир еще в июле месяце.

Богатые дары привезли сваны новопомазанному царю.

Давид встретил гостей милостиво и принял от них клятву в «верности нерушимой», не знающей «хотя» и «если».

РЕВНОСТЬ СЫНА ЛИПАРИТА

Целую неделю не покидал постели Рати. Ката и Дедисимеди проводили бессонные ночи у его ложа, наконец, слегла и Ката. Дедисимеди занялась матерью, а бдение у одра Рати принял на себя монах Козман. Когда монаху уже не о чем было рассказывать, он подробно изложил историю тридцать третьего адама.

В субботу вечером Липарит прислал Цихелидзе справиться о здоровье сына. Сплетничать любил Цихелидзе, не мог удержаться, передал шутку Махары сыну эристава, Рати пришло в ярость. Зарывшись лицом в подушки, проклинал он царицу Мариам, именовал ее сводней, обзывал грубыми прозвищами Дедисимеди, попрекал царя Давида, кричал, что опозорили его семью в «развратном дворце Багратионов».

— Хотели убить меня в Гегути, посадили нарочно на необъезженную лошадь, для того и кобылу привели, слыханое ли дело — скакать по пахоте! И этого сумасшедшего Махару, видно, подговаривали заранее, потому и побледнел он, когда царь сам захотел сесть на лошадь вместо меня!

Когда стемнело, еще сильнее разболелась ушибленная нога, поднялся жар, начался бред у Рати.

Струсил монах Козман, заставил за полночь привести лекаря Карсанисдзе. Горячие припарки из лечебной травы положили больному на коленную чашку.

Охватив обеими руками колено, Рати скрежетал зубами, как зверь, ворочался и бредил:

— Ой, клянусь богом матери моей, лучше было мне остаться в Руставской крепости, встретить в воротах входящего царя и изрубить в куски это исчадие ежидны!

Выл как зверь и грыз себе запястья Рати.

— Спой мне ирмос, — крикнул он монаху Козману.

Монах исполнил его желание.

С трудом удалось больному задремать.

На другой день, на рассвете, пожелал Рати встать с постели.

Встретился Карсанисдзе, лекарь.

— Замолчи! — крикнул Рати врачу.

Приказал монаху Козману узнать, вернулась ли из Бедиа царица Мариам.

Козман пришел с ответом: еще не возвратилась из Бедиа царица Мариам.

— Скатертью дорога в самую преисподнюю, — пробормотал Рати и встал с постели. — Отведи меня сейчас же к матери, — приказал Рати монаху и, опершись на его плечо правой рукой, при-

храмывая, пошел в опочивальню супруги Липарита.

В покоях Каты еще горели свечи в канделябрах.

Рати, как вошел, отпустил постельничьих девушек.

— Что случилось, мой сын? — спросила Ката, встревоженно протирая глаза.

Рати сел у ее изголовья и сказала разъяренно:

— До каких пор мы будем торчать в этом развратном дворце, матушка?

Изумилась Ката:

— То-есть, как до каких пор? Царица Мариам говорит, что обручение состоится в праздник святого Георгия. Не можем же мы уехать раньше, увести в Триалети девушку необрученной?

— Ничего не знает твоя Мариам.

Ката приподнялась, оперлась локтем о подушку и спросила разгневанного сына:

— А когда же, по-твоему?

Рати бросил взгляд на притулившегося тут же Козмана.

— Царица Елена сказала архиепископу Антонию, будто она добилась от царя Давида согласия отложить обручение на год. Кроме того, — сказал Рати, — по словам козлонного епископа, номоканон не дозволяет царю обручиться ранее, как через год.

— Номоканон не позволяет царю обручиться?! — воскликнула Ката. Она схватила сына за руку и сказала: — Напрасно, мой сын, тревожишься раньше времени. Завтра вернется царица Мариам, и все станет ясно.

— Много еще неприятного узнал я вчера, — продолжал Рати и окинул взглядом палату: не подслушивает ли кто-нибудь позади поставца, стоявшего в углу комнаты.

— Достаточно и того, что ты уже рассказал.

— Прикажи позвать сюда Дедисимеди.

— Она здесь рядом.

Рати встал, снова оперся на плечо Козмана и пошел, ковыляя, искать Дедисимеди.

Когда они обошли поставец, монах обомлел от неожиданности.

Сиреневый платок был накинут на плечи Дедисимеди, руки ее были сложены на коленях, сидела она на низеньком инкрустированном перламутром диване, опустив голову, читая раскрытую на коленях книгу псалмов.

Заслышав шаги, вздрогнула Дедисимеди, платок соскользнул с ее плеч, странное сияние бросилось в глаза монаху: был расстегнут лиф у Дедисимеди, и на мгновение блеснула опьяняюще-пленительная белизна ее груди. Алмазное ожерелье лучилось под мерцающим светом теплившихся в нишах свечей. Ноги девушки были так же выхолены, как и

ее руки. Розовым отсвечивало ее точечное тело.

Рати подошел к сестре и крикнул:

— Иди-ка сюда на свет, девчонка!

— Подожди немного — я молюсь; кроме того, не видишь разве, я еще не одета, — ответила девушка и быстро натянула платок на ноги, но обнаженные колени ее все еще волновали монаха.

— Одевайся скорее, а помолиться успеешь и после, когда запрут тебя в монастырь! — пробормотал разгневанный Рати.

Дедисимеди надела платье из лазоревой ткани, снова присела на ложе и продолжала молиться. Рати вернулся, схватил ее за руку. Заупрямилась Дедисимеди, но Рати был настойчив, поднял девушку с места — псалтирь упал на пол.

Разгневанный брат поставил Дедисимеди перед постелью Каты, схватил алмазное ожерелье, висевшее на ее шее, поднес его к самому ее подбородку.

— Сколько было алмазов в этом ожерелье, девчонка?

Дедисимеди смутилась, стояла молча, с опущенной головой.

— Говори! — заорал Рати и сильно встряхнул девушку.

Побледнела девушка, рванулась, пытаясь освободить плечо из цепких рук брата, и сказала:

— Мне пора к заутрене, я спешу,пусти меня...

Лазоревый шелковый рукав разорвался выше локтя, и вновь бросилась в глаза монаху Козману соблазнительная белизна обнаженной руки. Рубиновые пятна проступили на ее коже, оставленные грубыми пальцами Рати.

Боль пронзила колено Рати, лицо его искажилось, рука опустилась до запястья Дедисимеди и, выворачивая сестре кисть, он крикнул еще раз:

— Говори!

— Тридцать три, — прошептали губы Дедисимеди (на сдвоенные лепестки гранатовых цветов были похожи они в этот миг).

От злости Рати забыл про боль в колене, выпустил плечо Козмана, пересчитал указательным пальцем алмазы, поднес ожерелье к самому лицу Дедисимеди и сказал:

— А здесь их только тридцать два!

— Тридцать два, — подтвердила девушка.

— А где же тридцать третий?

— Я потеряла его под смоконницами, — робко ответила Дедисимеди.

— А что ты делала там, девчонка, и кто разорвал тебе ожерелье? Говори!

Словно осиновый лист зарепетала Дедисимеди.

— Не брани ее, Рати, тридцать третий алмаз прислала мне вчера царица Еле-

на. Дедисимеди уже порядком досталось за это от меня, — сказала Ката и хотела встать, прийти на помощь дочери, но не смогла, потому что одежда лежала далеко, и было ей стыдно монаха.

Рати не обратил внимания на слова матери. Яростно продолжал он кричать:

— Говори!

На шум в опочивальню прибежали Лела, старшая среди придворных дам княжна Шервашидзе и престарелый начальник слуг Арешидзе.

Шервашидзе была сторонницей Русудан. Радость охватила ее, когда увидела она разорванное платье Дедисимеди, но она сдержала себя и, взяв сына Липарита за локоть, сказала спокойно:

— Ну, можно ли так себя вести, господин мой эристав? Не забывают все же, что вы — в гостях во дворце Багратионов!

Но Рати все кричал, разъяренный:

— Говори, кто?

Дедисимеди подняла голову, поправила волосы на лбу и отчеканила гордо:

— Будущий супруг мой, наш повелитель!

— Наш повелитель! — заорал окончательно расвирепевший Рати.

Но тут вмешалась княжна Шервашидзе, вцепилась в Рати своими худыми руками, на помощь к ней пришли и Козман с начальником слуг — с трудом увели они из опочивальни разгневанного Рати.

25

РИСТАЛИЩЕ

Когда царица Мариам вернулась из Бедиа, обо всем рассказали ей придворные дамы. Пришел к ней Рати и заявил, что он немедленно уезжает вместе с матерью и сестрой в Триалети.

Видела Мариам, что налаженное ею дело снова запутали сторонники Русудан и дворцовые сплетники.

Липарит был в лагере вместе с царем. Отъезд его семейства в такое время неминуемо обострил бы отношения между домами Багратионов и Орбелиани.

Ката сначала вторила Рати, но царица Мариам уговорила ее, и в конце концов одумалась супруга Липарита, стала удерживать сына, убеждала его, что немедленный отъезд лишь обрадует сторонников Русудан.

Сплетники передали Кате и слова Шервашидзе:

— Пусть только уберется из дворца липаритова семейка, а там увидим. Сохастери не так уж далеко, и византийские императрицы не раз сбрасывали монашеское платье, чтобы вновь облачиться в царственный пурпур.

Наконец и Рати понял, какая грозила

им опасность. Понял он также, что номоканон и в самом деле сковывал права императоров и царей. Семья Орбелиани решила остаться во дворце до дня святого Георгия.

Наконец вернулся царь со своей свитой.

На другое утро долго ждала Мариам, чтобы начальник слуг объявил ей пробуждение царя. Лишь после полудня сообщила царице: государь устал от бессонных ночей и слегка простужен после переправы через Рион, а потому не может пожаловать к ней сегодня.

Тогда царица Мариам сама отправилась во дворец Багратионов.

Царь Давид лежал одетый на ложе. Молодые эриставы окружали его, Шергил и Нианиа сидели у изголовья.

Увидев царицу Мариам, все вскочили и прервали беседу. Царица расцеловала племянника, села в кресло и попросила присутствующих продолжать разговор.

— Мы беседовали о смерти кахетинского царя Ахсартана, — сказал Давид, — из Кахети нынешним утром прибыл скороход, рассказал, что делается в их земле. Страшная кончина выпала на долю вероотступника Ахсартана. В ночь накануне своей смерти он сошел с ума.

— Значит, на престоле теперь Квирике? — спросила Мариам.

— Еще с прошлого года, — ответил Давид.

— Не собирается ли и он принять ислам?

— Не думаю, — ответил царь, — Квирике истинный христианин, но племянник его Ахсартан Второй — легкомысленный человек. Нам придется, вероятно, приняться за него. Оказывается, Ахсартан и Квирике приступили к эриставу зедазенскому Дзагану, подговаривают его изменить грузинскому престолу.

— Сельджуки соблазняют, вероятно, троих, — заметил Шергил Липартиани.

— Лазутчиками Низам аль-Мулькакишит Кахети, — продолжал вполголоса Давид, — знаю я, что в западной части безнаказанно снуют они по всей кахетинской земле. Один пустынный рассказ мне, как подстрекают лазутчики эристава Дзагана: царь Давид, мол, отправился в Имерети развлекаться охотой, а ты воспользуйся случаем, вторгнись во Внутреннюю Карталинию!

— Ничего, дайте только окончить войсковые учения, я выгоню сельджуков с кахетинской земли. Как бы не пришлось Квирике расстаться с престолом, а Ахсартану Второму — и с собственной головой.

— Какие вести из Исфагани? — спросила Мариам.

— В Исфагани, как видно, начинается смута. С Низамом аль-Мульком, вазиром Малик-шаха, борется Тюркан-Хатун, Ами-

ры стали на сторону Беркиарока, сам Малик-шах уже стар, Солейман колеблется, не знает к кому пристать — к Тюркан-Хатун или к великому вазиру. Посмотрим, что принесет нам будущее, — сказал царь Давид.

После непродолжительного молчания, Мариам сказала царю вполголоса:

— Хочу сказать тебе кое-что.

Эриставы покинули палату. Заметил Давид, что тень недовольства омрачила лицо Мариам, и приготовился услышать неприятное известие.

— Мне хочется позабавиться зрелищем всадников, играющих в мяч: устрой грища в день святого Георгия! — попросила царя Мариам.

Давид удивился, улыбнулся тетке и взглянул ей в глаза.

Игра в мяч на конях была очень распространена при дворе византийских императоров и грузинских царей. И Давид устраивал часто эту забаву, но теперь, усталому от долгой езды в седле, хотелось ему отдохнуть денка два-три, чтобы отправиться с эриставом джумским в Абхазию — восстанавливать крепости. И все же не мог он отказать обожаемой тетке, только спросил:

— Отчего же так захотелось тебе увидеть игру в мяч, государыня?

Царица, перебирая гишеровые четки, ответила:

— Тысяча сплетен ходит по дворцу после событий прошлой недели. В ту ночь старалась я как могла развлекать беседою Катю, Рати и Липарита, — но уж очень вы задержались с Дедисимеди в саду, и Рати увидел, как вы возвращались.

Юноша стыдливо отвел глаза в сторону, а Мариам продолжала все так же утихо:

— Ты знаешь сам, как сварлива супруга эристава и как вспыльчив Рати. Дедисимеди пришлось выдержать неприятный разговор. А сторонники Русудан не унимаются, пустили слухи — будто ты отказал от дворца молодому Орбелиани. Кто может унять сплетников при царском дворе? Как вижу, и наши придворные заразились болезнью дворцов Магнавра и Букколеона. С юности отравляла мне все радости жизни дворцовые сплетни. Поверь мне, своей тетке: христианский мир в опасности; видишь, сельджуки тянутся уже к Внутренней Карталинии, из Византии тоже приходят дурные вести. В такое время я не советовала бы тебе сориться с домом Багуаш-Орбелиани. Мне удалось убедить Катю и Рати, что номоканон обязательен даже для кесарей. Прошу тебя: прежде чем отправиться в Абхазию, устрой игру в мяч, чтобы народ мог увидеть тебя на состязании вместе с Рати.

Западнее Кутаисского замка расстилось большое поле для войскового учения. Называли его липняком, потому что с незапамятных времен росли там огромные липы.

Под сенью этих лип поставили византийский шатер.

Дворцовые дамы и эриставские жены и дочери окружали царицу Мариам и Дедисимеди, сидевших в покрытых парчово креслах, поставленных на возвышении, под балдакином.

Царь Георгий, Григорий Бакуриани, эристав Липарит и даже Георгий Чкондидели, обычно избегавший увеселительных сборищ, были тут же, сколо царицы Мариам.

Ржание сытых коней доносилось с поля.

Восточные ворота защищал Давид, сидевший на половецкой кобылице. Стронниками своими царь выбрал сванского эристава Вешага — уже седеющего богатыря, Нианиа Бакуриани, Джоджики — сына цхумского эристава, Шергила Липартиани, Папуно — сына эристава Гуарамы, сванского азнаура Каримана Сетисли и Бешкена Джакела.

Перед западными воротами стояли в конном строю: Рати Орбелиани, триалетские азнауры — Иа Цихелисдзе, Мамиствала Махароблисдзе, Эдишер Гараканисдзе, дядя Рати по матери азнаур Дукисдзе и Гарибайсдзе, начальник крепости.

На середину поля выехал Липарит Орбелиани и высоко подбросил мяч.

Двинулись всадники с востока и с запада. Изловчился Махароблисдзе, поймал мяч на полном скаку, взмахнул клюшкой и бросил его триалетцам.

Поспятились за триалетцами эриставы, но Рати на своей кобыле стальной масти с такою быстротой вел мяч, что не мог настичь его и сам Шергил Липартиани, великий мастер верховой езды.

Когда забили мяч в восточные ворота, громкий ропот прокатился по толпе зрителей.

Снова повели мяч триалетцы, и опять Рати предводительствовал нападающими. Если эриставы отнимали мяч у кого-нибудь из триалетцев, тотчас догонял их Рати на своем крешконогом скакуне; клюшкой владел он ловко.

Но внезапно перерезал ему дорогу Джоджики на своей малорослой абхазской кобылке и выхватил мяч у Рати; бросился на мяч Махароблисдзе, отклонил удар, но протягнув свою длинную руку сванский эристав Вешаг, подставил ладню под высоко летевший мяч и одним ударом вогнал его в западные ворота.

Дважды подряд атаковали триалетцы восточные ворота, подводили мяч совсем близко к цели, но оба раза отнимал его у них Джоджики.

Разъярился Рати Орбелиани, снова оставил позади себя эриставов, но едва он приблизился на сто шагов к восточным воротам, как догнал его быстрее ветра летевший Нианиа, лошади их столкнулись, удар Рати не попал в цель — Нианиа успел передать мяч царю Давиду.

Царь оторвался с мячом от триалетцев, прищпорил Сквитиа, и триалетцы пустились за ним вскачь. Наконец, догнали Давида Иа Цихелисдзе и Махароблисдзе, но, очутившись лицом к лицу с царем, не посмели отнять у него мяч.

Загумели зрители, увидев юношу-царя; радостными кличками приветствовал его народ. Сквитиа испугалась, бросилась вбок, и Давид ударил неверно — псуел мяч не в ту сторону.

Тем временем изловчился Рати, перерезал дорогу царю.

Высоко в воздухе летел брошенный царем мяч; поднялся в стременах на скачущей лошади Рати, изо всей силы замахнулся клюшкой, но рукоятка выскользнула из его рук, клюшка полетела и с размаху ударилась в луку царского седла, сделанную из слоновой кости. В толпе зрителей поднялся шум, раздался свистки и насмешки над Рати. У Рати вспыхнули уши, он подскакал к царю, спешился и попросил прощения.

Давид остановил лошадь, выпустил повод из левой руки и улыбулся насильственно, чтобы успокоить гостя.

И в то же мгновение заметил Давид, что какой-то незнакомый всадник пересек поле на полном скаку. Подъехав к византийскому шатру, всадник остановился, снял шлем и подал свиток вышедшему из шатра начальнику слуг.

Стоявший около царя Нианиа сказал ему вполголоса:

— Кажется, что прибыл гонец, государь.

И такое встревоженное лицо было у Нианиа Бакуриани, что Давид покинул составление и направился к шатру.

Раньше, чем царь и Нианиа успели пересечь поле, вышел из шатра Георгий Чкондидели и затенил глаза ладонью. Начальник слуг спешил навстречу Давиду.

Царь и Нианиа прищпорили коней.

— Царь царей Георгий просит царя пожаловать к нему, — доложил начальник слуг.

Когда выскользнувшая из рук Рати ладня ударилась в луку царского седла, из всех, кто находился в шатре, одна Дедисимеди заметила это и, громко вскрикнув, упала в обморок.

Недоумевали присутствующие — в чем причина тревоги дочери эристава.

Услышав шаги входившего в шатер царя, Дедисимеди очнулась, открыла гла-

за и вгляделась в левую руку Давида. Кровь сочилась каплями из посиневшей кисти.

Обманулась в своих надеждах царица Мариама. Пуще прежнего заволновались сплетники, пошли новые кривотолки и пересуды.

Роптал народ: сын эристава Липарита дошел в своей дерзости до того, что кинул клошшкой в царя.

26

ФАЛАШСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ

По возвращении во дворец первый вазир прочел свиток обоим царям и Совету старейшин.

«Квирике IV, царь кахетинский, — гласил свиток, — перешел Куру возле Мцхеты. К нему пристали эристав зедазенский Дзаган и брат его Модистос.

Дзаган наложил руку на владения Светицховели, Цицкани и Шиомгвиме, заключил в темницы всех, кто остался верен царю, обратил в крепость Шиомгвимский монастырь и поставил в нем свои войска.

Не спрашиваясь карталинского католика, составившие рукоположили в епископы Модистоса, но этим не ограничился Квирике — оказалось, что кахетинцы и сельджуки готовятся к осаде Мухранской крепости».

Обо всем этом извещал Кавтар Барамидзе, который, бежав из Кахети, укрылся в замке Муцо.

— Неожиданного здесь нет ничего, — молвил первый вазир, — Квирике, хотя и православный христианин, вынужден идти по тому же пути, по какому шел Ахсартан: слишком крепко засели сельджуки в крепостях Кахети. Мы и раньше знали, что сильное войско ввел к нам Баркиарок через границу Армении — и поныне пасут сельджуки в кахетинских злагах¹ свои отары. Не смогли они обратить в ислам триалетское эриставство — муаллы были изгнаны отовсюду народом, и вот теперь сельджуки тянутся ко Внутренней Карталинии.

Когда Чкондидели назвал триалетское эриставство, Липарит приподнял бровь и досадливо заворочался в золотокованном кресле.

— Придет время, когда цари Грузии с божьей помощью воздадут по заслугам царю Квирике и эриставу Дзагану, — продолжал Чкондидели спокойно, — есть у нас достоверные сведения, что лазутчики сельджуков подстрекают кахетинцев против царей грузинских; но велика справедливость создателя — уже начинается смута при Исфаганском дворе;

Низам аль-Мульк, первый вазир Маликшаха, препоручил владения султана своим несовершеннолетним сыновьям; Тюркан-Хатун, супруга султана, пришла в ярость, велела передать Низаму аль-Мульку: «Скоро я одерну с твоей головы чаamu».

«Моя чалма и твой султанский тюрбан неразрывно связаны друг с другом», — ответил вазир.

— Господь милостив, он воздаст сторицей исфаганским правителям за невинную кровь христиан — грузин, армян и греков. Мы должны ударить на сельджуков, улучив такую минуту, чтобы жертвы, которые понесет грузинское царство, были возможно малыми. Тогда, вероятно, слетят одновременно и султанский тюрбан и чалма вазира.

Чкондидели опустился в кресло. Молчали почтенные эриставы и епископы.

Антоний кутаисский шепнул епископу мровийскому, чтобы он как старейший из всех взял слово первым. Архиепископ приготовился встать, но от волнения начался у него кашель. Он долго кашлял и, наконец, умолк.

Бешкен Джакели встал с кресла:

— Коли старшие молчат, да будет позволено молодым высказать свое мнение. Когда Ахсартан Кахетинский отнял замки у Аришиани и Барамидзе, верных грузинскому престолу, у нас нехватало сил отомстить ему, ибо кахетинцы опирались на помощь сельджуков. Ныне тянутся Квирике и Дзаган к Внутренней Карталинии: от Мухрани не так уже далеко до Уплисцихе, а там доберутся они и до Цагвлистави, сокрушат твердоию Тасискари и вторгнутся в Самцхе.

Бешкен Джакели требовал, чтобы немедленно были посланы войска — наказать царя Квирике и эристава Дзагана.

Встал Гуарам, владетель Бечисцихе, он признал, что одними своими силами не справиться с кахетинцами и сельджуками. Взглянув на обоих царей, он сказал:

— Если будет на то воля царей, отправим послов к императору Алексею Комнени; в Константинополе много приезжих франков, варягов и болгар. Заручимся ими для пополнения наемного войска. А не выйдет, так поступим по слову царя Давида: отрядим послов в Шараган, к Атрахе Шарагановичу.

Эристав Липарит обрадовался, что Гуарам Бечисцихский отвел внимание старейшин от расправы над эриставом Дзаганом, заговорив о посольстве в Византию, к кесарю Алексею.

Красноречиво говорил Липарит — ибо даром слова владел он не хуже, нежели своим многократно испытанным мечом. Главное оставил он в стороне — о царе Квирике и эриставе Дзагане не гу-

¹ Э ла ги — места для пастбищ.

мянул вовсе. Зато порицал обоих Ахсартанов, недобрым словом помянул всех таящих в душе измену и всех врагов престола. Поддержал мнение эристава Гуарамы, согласился, что необходимо послать доверенных ко двору императора, владык хвалу кесарю Алексею Комнениу, вспомнил своего деда, Липарита Третьего, сказав:

— Вот кто был истинною прозою сельджукского отродия...

Что же до приглашения половцев для пополнения наемного войска, — то половцы не пригодятся грузинскому царю.

И хотя ни слова не проронил еще царь Давид, но все знали и так, что именно он хотел пригласить половцев и ему-то втайне противоречил эристав Липарит.

— Ни доблести, ни веры нет у половцев, — продолжал Орбелиани, — потому ни клятвой нельзя удержать их, ни рыцарским словом. Нет у них ни имущества, ни владений: как придут они селиться с чадами и домочадцами, так же со всем своим скарбом снимутся с места и уйдут. Трусовость ведет их к коварству, а коварство — к измене. Если бы можно было довериться половцам, то призвал бы их в свое наемное войско Алексей Комнен, благо они издавна сражаются со злейшими врагами Византии — печенегами.

Еще не кончил бранить половцев эристав Липарит, как старший дворецкий ввел в палату рыцаря в латах. Тот подошел сначала к царю Георгию, приложился к царской руке. Давид приблизился к нему и расцеловал. Когда рыцарь повернулся к старейшинам, то узнал в нем Барама Аришиани.

Преследуемый Квирике и Дзаганом, через Хевсурети пробрался он на западную сторону Сурамского хребта. О вторжении кахетинцев и сельджуков во Внутреннюю Карталинию узнал он лишь в дороге.

Некоторое время прислушивался он к словам Липарита, потом простодушно спросил — так, что было слышно эриставу:

— А где они живут, эти половцы?

— По ту сторону хребта. К моему покойному отцу осетины часто приводили коней из их земли. Помню и сейчас, что рассказывали осетины: неисчислимые стады овец пасутся в половецкой земле — и сами половцы многочисленны, как овцы. Овечьи отары да конские табуны — вот все ихнее добро.

Липариту было приятно напряженное внимание, с которым старейшины внимали его словам. Поэтому он постарался продлить свой рассказ.

— Нужно знать также, что у половецких лошадей неуязвимые копыта, а их козлы и бараны — с короткими рогами, ибо зима в тех местах очень долгая. Са-

ми половцы трусливы, они привыкли надеяться на быстропрогих коней и беспредельные степи и в любую минуту готовы удариться в бегство. Отважны эти трусы только в преследовании бегущего врага. А в таком случае, — доложу я тебе, царь царей Георгий, и тебе, царь и паниперсебаст¹ Давид, — можно обойтись и без них, покажите мне хотя бы все малик-шахово войско — только обращенное в бегство — и поверьте мне, достаточно будет меня одного, с моими триалетскими азнаурами: по счету сдадим вам головы сельджуков. Отступленые тоже, конечно, требуют мужества, но ведь главное — обратить в бегство врага; в этом и заключается истинная отвага. Вся сила половцев — в их бегстве, отступлении; бегством победили скифы персидского царя Дария. Целый год гонялся за ними по степям Дарий, наконец, передохли у него кони, вымерло войско, и вернулся царь домой с позором. А потому половцы неуязвимы лишь в степях, а в нашей гористой стране, где сама природа преграждает путь беглецу, непригодны будут половецкие рати.

Пока Липарит изливал свое красноречие, Давид не сводил с него очей. Глаза эристава помутнели во время речи, скулы покрылись румянцем, от всех отводил он свой взор, только царю Георгию заглядывал в лицо. Заметил Давид, что царь Георгий часто кивал ему в знак согласия. Лишь когда Орбелиани сказал все, о чем хотел сказать, бросил он искоса взгляд на Давида и поспешил к своему золотому креслу.

Все ускользнуло от внимания Давида и то, что пока Липарит держал свою речь, Рати нетерпеливо терзал в кресле.

С трудом поднялся со своего места дородный, толстый архиепископ Афанасий мровийский.

Говорил он беспомощно, кашляя, фыр-кал раздутыми ноздрями, а когда хватало слов, захлебывался, словно тонул в воде, устремлял взор в пространство и изъяснял свои мысли с помощью жестов.

Пуще всего возмущало архиепископа Афанасия то, что Дзаган, не спрашивая карталинского католика, рукоположил брата своего Модистоса в епископы. Обозвал Афанасий Дзагана еретиком и обвинил в неслыханном кощунстве.

Наконец дошел до сельджуков и про-клял их многократно.

— Не только нас, — сетовал Афанасий, — весь христианский мир разорили эти нечестивцы. Плач христиан раздается из-под сводов Анисского мона-

¹ Паниперсебаст — высший сановник византийского двора; носивший этот титул считался справителем императора.

стыря, христианская кровь льется рекой в Антиохии, в Сирии и в Палестине. Гроб господин осквернен сельджуками. Мидетские монахи вернулись из Ирака возмущенные: не пускают паломников Грузии поклониться святым местам...

— О-о-о... — замылся архиепископ Афанасий и добавил: — конечно, кесарь Алексей Комнен пришлет франков на помощь.

Оказался достаточно красноречивым и Рати Орбеллиани. Не поспешил на слова утешения.

— Могут ли повредить нам сети, сплетенные Квирике и Дзаганом? Дзаган не стремился к покорению замков, а хотел только рукоположить в епископы брата своего, Модистоса.

Рати позволил себе подать совет царям: не вступать пока во вражду с Дзаганом и Модистосом.

— Модистос — монах, — сказал он, — но в вежинской битве бился он против царя Георгия, законный в доспехи.

Половцев Рати поносил, как и его отец, и закончил так:

— Даже если даст нам воинов Атраха Шарпанович — повелитель половцев, все равно осетины не пропустят их через Дариаланские ворота: издавна не прекращается война между половцами и осетинами.

Антоний кутаисский также начал свою речь словами возмущения против незаконного рукоположения Модистоса. Алексея Комнена он восхвалял чрезмерно, сказал, что и константинопольский патриарх, со своей стороны, тоже, конечно, поможет собрать христианское воинство. Половцев поносил, называл их нечестивцами и ворами.

— Можно ли исправить неверного? Что пользы читать евангелие волку? Пытался же царь царей Георгий воспитать волчат для охоты — однако, лишь на овец охотились они, пообвыкнув в Гегути.

Царь Георгий рассмеялся этой шутке; семеро епископов, развеселившись, хохотали ото всей души.

Давид и молодые эриставы молчали. Три других архиепископы повторили сказанное Антонием и мровийским епископом. Лишь епископ цилканский Стефаноз стал на сторону молодых.

Царь Георгий говорил неубедительно; его также хуже всего тревожило незаконное рукоположение в епископы Модистоса.

— Послов к кесарю нужно отправить, — сказал Георгий, — а язычников-половцев можно ли впускать в христианское царство? Я уже отказался от мысли воспитывать волчат! — закончил царь.

Когда закончилось заседание Совета старейшин, Георгий Чкондидели держал

совет с обоими царями. Главою посольства, что должно было отправиться в Константинополь, назначили Антония кутаисского; сопровождать его должны были архиепископы бедийский, мровийский, епископ цилканский и Гуарам, эристав бесцихский. Григорий Бакуриани обещал оказать покровительство послам. Антоний не хотел брать с собой цилканского епископа Стефаноза — и погречески-то, мол, он не горазд говорить, — но Давид приказал включить его в посольство, и Антоний склонился перед царевой волей.

На исходе дня прибыл гонец из Константинополя: император Алексей Комнен спешно вызывал к себе Григория Бакуриани.

Вечером долго искал первый вазир царя Давида, но не мог найти его нигде во дворце. Уже собрался Георгий Чкондидели отбыть в Гегути, как дождался ему начальник слуг: в Колхской башне ожидает первого вазира царь Давид.

Царь полулежал в длинном кресле. Вокруг сидели: Бешкен Джакели, Шергиа Липартиани, Барам Аришиани и Нианиа. Увидев первого вазира, юноши почтительно встали.

Чкондидели не дал царю подняться, попросил эриставов сесть и продолжать беседу.

— Так вот, я хотел сказать тебе, государь, — продолжал Барам Аришиани, — что не понравились мне сегодня речи эристава Липарита.

Улыбка промелькнула на устах Давида. Медленно опустив веки на большие глаза и подняв их снова, он сказал:

— Отчего же? Сладко говорил эристав Липарит, да только напоминает сладость его речей колхидский мед; вы знаете, конечно, на берегах Цхенис-Цхали водится особенный мед: он пьянит сладостью и отравляет ядом.

— Оно и понятно, — сказал Нианиа Бакуриани, — ведь недаром сестра Каты замужем за эриставом Дзаганом.

— Липарит похож на рубанок: он строгаёт всегда в одну сторону, — сказал, улыбнувшись, царь.

— Поэтому избегал он упоминать имена Дзагана и Зедзени, — добавил Георгий Чкондидели.

— Зато сын Липарита был откровеннее, — сказал Шергиа.

— Откровенность — часто признак легкомыслия, — выставил Нианиа.

— А иногда — глупости, — добавил царь.

Бешкен Джакели. — Теперь понятно мне, почему так поносили половцев.

Чкондидели. — Ну да, потому и поносили половцев Липарит и Рати, что боятся наемного войска. Хорошо пони-

мают Орбелиани, что тогда будет положен предел дерзости и своеволию эриставов.

Нияния, — Когда-то и сам Липарит собирався нанимать половцев, он сражался тогда прогив царя Георгия, но только цена показалась ему слишком высокой!

Бешкен Джакели, — Как ты думаешь, государь, придет нам кесарь Алексей франков для наемного войска?

Давид, — Кесарь был бы, конечно, рад изгнанию сельджуков из Карталинии, но меня встревожил его гонец. Не будь у Комнена острой нужды, не вызвал бы он так поспешно Григория Бакуриани. Незачем, в сущности, посылать теперь послов в Византию, да уж пусть будет так — пошлем посольство в утеху царю Георгию и епископам. Кто беспомощен сам, тот живет надеждою на других.

Когда разошлись эриставы, Давид наекнул Чкондидели на слабость и мягкосердечие царя Георгия.

— Одаривать изменников — таков издавна обычай царя Георгия, — сказал Чкондидели. — Когда Иван Орбелиани, отец Липарига, разорил долину Ксани, а Нияния Квабулидзе похитил сокровища Кутаисского замка, царь, в мудрой доброте своей, пожаловал Багуаш-Орбелиани — Лоцобани, а Квабулидзе — крепость Тмогви.

Давид встал, подвел Чкондидели к развернутому пергаменту и прочел ему фаллашское изречение, переведенное на греческий язык:

— «Беспомощность моя не позволила мне решиться выпустить лишнюю кровь из моих жил; тебе кажется, что я живу, но по причине бессилия моего я уже почти не существую».

Позднюю ночью позвали Стефаноза цилканского. Долго беседовали втроем. Перед тем как отпустить Стефаноза, Давид сказал ему:

— Попытайся добраться как-нибудь до половцев, Стефаноз, ты бывал не раз в осетинской земле; говорят, что многие из половцев понимают по-алански.

27

ЭПИСТОЛА

Не прошло и месяца после отбытия посольства в Византию, как вернувшиеся из Иерусалима грузинские монахи привезли в Кутаисский дворец послание кесаря Алексея Комнена; точно такие же послания император византийский разослал всем христианским царям и правителям. Эпистола гласила:

«Священную империю православных греков-христиан теснят беспощадно тур-

ки-сельджуки и печенегичи. Они безжалостно грабят нас и отторгают от нашего царства различные земли. Христиан они истребляют, подвергая их страшным мукам; кровавые преступления неверных неслыханны и неисчислимы. Сельджуки насильственно обрезают христианских юношей и младенцев. Они отнимают честь у христианских девушек и жен на глазах их матерей. Отроков, юношей, монахов и даже старцев-епископов звергают они насильно в гнуснейший и злейший из грехов — sodomский грех. Почти все наши владения от Иерусалима до Греции, наконец, вся Греция со всеми своими фемами, главные острова Хиос и Митилена и многие другие земли, и даже сама Фракия разорены сельджуками. Один лишь Константинополь остался еще под нашей властью, но и этот град неверные похваляются отнять у нас, если не помогут нам во-время христиане латинского племени. В Пропонтиде уже стоят двести кораблей, построенных греческими мастерами по принуждению захватчиков. Константинополь угрожает опасность как с моря, так и с суши.

Я сам, порфиороносный император, не вижу ниготкуда спасения. Часто я вынужден обращаться вспять перед сельджуками и печенегами; пока еще нахожусь я в своей столице, но не заставит ли и меня нашествие врага вскоре искать другого убежища?

Во имя господина нашего, и во имя всех апостолов и святых великомучеников молю вас, воины христовы воинства, кто бы вы ни были и к какому бы ни принадлежали племени, — спешите сюда для спасения гибнущих христиан.

Во сто крат предпочтительнее для нас покориться вам, нежели подпасть под власть язычников. Пусть достанется вам Константинополь, лишь бы не оскверняли его сельджуки и печенегичи. Мните нам, что и для вас не менее дороги те святые, что украшают Константинов град. Орудие спасения нашего — то самое, которым пытали и умертвили спасителя: честной крест, на коем был он распят, и терновый венец, венчавший чело его, бесчисленные мощи святых великомучеников, голова Иоанна Крестителя, нетленные останки святого Стефана... Ужели все это должны похитить язычники у христиан?

Если же не вдохновляют вас на подвиги эти христианские сокровища, я напомню вам о несметном богатстве, которым владеет наш святой град. Сокровищ только одних храмов Константинополя — золота и серебра, жемчуга и драгоценных камней, шелка и парчи — достаточно, чтобы богато убрать храмы всего мира. Сокровищница же храма святой Софии превосходит все эти богатства, взятые

вместе. Я не буду говорить о несчетной казне, скрытой в тайниках почивших кесарей и дворян знатнейших родов.

Итак, спешите, воины святого воинства, ведите с собою ваши дружины, спасите эти богатства и сокровища от жадных рук сельджуков и печенегов. Уже не доверяем мы воинству, состоящему ныне под нашей властью, ибо оно может соблазниться грабежом этих несметных богатств.

Спешите, христовы воины, спешите, пока есть время, пока империя святого Константина и, более того, самый гроб Господен не потеряны для вас и для нас навеки».

28

ДРАЧЛИВЫЙ ПАСТЫРЬ

Целую неделю провели послы во дворце Акрополе, ожидая приема; наконец, Григорий Бакуриани был принят кесарем, и диетарий¹ назначил прием посольства на пятое января.

Повар дворца Акрополя оказался турком. Заупрямился кутаисский архиепископ — как христианским пастырем прикоснуться к пище, приготовленной сарацином?

Наконец, по приказанию константинопольского патриарха, в монастыре Студии приготовили особые покои для гостей.

Старый военачальник Григорий Бакуриани заметил, что не хотелось Стефанозу цилканскому жить вместе с Антонием и с бедийским и мровийским архиепископами.

В путешествии люди узнают друг друга короче; в дороге успели подружиться Стефаноз и Бакуриани, и потому через два дня Григорий пригласил к себе и епископа цилканского.

Однажды вечером заметил Стефаноз, что Григорий не в духе, и спросил его, какая тому причина.

— Сдается мне, что придется нам воевать с печенегами, Стефаноз.

— Надеюсь, ты одолжишь и мне какой-нибудь старый доспех, авось и мне доведется убить одного-двух печенегов.

Бакуриани встал, принес откуда-то ржавый панцырь и подал его Стефанозу. Стефаноз примерил панцырь, не снимая монашеской рясы.

Взглянув на епископа, закованного в латы, едва удержал улыбку Бакуриани.

Длинная, остроконечная борода доставала до пояса большеголовому и коротконоговому Стефанозу. Все лицо его, до самых скул, было покрыто густой растительностью; из ноздрей и ушей так-

же торчали волосы. Одет он был в простую монашескую рясу грубого сукна, какое ткут горцы. И вообще был он похож на деревянное чучело. Такие пугала видывал Бакуриани на огородах — их ставили, чтобы отвадить ворон.

Поседевший на службе у грузинских царей, Стефаноз все время либо находился в походе, либо правил посольством по царскому приказу в осетинской земле. Церковным делам он уделял мало внимания и потому владел им мирские привычки. Вино он пил с охотой, прекрасно управлял пирами, был отменным наездником. С крестом или с обнаженным мечом в руке всегда скакал он впереди войска.

Трижды ранили его под Вежини кахетинские азнауры, и все же, пока не сняли осаду, не покинул он Георгия Второго.

О своем прошлом не любил рассказывать много претерпевший епископ. Поэтому не удивился Бакуриани просьбе Стефаноза взять его с собою, если придется ехать на войну с печенегами.

Антоний кутаисский учился в Византии. Были хорошо известны ему Константинополь и его окрестности. Он мог указать расположение любого из пяти монастырей и храмов святого града. Под его руководством осматривали епископы город. Дворец Бакуриани был расположен далеко от Студийского монастыря. Часто Стефаноз блуждал в извилистых константинопольских улицах и переулках и опаздывал к назначенному часу.

Не дождавшись Стефаноза и махнув на него рукой, нетерпеливый Антоний уходил с епископами в город. А цилканский епископ отправлялся на поиски один, смещил народ своим ломаным греческим языком; прохождение останавливались посмеяться над неотесанным горцем, а тот замирал перед каждым храмом, дворцом или монументом, раскрыв рот в изумлении. Так осматривал он конные статуи императоров, бронзовых коней, воздвигнутых перед ипподромом, бронзового быка на «Боос Агорас» (в котором византийцы в ту пору сжигали осужденных на смертную казнь), Золотые Ворота, дворцы Августеон, Филалоксен, Лавс, Антиохийский и Патриарший.

В бане Вевксиппа едва не ошпарил Стефаноза, ибо знание греческого языка изменило епископу, и банщик вылил ему на спину шайку горячей воды вместо холодной.

Однажды грузинских гостей посетил Елифангий Непьющий с архиепископами жиосским и пафиагонийским.

Греческие архипастыри с утра повели грузин в храм Святой Софии. Блеск золота, серебра и мрамора ослепил Стефаноза.

¹ Диетарий — сановник в Византии, ведавший раздачей титулов, церемониймейстер.

— Вот бы нам в Цилкани такой храм, — подумал он вслух.

Когда проходили мимо колонны, вокруг которой обвился огромный бронзовый змей, мровийский архиепископ спросил Стефаноза:

— Не пожелаешь ли и змея?

— Змея пожелаю Антонию кутаисскому в его сад, только живого, — ответил Стефаноз, улыбнувшись.

Был суеверен кутаисский архиепископ; услышал сказанные вполголоса слова, обиделся он на шутку Стефаноза.

Из Святой Софии греческие епископы повели всех четверых гостей в Та Палатеон¹.

Несчетная толпа запруживала площадь Августеон². Греки, болгары, руссы, турки, индусы, египтяне и арабы толпились тысячами.

Уже не оглядывались прохожие на Стефаноза: более интересное зрелище привлекало внимание константинопольцев.

В эти дни прибыли в Константинополь с Запада франки, под предводительством фландрского графа Роберта де Фриза.

Всадники на конях, закованные в латы, красуясь, двигались по улице Мессы, иные же шли пешком, осматривая город.

Толпа любопытных валила за рыцарями, дивясь чужеземцам, с жадным любопытством рассматривая их вооружение и сбрую коней. Весь город говорил о Роберте де Фризе и его рыцарях.

Рыцари, увидев, что привлекают всеобщее любопытство, осмелели и стали дерзко обращаться с жителями города; входили в храмы, не снимая шапок; глазами покупателей разглядывали святые образы; а подчас и вытаскивали драгоценные камни из их украшений; нагло щипали женщин; то и дело толкали греков; затевали с ними беспричинные ссоры, зачастую и сами сцеплялись друг с другом, не поделив наворованного добра, и ссоры эти порою так разгорались, что требовалось вмешательство константинопольского епарха³.

Антоний кутаисский не любил епископа Стефаноза, подсмеивался над ним, обзывал «диаконном» из-за бедной его домотканной рясы и неотесанных манер горца, стыдился показываться с ним вместе на улице.

И на этот раз он тоже шел от него в стороне, следуя за Епифанием Непьющим и архиепископом хиосским.

Узкая улица была запружена народом, трудно было итти из-за тесноты.

¹ Та Палатеон — палаты, хоромы дворца.

² Августеон — площадь в Константинополе, где были расположены дворцы.

³ Епарх — полицмейстер.

Епископы говорили только по-гречески Стефаноз не принимал участия в их беседе, печально шлепая позади.

Уже дошли до городских предместий епископы, голод разбирал Антония кутаисского, и он то и дело заглядывал в харчевни, откуда выходили, пошатываясь, подвыпившие люди.

Моросил неприятный, мелкий дождь; лужи чернели по грязным улицам. Увлеченные беседой епископы шли, приподняв руками полы своих ряс.

Епифаний Непьющий с удовольствием вспоминал проведенные в Грузии дни, колхидские вина, которыми угощали его в саду Антония кутаисского, колхидские устрицы, рионскую осетрину и олени шашлык.

Греческая пища успела наскучить кутаисскому архиепископу, салюнки текли у него, когда речь шла об этих кушаньях.

Пафиагонийский архиепископ беседовал с бедийским и мровийским собратьями тоже о колхидской кухне.

Наконец Епифаний Непьющий остановился и сказал Антонию:

— Сегодня я хочу показать вам, владыко, неслепые мощи святого Стефана... Вы не осматривали еще церковь Сорока Мучеников, храмы Анастасии и Теодориха и даже, самое главное, голову Иоанна Крестителя.

Карманы грузинских архиепископов уже были набиты волосами святой Ирины, ногтями святого Виталия, клочками рубахи святой Анастасии, нагрудными образками и крестами.

— О чем говорит Епифаний Непьющий? — спросил Стефаноз мровийского архиепископа.

— Передай-ка ему, владыко, что лучше бы он дал нам попробовать греческого вина.

Антония покорило подобное кощунство, он поспешил вперед, отделился от спутников.

В это самое время двое рыцарей в кольчугах vyšли, пошатываясь, из харчевни. Дорожка, вымощенная кирпичом, была проложена по краю мостовой. Епископы шли по этой дорожке гуськом, потому что посередине улицы стояли после дождя большие лужи.

Рыцари спокойно прошли мимо Антония, одетого в шелковую рясу и украшенного золотым крестом, висящим на груди. Так же спокойно прошли они и мимо других архиепископов. Но когда поровнялись со Стефанозом, один из рыцарей — безбородый, в железных латах — высунул ему язык, схватил себя за подбородок и проблеял по-козиному:

— Мэ... э... э...

Внезапно развернулся епископ цилканский и нанес звонкую пощечину рыцарю в железных латах. Рыцарь покачнулся и упал лицом в грязь.

На помощь товарищу пришел другой рыцарь, в медных латах. Он потянулся к остроконечной бороде епископа, Стефаноз быстро отвел голову назад, схватил рыцаря за руку, взвалил себе на плечо громадного детину и сбросил, словно мешок, в лужу, на рыцаря в железных латах. Потом Стефаноз оседлал поверженных противников, сорвал с них мечи и принялся бить их, нанося удары плашмя.

Прохожие греки столпились вокруг Стефаноза, выхваляя его удаль; стражи связали руки рыцарям и отвели их, запачканных грязью с ног до головы, к епарху.

Безмерно разволновался архиепископ кутаисский.

— Видано ли где-нибудь, чтобы пастьерь церкви дрался, как кулачный боец, и чтобы посол царя связывался на улице с пьянчугами?

— Не видал я и того, чтобы где-нибудь царского посла хватили за бороду! — коротко отрезал Стефаноз.

Позабыл Антоний и про франков, и про варягов, и про паломничество ко святым местам. Сытые, обильные обеды во дворцах хиосского и пафиагонийского архиепископов последовали за осмотром храмов и монастырей.

Оказался скупым Епифаний Непьющий. Ни разу не пригласил он епископов к себе на пир, но зато охотно произносил застольные речи, осыпал похвалами грузинских гостей, обещал непременно приехать к ним в гости и на будущий год.

На этих пирах тоска по родине не раз томил душу Антония, ибо жирная, маслянистая и сладкая греческая пища невольно приводила ему на память острые, подперченные, заправленные чесноком и зеленью грузинские кушанья и ароматные грузинские вина.

И мровийский архиепископ поддакивал Антонию.

— Воистину, владыко, во всей вселенной нет страны лучше нашей.

29

ТОГОРТАК И ТОГОРТА

Когда грузинские послы приблизились ко дворцу Хрисотриклин, на железных дворцовых воротах вывесили кесаревы доспехи, щит и меч.

Мровийский архиепископ остановился.

— Что случилось? — спросил он Григория Бакуриани.

— Это знак объявления войны, — ответил тот. — Печенети третьего дня вторглись в пределы империи.

Бакуриани советовал грузинским послам: хотя и назначен прием у кесаря,

все же, ввиду начавшейся войны, не следует просить у него франкских и варяжских ратников для наемного грузинского войска.

Порешили ограничиться приветствием христианскому кесарю от имени царей Грузии.

Как подобает римскому патрицию, византийский кесарь принимал послов и клиентов в семь часов утра. В гостиницкой палате уже собрались мандатуры и слуги дворца; в златотканые скараманги были одеты они, на поясах висели мечи.

В палате находились гости: болгарские, армянские, русские монахи и епископы; бродили два-три заложника-мусульманина — жители дворца Акрополя.

Как только пробило семь часов, к серебряной двери, ведущей из южного крыла дворца Хрисотриклин в спальню покои императора, подошел диетарий и трижды постучался.

В золотую палату вступил император Алексей Комнен. Он был одет в пурпурную тогу, шитую золотом по кайме; грудь и плечи скрывались под драгоценными камнями. На голове возвышался венец «кесарикион», осыпанный жемчужом.

Император преклонил колена перед образом спасителя. Потом поднялся и уселся в золоченое круглое кресло, поставленное рядом с высоким треном.

Направив взор на папия¹, вытянувшегося как струна, император произнес:

— Логофета².

Папий вышел в палату Лавзиаки, приказал:

— Позвать логофета.

Войдя в палату, логофет воздал почести императору, распростершись перед ним. Поднявшись, он предстал перед кесарем и доложил:

— Орды печенегов вторглись через железные ворота и разбили лагерь между Диамполем и Голоз³.

Побледнело лицо Алексея Комнена.

— Быть войскам наготове! — приказал он логофету.

Спустя час кесарь принял фландрского графа Роберта де Фриза, рослого рыцаря в золотых доспехах.

После этого начался прием послов и клиентов.

Заметив озабоченность императора, обратил Антоний и, сославшись на нетвердое знание греческого языка, просил предстательствовать пред кесарем от

¹ Папий — начальник императорского дворца.

² Логофет — византийский сановник, должность, соответствующая современному министру. Были логофеты иностранного приказа, почты, дорог и т. д.

³ Диамполь и Голоз — города в Византии.

имени грузинского посольства Григория Бакуриани, Бакуриани воздал почести императору. Потом, по обычаю, обратился к логофету:

— Как чувствует себя базилиус, всысканный господом, создателем нашим, духовный отец царей грузинских, как здоровые царицы, августейшей поведительницы нашей, и базилиусы, дочери кесаря, здоров ли патриарх константинопольский, отец и упование всех христиан?

Логофет передал Бакуриани ответ:

— Как чувствует себя духовный сын боголюбивого базилиуса, царь царей всех иберов, абхазов и сванов, кесарос Георгий, как здоровые царя Грузии и шаниперсебаста Давида, здоровы ли возлюбленные господом царицы, сыновья и дочери царей грузинских?

★

В день святого крещения константинопольский патриарх служил в соборе. Ранним утром началось церемониальное шествие синклита от Палатеона к Святой Софии. Бесчисленная толпа встречала синклит пением псалмов.

Алексей Комнен вознес молитву спасителю за всех христиан и в тот же день отбыл с войском в Диамполь.

С ним отправились Григорий Бакуриани и владетель бечисцихский Гуарам.

Цицканский епископ Стефаноз также не пожелал остаться в Константинополе. Обладившись в доспехи, он отправился на поле битвы, вместе с полками Григория Бакуриани.

Едва император прибыл в Диамполь, как донесли лазутчики: вслед за вторгшимися в железные ворота печенегами движутся толпы половцев. Они уже достигли Дуная и идут на Балканы.

Робость проникла в душу Алексея, но, к счастью, прибыли в лагерь пятьсот всадников Роберта де Фриза; они привели полторы тысячи лошадей и продали их кесарю.

Узнав о прибытии рыцарей, закованных в латы, испугались печенеги, укрылись в овраге и стали выжидать удобного случая.

Новый враг появился у императора. Еще при кесаре Никифоре Вотаниате в Константинополе во Влакхернском дворце воспитывался малолетний сын какого-то мусульманского амира, имя его было Чаха, а после принятия христианства был пожалован ему титул протонобилиссима.

Этот Чаха бежал из Акрополя, разбил отряд туркоманских разбойников, отнял у греков несколько кораблей, собрал небольшую эскадру и овладел городами Фокеей и Казоменой, островами Хиосом и Лесбосом. Он отправил послов к печенегам, напомнил им о кровном родстве

и предлагал вместе ударить по Константинополю.

Было ясно Алексею Комнени: надобно быстро пресечь опасность, иначе гибель неизбежна.

Кесароса Никифора Мелиссина император отправил объявить поголовный воинский сбор. Мелиссину же поручил собрать скотоводов — болгар и кочующих по Фессалии влахов.

Отрядил он гонца и в степи, послал подарки и золотую грамоту вождям половцев Тогортаку и Тогорте, звал их на помощь.

Эристав Гуарам и епископ Стефаноз крепко надеялись: если выиграет войну кесарь Алексей, можно будет получить всадников Тогортака и Тогорты для наемного грузинского войска.

И все же невесел был император. Половцы естественно должны были стать союзниками империи, но также прекрасно знал император Алексей: половцы вероломны, и на слово их нельзя положиться. Опасно было впускать в пределы империи подобных союзников.

Алексей посоветовался с Бакуриани. Григорий вспомнил рассказы Липарита; сам он тоже знал половцев, потому не советовал Комнени пускать их на Балканы.

Лучше уже начать переговоры с печенегами, — думал Бакуриани.

Кесарю тем более пришлось по сердцу этот совет, что он возлагал большие надежды на рыцарей Роберта де Фриза. Катепана¹ Синезия отправил он к предводителю печенегов, поручил ему отвезти подарки и золотую грамоту, подписанную красными чернилами. В обмен за этот почет требовал он заложников.

Печенеги приняли подарки, но признать заложников отказались.

Между тем, лазутчики донесли Алексею, что печенеги двинулись на город Энос. На берегу реки Гербы должны были встретиться предводительствуемые Чахой сельджукские мореходы и орды печенегов.

Было ясно Алексею Комнени: сельджуки и печенеги, два туркоманских племени, протягивали друг другу руки над Босфором.

Приказав снарядить корабли, кесарь со своим малочисленным и наемным войском пошел к западу, по берегам реки, осмотрел побережье, разведаль пригодные для лагеря места и выбрал обширное поле, с одной стороны обтекаемое рекою Гербой, а с другой переходившее в топкие болота.

Подступы к лагерю он приказал защитить рвами. Затем кесарь отправился в Энос, но Григорий Бакуриани известил

¹ Катепан — правитель округа византийской империи и военачальник.

его, что несметные чужеземные орды приближаются к лагерю.

Бакуриани хотел немедленно вступить с ними в битву, но Стефаноз цилканский посоветовал ему подождать прибытия императора. В тот же вечер появился в лагере Алексей Комнен и своими глазами увидел грозную картину.

Затемнили горизонт несметные орды кочевников, вооруженных кто стрелами, кто мечом, а кто косой. Закутанные в звериные шкуры печенег ехали на неседлаемых лошадях, иные шли пешком, а другие облепили кибитки.

В толпе встречались и женщины — они сидели на лошадях или ехали в телегах, через плечо у них висели колчаны или ревущие младенцы, на которых никто не обращал внимания. По пятам за беспорядочно текущей толпой шли ревом, мычаньем, ржанием и лаем стада быков, конские табуны, ослы и собаки со сверкающими по-волчьи глазами.

Императора привело в замешательство это зрелище, Бакуриани же был готов кинуться в бой со своими двумя тысячами латных воинов.

В это время прискакал гонец и доложил Алексею о прибытии половцев. Алексей пригласил к столу половецких вождей Тогортака и Тогорту. В шатре императора поспешно накрыли византийский стол.

Тогортак и Тогорта, в сопровождении десятка рослых воинов, явились к императорскому шатру; столь высоки они были ростом, что ни один не мог пройти, не сгибаясь, в шатер.

Кесарь и Григорий Бакуриани угощали их разнообразнейшими жареными и вареными кушаньями — жирными и подслащенными, по византийскому обычаю.

Но гости отказывались от еды.

Тогортак и Тогорта в изумлении взирали на одетых в золотые брони императора и западного домостика, трогали руками их доспехи, их золоченые мечи и серебряные колчаны, и при этом смеялись, радуясь, как дети, показывая острые зубы хищников и спрашивая кесаря через толмача:

— С кого ты это снял?

Заметив, что половцы не прикасаются к яствам, Алексей принял сам за еду и сделал знак Григорию Бакуриани и катепану Синезию, чтобы те последовали его примеру.

Увидев, что хозяин занялся едой, ободрились половцы, но кочевникам больше всех изысканных яств пришлось по вкусу сыр.

Император налил Тогортаку вина; тот набрал его в рот, раздув щеки, потом выплюнул обратно и обрызгал одежду Алексея.

Император подарил обоим вождям по мечу с золотой рукоятью и по стальной

кольчуге. Гости обрадовались, как дети. Тогортак поднялся, хлопнул рукою кесаря по плечу и повернулся к переводчику:

— Скажи этому царю в золотой одежде, чтобы он дал нам сроку три дня — мы расправимся с печенегами по-своему.

Император ответил толмачу:

— Переведи им: даю сроку хоть десять дней.

Толмач был монах, грек, он был нетверд в половецком языке. Тогортак понял из его слов, будто кесарь приказывает ему ударить по печенегам не ранее, как через десять дней. Тогортак обиженно нахмурился, встал из-за стола и вышел со свитой из шатра.

Гости вскочили на коней и ускакали в половецкий лагерь.

Прошло три дня. Рассылал лазутчиков император: печенеги сидели в своем лагере, не шевелясь, и половцы не тронулись с тех лугов, где они разбили свои шатры.

Алексей Комнен испугался — как бы не подошел мятежник Чаха, не напомнил половцам и печенегам об их кровном родстве и как бы не ударили сообща все три племени.

Однажды вечером сели на коней император Алексей, Григорий Бакуриани и катепан Синезий, выехали на разведку к вражескому лагерю.

На востоке увидел Григорий множество телег, скрипевших под тяжестью облепивших их оборванных людей. Алексей смутился, решил, что приближается враг, но оказалось, что это были собранные Никифором Мелиссином пастухи-булгары и влахы.

Тогортаку и Тогорте не терпелось получить подарки от кесаря; они подождали еще пять дней и прислали вестника к Алексею:

— Доколе ждать нам знака к началу битвы? Знай, мы потерпим еще три дня, а на четвертый наши зубы должны попробовать либо овечьего, либо волчьего мяса.

Когда стемнело, перед главным шатром преклонили колена кесарь и его свита, зажгли свечи, прикрепленные к остриям копий, молились истово, пели псалмы.

Наутро началось кровопролитие. Греки и половцы напали на укрепившихся в лошине печенегов.

Печенеги огородили свой лагерь тысячами опрокинутых телег. Когда греки приблизились к печенегам на расстояние полета стрелы, Бакуриани приказал передовым сойти с коней. Всадники перелезли через телеги и забросали печенегов дробиками.

Тем временем подоспели фландрские рыцари.

Печенеги грудью пошли на ту когорту,

которую вел Григорий Бакуриани, убили передовых и окружили domestика. Расправил плечи многоопытный полководец и с поднятым мечом поскакал к главарю печенегов.

Из-за опрокинутой телеги вылез чубатый, полуголый печенег, вытащил меч из ножен, подсек задние ноги лошади Григория, но тут подоспел Стефаноз цилканский, вспомнил свою юность, взмахнул мечом, срубил с плеч чубатую голову.

Тем временем громадного роста половец соскочил с коня, крикнул что-то половецки, ухватил за чуб отсеченную голову и сунул ее в мешок. (Позднее узнал Стефаноз, что чубатый был кровным врагом этого половеца).

Дрогнули передние когорты — Бакуриани кликнул клич полкам; кесарь Алексей бился неподалеку на коне, тут подоспели половецки. Кесарь приказал знаменосцу развернуть среди половец императорский стяг.

Далеко за полдень затянулся бой. Жажда мучила воинов. У половец уже накануне не было в лагере воды.

Ранев кого-либо из печенегов, половец припадали к его ранам и пили горячую кровь.

Алексей Комнен повелел: разослать по окрестным селам булгарских пастухов, чтобы те принесли воды в мехах.

Утолив жажду, еще больше озверели половец, и когда трупы печенегов устлали долину, обратились к опрокинутым телегам, принялись истреблять притаившихся там женщин и детей.

Цилканский епископ содрогнулся от этого зрелища. Он вложил меч в ножны, взял в руку нагрудный крест и, развезая на коне между половецями, умолял их во имя Христа пощадить младенцев. Половец не могли удержаться от смеха; они рубили головы печенежским детям, вздевали их на копья и кидали, словно мячи, в овраг.

Три дня продолжалось истребление печенегов; оставшиеся в живых побросали оружие, укрылись в соседних кустарниках, но ни кесарь, ни Григорий, ни цилканский епископ не в силах были сдержать озверевших половец. На скачущих лошадях рыскали они по кустарникам, отсекали головы безоружным, срывали с них одежду, выкалывали глаза, собирали в общую кучу отсеченные головы и руки.

Лишь три тысячи печенегов увели в свой лагерь греки и западные рыцари; половец хотели истребить и этих, но кесарь настоял на своем.

★

Вечером Алексей приказал Бакуриани обезоружить пленных печенегов и приставить к ним стражу.

Это приказание было исполнено немедленно, но после полуночи явился к Григорию катепан Синезий и попросил его разбудить императора.

Алексея разбудили и Синезий доложил:

— Лучше будет сегодня же ночью перебить пленных печенегов. Лазутчики мне донесли, что в лагере половец уже жалеют о том, что так безжалостно расправились с безоружными печенегами. Эти дикари похожи на детей, — добавил Синезий, — только что истребляли людей и уже жалеют убитых. И боюсь, как бы эта жалость не заставила половец освободить пленных печенегов и как бы оба племени не ударили на нас соединенными силами.

— Конечно, печенеги дикое племя, но оставим им жизнь. Они нам могут пригодиться, — ответил император.

Долго в эту ночь бодрствовал Синезий. Только начала одолевать его дремота, как вдруг волчий вой донесся до его слуха. Подумалось ему: это зверь вышел из лесу поживиться мертвечиной; насытится он и уйдет.

Но волк продолжал выть.

Выслал Синезий лучников, приказал им убить зверя. Но стрелки вернулись и доложили: это не волк, а человек воет по-волчьи.

Изумился катепан, разбудил толмача.

Выяснилось, что было обычаем у Тогортака выть по-волчьи после победы над врагом. Синезий испугался, подумал: верно, потому так близко подошел Тогортак, что хочет волчьим воем подать знак печенежским пленникам. Синезий поднял на ноги лучников и велел отрубить головы спящим печенегам.

Наутро узнали об этом в лагере половец. Испугались вожди Тогортак и Тогорта — как бы не обвинил их кесарь в истреблении печенегов, подняли они лагерь и поспешили в свои степи. Даже обещанных кесарем подарков не стали дожидаться.

Так Григорий Бакуриани обманулся в своих надеждах: не удалось ему вступить в переговоры с вождями половец.

Цилканский епископ в тот же день вернул свои доспехи Григорию:

— Я должен исполнить приказ царя Давида, — сказал юн полководцу. И, надев опять свою ясу, сменив меч на медный крест, попрощался с Гуарамом бечисцхским и Григорием Бакуриани и пустил своего коня в том же направлении, куда скрылись половец.

О ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ

Отъезд Антония кутаисского вселил новые надежды в сердце царицы Марииам. Был далеко теперь «пастырь хри-

стианского благочестия». Католикос же абхазский Евстратий вообще не заботился о мирских делах.

Твердо знала царица Мариам: номоканон скрывал византийских кесарей в их поступках; по-гречески был воспитан Антоний, потому и требовал подчинения номоканону. И как посмотрят в его отсутствие на это дело грузинские архипастыри?

Почти совсем опустел Кутаисский дворец, оставленный на произвол слуг и дворцовых дам. Царь Георгий готовился к зимней охоте и потому отправился всем домом в Гегути. Эристав Липарит с женою, сыном и дочерью собирались отбыть в Триалети, и царь Георгий накануне отъезда устроил для гостей охоту на косуль в Аджамети.

Шутя похвалялся хозяин перед Липаритом и Рати: обещал им, что затмит джейранью охоту, устроенную ими в те дни, когда гостил он во владениях Орбелиани, в Алгети. И впрямь, охота была на редкость удачной: более сотни косуль убили царь Георгий и Рати.

Дамы также присутствовали при этой прекрасной забаве.

Рати чувствовал: обиделась на него царица Мариам за его грубое обращение с Дедисимеди. И потому, как только удавалось ему поразить косулю, тотчас же, даже не извлекая стрелы из раны, взваливал он добычу на плечи и приносил ее к ногам царицы, расположившейся со своею свитой под вековым дубом. За охотой последовали пиры. Сидя полукругом возле большого камина Гегутского дворца, хозяева и гости самолично следили, как под наблюдением начальника кухни жарились на вертелех туши убитых косуль.

Виночерпий пробовал одно за другим багдадские вина. Флейтисты, привезенные из Такверы, сладостными напевами услаждали гостей, восседавших вокруг золотых столов.

Рати пришлось по душе охота на косуль. Ката же стремилась скорее уехать в Триалети.

Однажды начальник царской охоты привез новость: стадо кабанов перешло вброд через Рион ниже Гегути. Теперь к кабаньей охоте обратились мысли царя Георгия и Рати.

Но не пришлось им осуществить свои намерения. Рати внезапно заболел лихорадкой. Лекарь Карсанидзе заявил, что это — болотная лихорадка, лечить ее нужно долго, нехватит, пожалуй, и трех месяцев.

Странная выдалась зима в этом году; накануне рождества сызнова задрвели сливы, и вдруг выпал снег — глубокий, обильный, доходивший до стремени всаднику.

Не скрывал своего огорчения царь Да-

вид: бездорожье разобщило области, прервалось сообщение с Абхазией, Самцхе и Внутренней Карталинией. Прекратилось пешее и конное воинское учение в Гегути; Георгий Чкондидеми задержался в эриставстве Такверском.

Ликовал царь Георгий — предвкушал обильную охоту. Радовалась и царица Мариам, потому что Рати не мог увезти сестру в Триалети, а Давид — уехать в Цхуми.

Шел снег; словно дикая лошадь металась вьюга по гегутским полям, осыпала белыми клочьями дворец, заваленный снегом по самые окна. Лишь к исходу января очистилось небо, началась оттепель, рощи подернулись синевой. Только Кавказский хребет стоял подо льдом на севере — опромяная хрустальная стена, заградившая небосклон.

В повседневной толчее Гегутского дворца лишь у большого камина могли встречаться Давид и Дедисимеди: стесняясь ее родных, даже взглядом не решаясь обменяться с нею юноша-царь.

Время шло, все труднее и труднее становилось в этой тесноте царице Мариам, привыкшей к жизни больших дворцов Магонавра и Букколеона. Нестерпимо ей было наблюдать молчаливое страдание влюбленной четы, приелись большие сплетни маленького двора и перешептывания дворцовых старых дев. Наводили на нее тоску доносившиеся из зарослей на Рионе гоготанье диких гусей, непрестанный трубный зов оленьих стад и пенье фазаньих петухов в ближнем лесу. Ко всему этому шуму примешивался еще немолчный лай с псарни царя Георгия.

Милостивая царица разъезжала по ближайшим селам, крестила детей, раздавала ладонки, золотые и серебряные кресты, образа святых и молитвенники, привезенные из афонского иверийского монастыря.

Утомленная дорогой, возвращалась она в Гегутский дворец и тут же должна была принимать пришедших из Иерусалима грузинских иноков, собирающих милостыню монахов из Самцхе, игуменов и игумений обителей Внутренней Карталинии, просивших средств на восстановление разрушенных землетрясением монастырей. Они терпели ныне великую нужду, ибо после воцарения Давида вся государева казна тратилась на покупку боевых лошадей и на возведение крепостей.

В крещенье царь Георгий примирил царицу Елену и Мариам. Видела царица Елена: ни на день не покидала царя Давида печаль, и согласилась с Мариам — быть обручению после пасхи, на фоминной, если, конечно, будет на то соизволение католикоса.

Тревожилась царица Мариам, пора бы-

ло подумать о возвращении в Византию. Гонец, с трудом пробравшийся из Хупты, привез царице послание: извещал домоправитель царицы, что у императора — война с печенегами. Константин Порфирородный, сообщал домоправителю, скоро напишет сам; но где находится сын Мариам, об этом в послании не говорилось.

Весть эта огорчила Мариам, и все же, наделенная сильною волей, хотела она еще до отъезда завершить дело с обручением Давида, ибо предвидела: вернется из Византии архиепископ Антоний, и сызнова начнутся споры вокруг номоканона.

Жестоки были страдания Давида. Он замкнулся в себе, сердце его наглухо закрылось для Григория и Елены. Уединение привлекало его, он прибегал к ташишу, целые дни проводил за чтением, лишь иногда играя в нарды с Джорджиками или с Нианиа.

Дедисимеди также была во власти печали. Бледностью подернулись ее щеки, исчез тот оттенок персиковых цветов, что так красил ее лицо. Вся ждалась горестная дочь эристава; похожая на привидение, скользила она среди широкобедрых дворцовых дам.

Царицы Елены она избегала, царя Георгия сторонилась, брату своему Рати робко глядела в глаза и, как ручная косуля, ходила следом за царицею Мариам, лишь в ее присутствии чувствовала себя легко.

Едва проснувшись, рассказывала она царице свои невинные сны, если же случалось войти неожиданно супруге Липарита, замолкала на полуслове. Трепетала девушка под ястребиным взором матери.

Карсанидзе, лекарь, потребовал, чтобы больного лихорадкою Рати перевезли в Кутаиси, и только тогда облегченно вздохнула Мариам. Обрадовалась счастливой случайности: не годилось отправлять гостей в Кутаисский замок, если не будет там хотя бы одного из хозяев. И, приказав запретить свою золоченую карету, отправилась в Кутаиси вместе с семейством эристава Липарита.

Пыталась она залучить и царя Давида, — в большом Кутаисском замке, хоть изредка, но все же могли бы влюбленные встречаться на свободе.

Так полагала проницательная царица, но приехал в Кутаиси из Гегути Козман и привез известие о том, что царь Давид, взяв с собою Нианиа Бакуриани, Джорджики и Шергила Липартиани, с тысячею закованных в латы рыцарей, оседлав коней на рассвете, отбыл тайно из Гегути.

Ни главный смотритель царских табунов, ни главный казнохранитель, ни

кто-либо иной из придворных не знали, куда отправился царь.

— А царь Георгий? — спросила Мариам.

— Царь Георгий хранит молчание, август, не мог же я осмелиться его спрашивать! Подозревают, что у самцкхийского рубежа сельджукские шайки нарушили границу, и царь Давид отправился в Джавахети, к Бешкену Джакели; иные думают, что царь — в Абхазии, а третьи полагают, что он в Сванетии.

— Ты плохой вестник, Козман; лишь снег и ветер приносишь с собою.

Так, с шуткою, отпустила царица монаха, сама же изумлялась: что заставило Давида обречь себя на путешествие в такую погоду?

Подошла к окошку и поглядела на засыпанный снегом замок. Только головы и шеи были видны у людей, хлопотавших на дворе.

— Вот так же забывал о самом себе отец мой, светлой памяти царь Баграт, — сказала Мариам сидевшей перед камином Дедисимеди, не сводя взора с раскачивающихся верхушек кленов.

— Будь то пасха, рождество или новый год, в бурю или в ведро, зимою или летом, — воевал, боролся, трудился. Однажды, помнится, была крестины в Уплисцихе, в фомин день. Накрыли на стол. Гости едва успели вымыть руки, а уже нигде не могли доискаться отца. Главный конюший принес известие: с тремястами всадников царь спешно отправился в Сапуце. Мы думали, что он в Бедиа, служил молебны, а он в это время сражался с сельджуками у Адгети. На коне он спал, на коне молился и даже держал совет со своими военачальниками на дороге, в седле!

Дедисимеди сидела в кресле, вышивала золотом. Огромный дзелаквовый пень пылаел в камине. Кирпичный пол был застлан тигровой шкурой, на ней свернулась калачиком кошка, мастью своей похожая на охотничьего гепарда; изнеженный зверек щурил лениво глаза, время от времени фосфорические искры вырывались из-под его длинных светлых ресниц.

Вошли факельщики, чтоб зажечь свечи в золотых подсвечниках. Мариам махнула рукой, чтоб оставили ее в темноте.

Словно жалуясь, трещал в огне громадный пень.

Смотрит в огонь и думает Мариам:

«Какие непонятные силы восстали против настоящего желания ее сердца? Оставить ли начатое дело и отправиться в Византию, как только откроется дорога? Но жаль эти бедные юные сердца. Конечно, Давид — мужчина, самозабвенно делающий свое дело. Но не до-

стойно ли жалости это ангелоподобное существо, что сидит, опустив лицо, перед огнем? Воистину, печальна участь женщины: возлюбленную приемлет она наибольшие страдания, матью — терпит обиды, хорошею женою — тщится совместить обязанности супруги, матери и возлюбленной».

И еще предвидела мудрая сердцем царица: если расстроится обручение — кто знает, какая причуда овладеет Липаритом и Рати? Мусульманские султаны вожаделенно поглядывают на грузинских красавиц.

Вспомнился недавний Совет старейшин. Не понравился Мариам речи Липарита и Рати. Эристав Дзаган стал на сторону кахетинского царя, а их возмущало только одно: как посмели рукоположить в епископы Модистоса, брата Дзагана? И усиление наемного войска явно не по душе отцу и сыну Орбелиани. Допустим, что император Алексей пришлет на подмогу франков. Давид укрепит свою рать, а Липарит снова упадет, и старая сказка начнется сначала.

И, отведя глаза от огня, Мариам жалостливо смотрит на девушку.

Развившийся локон — цвета золотых нитей на вышивании — спустился на щеку Дедисимеди. Заметила Мариам: были заплаканы глаза у девушки.

«Прекраснейшие из женщин рождаются под несчастливой звездой, — думала Мариам, — Не печальна ли и ее собственная участь? Дважды опрокидывали из-за нее мужчины императорский престол, оба раза заливали кровью площадь Августеона и золотые пожки Палагеона; исковеркали жизнь Мариам, но и сами не достигли желанного счастья».

Вновь взглянула царица на погруженную в рукоделье девушку — еще прекраснее была она в печали!

И Мариам подумала: «Если приедет она когда-нибудь в гости ко мне в Византию, прикажу живописцам нарисовать ее изображение в восточном предделе Пигийского монастыря, — и фреска эта назовется, без сомнения, Иверской божей матерью».

Приласкав дочь эристава, спросила ее Мариам:

— Почему ты печальна, душа моя?

Девушка подняла свои всегда изумленные глаза и спросила в свою очередь:

— Неужели еще идет снег, августа?

— Идет, дорогая моя, идет...

Дедисимеди склонила лицо и продолжала вышивать.

— Почему ты об этом спрашиваешь?

— О, ничего особенного, августа, мне только жаль всадников, что должны путешествовать в такую погоду.

Легко догадалась Мариам, о ком грустила дочь эристава. Ласково погладив ее рукой по волосам, притянула девуш-

ку к себе и тихо поцеловала в зардевшуюся от огня щеку.

Ветер премел на дворе, бился в смотровые оконца замка и завывал по-волчьи. Верхушки кленов сгибались под ветром во мраке.

«О плавающих, путешествующих, страждущих и плененных и о спасении их господу помолимся», — вспомнились Мариам слова молитвы.

31

ДОБЫЧА ЯСТРЕБА ИЛИ ДОЛЯ ГРАЧА?

Изыди от меня, сатана, ибо ты соблазняешь меня, ибо замышляешь ты не божеское, но человеческое.

Не помогла Рати охотничья добыча, смиренно поднесенная им императрице в Аджаметском лесу. За два месяца ни разу не навестила больного Мариам; то ссылались на простуду, головную боль, то отговаривалась делами.

Такое невнимание царицы обидело Катю, не отходявшую день и ночь от одра больного.

Однажды вечером Мариам приказала управителю пригласить к ней супругу эристава.

Справившись о здоровье Рати, царица побеседовала с Катей о способностях Дедисимеди к рукоделю, о том, как быстро овладела девушка искусством шитья золотом.

— Теперь я обучаю ее вышиванию серебром, — сказала царица.

— Книги и врачевание болезней — вот что всегда было страстью моей дочери, потому и отстала она в рукоделии, августа, — сказала супруга эристава.

Царица заговорила о предполагаемом обручении; упомянула и о номоканоне, успокоила супругу Липарита: если обручение состоится до возвращения кутаисского архиепископа, то католикос как-нибудь сумеет обойти затруднение. Прибавила также, что Евстратий дряхл и болен, смерть его близка, после его кончины Антония возведут на патриарший престол, и тогда трудно будет сломить упрямство своевольного монаха.

Ката выслушала, шевельнула рыжими ресницами, перевела взор на огонь в камине и сказала:

— Я ныне уж не властна решать это дело, августа. Пусть встанет с одра болен сын мой, а там увидим, что скажут Липарит и Рати.

Гнев овладел Мариам, изумленно смотрела она на Катю, уж не потеряла ли разум дочь Дукиддзе? До сих пор по три раза в день сама напоминала об об-

ручении, плакалась на строгость номоканона, а теперь, когда препятствие это преодолевалось, ссылается почему-то на Липарита и Рати.

— Извини меня, госпожа моя Ката, за прямоту и за откровенность, но я должна сказать тебе: не криви душой; как собственную дочь люблю я Дедисимеди; но пусть не думает никто, что императрица Мариам или царь Давид будут обивать пороги Орбелиани. Лучше будет, если дело не дойдет до выбора, ибо известно каждому, что во всем христианском мире никто не откажет в невесте царю Давиду. Я могу, не ступив и шагу из дворца Магнавра, выдать замуж за моего племянника Анну Комнен, дочь кесаря Алексея, или же прекрасноую Пириксу, дочь венгерского короля Владислава Второго. На одни только алмазы каждой из них можно купить все триалетское зрительство.

Ката просила прощения, ссылаясь на бессонные ночи, жаловалась: болит голова, ослабленная ночными бдениями, потому и язык мелет, не спросясь хозяйки, что попало; сама она боится немилости царицы, как господнего гнева.

— Лишь благодаря тебе, милостивая августа, столь неожиданно открылись врата небесные перед нашим родом, — а впрочем, и без того — кто осмелится проявить к тебе неблагодарность, августа?

Дедисимеди вошла в палату, и царица Мариам перевела разговор на посторонние темы, а подконец, сославшись на головную боль, оставила мать с дочерью вдвоем у камина.

Одна в полутьме лежала царица, и слезы текли по ее щекам.

Сколько горя вышло из всех ее намерений и начинаний: мученическое лицо Русудан стояло перед ее глазами. Любимого первенца оставила несчастная в этом мире. И неужели концом всему этому будет лишь то, что византийская императрица должна будет отправиться в Сокхастерийскую обитель просить прощения у бывшей царицы?

Мариам закрыла глаза ладонью.

Во всем дворе — знает она — нет у нее сторонников или единомышленников. Доносил ей монах Козман: не только дочь Шервашидзе, но и приближенные — начальник слуг, главный дворецкий и другие, подобные им, и даже, подумать только, сама эта блудница, куропалатисса Мелита, — порицали, оказывается, царицу Мариам. Увы, увы! Да, и куропалатисса Мелита осуждала ее нравственность — говорила, что она лишь без толку встревожила дворец Багратионов, где будто бы счастливо жили во взаимной любви Давид и Русудан, приехала из Византии, свела юношущаря с Дедисимеди, заставила заточить в монастырь Русудан.

Ясно, что Липарит и его супруга стали опять колебаться — был необычно холоден с Мариам эристав триалетский в Гегутском дворце. Имеет ли смысл выведывать правду у сына Липарита? Вероятно, и он умрет руки подобно Пилату и свалит все на опца.

Козман — ясновидец, сердцевед, он всегда заискивающе смотрит в глаза царице Мариам. Пять лет протекло с тех пор, как Липарит обещал ему кафедру цалкинского епископа, но и по сей день никак не дожидется он рукоположения. Теперь он надеется, что Мариам устроит его настоятелем монастыря Пропонтиды. Монах, привыкший к странствованию по чужим землям, разумеется, предпочтет приорство Пропонтиды цалкинской кафедре.

Мариам обязательно исполнит это желание Козмана, если тот только поверит ей тайные помыслы семьи Орбелиани. Наконец и в пострижении Русудан есть немалая заслуга Козмана.

— Приведи ко мне Козмана, — приказала Мариам Цинцилуку.

«Благородство поступков — обязательно для любого дворянина», — думала Мариам. Потому и доверяла она Козману, что он был не простого происхождения, а азнауром из знатного рода Абазайсдзе. Слыхала также Мариам, будто в юности Козман любил — и не безответно — Тату, дочь именитого кушца Варсима Вардзели; но Липарит послал Варсима доверенным в Исфагань, где купец насильно выдал свою дочь за Кербогу, военачальника Баркиарока.

Когда рассказали об этом Козману — в миру носил он имя Саама Абазайсдзе, — он был занят игрою в мяч на конях во дворе собственного замка. Тут же отправился он в ближайший монастырь и в тот же день постригся в монахи. Снедаемый тоскою, пьянствовал потихоньку Козман в монашестве, а потому не удостоился быстрого возвышения, какое обычно бывало уделом «братьев из знатных родов».

Из трех монастырей был изгнан брат Козман и наконец нашел приют у Липарита. Эристав триалетский таил недовольство против манглинского епископа Кириона, ибо последний считался в триалетском эриставстве сторонником царя Георгия. Поэтому намеревался Липарит изгнать Кириона из Триалети, а епархию передать Козману.

Конечно, после примирения с царями было бы уже неловко утешать кафедру Кириона, и Липарит утешал Козмана: хотя и не удалось изгнать Кириона, зато недолго дожидаться смерти епископа Досифея.

Страстно стремился к епископской кафедре Козман и был поэтому преданнейшим человеком при дворе Липарита, по-

веренным тайн и домашним другом дома Орбелиани.

Управитель Цинцилук вернулся в сумерках и доложил царице: монах Козман отправился в Гегути.

Лишь на следующий день после обеда вернулся он и явился к управителю Цинцилuku.

— Сегодня мы будем в бане с Дедисимеди, пусть пойдет к нам вечером, — велела царица передать Козману.

★

Кутаисский замок окружили вечерние тени, но жар горячего солнца остался в набухших почках деревьев, стволы и ветви налились соком, и сад курвился прозрачным, легким туманом. Ветер, утихший к закату, разогнал тучи с небосвода цвета эklarского камня; над закованной в ледяной панцирь горою Хомли роились облачные призраки, похожие на серафимов с раскрытыми крыльями.

У стены замка нежилась Козман, прилежавший под теплою ласкою весеннего дня. Отсюда Козман любил смотреть на Рион и его окрестности.

За рекою раскинулось село, за ним — пригорок, а на пригорке — замок с башней. Вспомнился Козману Макабели — замок его отца.

И вдруг захотелось очутиться в замке Макабели — облачиться в дедовскую броню вместо монашеской рясы, опоясаться добрым мечом, а не простою бечевкой, и чтобы голову его покрывал шлем, а не монашеский клобук.

«А дальше... а дальше? Фу! сатана, что за мысли лезут в голову в эти дни!.. Козман, я не узнаю тебя, брат», — окликнул его внутренний голос.

Как возмутила, встревожила спокойную жизнь Козмана его встреча с Дедисимеди в опочивальне царицы Елены. Не проходит дня, чтобы трижды не тянуло поглядеть на ее лицо.

Проснется поутру и ждет нетерпеливо, когда управитель Цинцилук позовет его к царице Мариам. Зимой, пока дороги были закрыты, он знал, непременно застанет рядом с царицей сидящую возле камина Дедисимеди — любящую и прекрасную, как только что оперившийся птенец, приютившийся под крылом фазаньей самки.

Уже весна, скоро вернется царь Давид, и начнутся опять верховые прогулки в Сатаплии; уже весна, и весьма вероятно, что сумеет настоять на своем императрица Мариам — после пасхи будет не только обручение, но и свадьба.

«Козман, я не узнаю тебя, брат... Не на твоих ли глазах подрост этот фазаний птенец? Еще до твоего отъезда в Исфгань часто сживала у тебя на коленях эта маленькая ласочка, одетая в

кирманские шелка. И вот внезапно возникла она пред твоим взором в образе полной соблазна девы; и даже более того — одним духовением загасила образ Таты Вардзели, горевший в твоей душе».

Весь мир от края до края объездил Козман, влюбленный монах; Исфгань, Багдад, Антиохию, Иерусалим, Смирну, Никею и Константинополь — где только ни ступала его нога!

На невольничьих рынках видел он, как покупали прекраснейших наложниц для гаремов Малик-шаха, Баркиарока и Солеймана.

Были там невольницы чарующей красоты, турчанки, армянки и гречанки; подобный воспевали арабские поэты, восхваляя их груди, «вздыхающиеся подобно волнам Золотого Рога».

Наблюдал Козман и белолицых придворных дам Палатеона — широкобедрых и высокогрудых жен и дочерей нобилиссимов, кесаросов и вуропалатов: стройных, как кипарис, гречанок; чернооких болгарских дев, родосских нимф, с глазами цвета алычи, или лесбосских девственниц, чьи очи отливали цветом морской воды и чей страстный взгляд волновал мужчин, как молодое, бродящее вино.

Но монах оставался тверд среди всех этих искушений, и никто не в силах был изгнать из его души образ Таты Вардзели.

И разве мало наблюдал он за Дедисимеди — свидетель того, как выросла она, превратилась из подростка в женщину? Но наблюдал равнодушно, как некто, издалека следящий за плодовым садом, кто видит каждое утро из своего окошка, как подрастает какое-нибудь деревцо — скажем, унаби. Вот в одно прекрасное утро, выглянув из окна, увидел он ветви, отягченные красивыми плодами; — вчера еще незаметное, стоит деревцо в пурпуровом уборе, как некое чудо, устремившееся к небесам.

И все это свершил сын Липарита Рати. Грубыми руками он совлек шелковые покровы, скрывающие от чужого глаза красоту его сестры, сдернул с нее шаль, отнял псалтирь и обнажил перед монахом колдовскую красоту дочери Орбелиани: мягкие круглые колени и розовое мерцание обнаженной плоти.

«О сатана-искуситель! Как затемнишь ты сознание человеческое; всегда сулишь ты в удел смертному сыну плоти гораздо больше того, что бог и судьба даруют человеческому племени!»

В это мгновение готов был монах Козман отдать всю свою жизнь за то, чтобы еще хоть раз увидеть розовое мерцание обнаженных колен дочери эристава и сосцы ее, подобные кизилowym ягодам.

Стая грачей поднялась из ущелья — прилетели в дворцовый сад шумливые птицы, подняли гомон на верхушках старых лип.

Козман потянулся, окинул взглядом Рион и направился ленивым шагом ко дворцу царя Леона.

Запоздалый луч играл на золоченом куполе храма царя Баграта. Между оплетенных плетущим зубцов крепостной стены суетились кедровки.

К зеркально чистому своду небес возвел глаза размечтавшийся монах. Два ястреба описывали круги в воздухе — один кружил совсем низко, почти задевая за верхушки деревьев, а другой покачивался высоко на крыльях, словно на волне, и парил кругообразно в небе.

«Верно, следят за грачами» — подумалось Козману; но вот внезапно устремился молнией вниз тот, второй, с небес, хищники схватились в эфире и — о удивление! — к ногам Козмана упала обессиленная куропатка.

Монах направился ко дворцу, но едва успел он дойти до нижней ступеньки лестницы, как с верхушки липы слетел один из грачей, схватил и унес с собою добычу.

Нестерпимо захотелось вина Козману, и он пошел к царскому погребу, надеясь, что пригласят его чашники, дадут испить чарку-другую, — рассеять немного тоску, что налегла на его сердце.

Но двери погреба были закрыты.

Понури голову, мигновал Козман цветочный сад и пошел по тропинке, что бежала к дворцу Леона.

32

АФРОДИТА ЗЕДАЗЕНСКАЯ

Поднимаясь по ступенькам лестницы, вспомнил Козман слова некоего арабского астролога:

«Небо и звезды являют знамения каждое мгновение, нужно только, чтобы человек стремился проникнуть в их тайну».

Дворцовая служанка встретилась ему по дороге. Сказала монаху, что царица еще не вернулась во дворец.

Козман колебался — хотел пойти в храм Баграта, чтобы помолиться и рассеять соблазн. Но, дойдя до дворца куатаисского архиепископа, повстречал дворцовых дам, уже возвращавшихся от вечерни.

Подождав, пока женщины прошли мимо, монах направился к фиговому саду.

На этот раз сквозь двери царского погреба пробивался свет. На цыпочках Козман скользнул в погреб, огляделся — запах вина поразил его обоняние.

Мясник Хвтисавар стоял над горлом врытого в землю винного кувшина, держа в руках зажженную лучину. Чашник Грубела, стоя над кувшином на коленях, ладонью снимал с вина пленку.

Узнав Козмана, удивились оба — никогда раньше не видели они монаха в погребе. «Подослан, верно, Орбелиани», — подумали оба.

Монах пожелал им мирного вечера. — Да испощает тебе мир святой Георгий, — был ответ.

— Не побрезгуй нами, пожалуй к нашему столу, — сказал гостю Грубела, — преломим хлеб у очага.

— Нет, я не голоден, а вот коли дадите вина — не откажусь. Замучила меня жажда, — сказал монах.

Большой черпак наполнил вином Грубела. Монах припал губами к сосуду, опорожнил его.

— Может быть, приятно будет выпить еще? — спросил Грубела. — Что такому рослому молодцу чарка с наперсток?

— С наперсток? — осклабился монах. — Наперсток наперстком, а вино уже бросилось мне в голову!

Но не отстал от него Хвтисавар, и опорожнил еще один черпак монах Козман.

Поблагодарил и ушел из погреба, нетвердо держась на ногах.

Испугался: не заметил бы кто-нибудь при встрече, что охмелел монах. Забрел в часовню, присел на каменной плите. Перед полусмытой дождями фреской божьей матери теплится, мерцая тусклым светом, единственная лампада.

Вспомнил монах про подземный ход, ведущий к бане.

— Изыди от меня, сатана! — воскликнул он и обратил взор к лицу богородицы. Но слыхком было велико искушение, рожденное вином и любовью. Мысли, что гнал от себя Козман, возвращались снова, роились вкруг него, словно пчелы вкруг улья, откуда их только что выкурили дымом. Вот сейчас, в это самое мгновение, вероятно, снимают одежды с дочери эристава, и уродливые, безобразные банщицы, конечно, не заметят ни розового мерцания нежных колен, ни кизилового оттенка сосцов прекрасной девы.

Кровь прилила к голове монаха, он встал и почувствовал, что колени подламываются под ним, но все же, шатаясь, устремился вперед.

Своды подземного хода были низки, Козману пришлось итти согнувшись; так, склонив голову, пробирался он по мощенной булыжником подземной тропе.

А если встретит он кого-нибудь из прислужниц?

Тогда он скажет, что направляется в замок.

Ощупью пробирался вперед Козман. Царивший в подземелье густой мрак

не могли рассеять повешенные кое-где на стене чугунные светильники. По левую и по правую руку бежали рядами глиняные трубы, через каждые двадцать шагов поставлены были огромные водосборочные кувшины.

Так вот и шел вперед, пробираясь в полутьме, богатырь-монах, а услышав малейший шорох, простирался, как ящерица, наземь, продолжая свой путь ползком; лицо его и губы запылились, он обливался потом, но все же упорно двигался вперед, влекомый желанием еще раз увидеть хотя бы уголок глаза ту колдовскую красоту, которую приоткрыли перед ним грубые руки Рати Орбелиани.

Три тоннеля сходились у перекрестка, и когда Козман свернул в тот проход, что вел к дворцовой бане, он увидел где-то далеко впереди туманное сияние. Запах бани и горячего пара ударил ему в ноздри. Теперь нужна была особая осторожность, и уже не на коленях, а на животе пополз монах, стремясь к мелькавшему впереди свету; в кувшинах бурлила вода, биение собственного сердца раздавалось в его ушах.

У порога бани стояли три огромных кувшина и между ними наполовину вывернутая каменная плита. Монах скрылся за кувшинами и отыскал глазок для наблюдения.

В бане горели медные свечницы, но пар клубился в ней столь густо, что прислужницы, двигавшиеся в этом тумане, похожи были на привидения.

У западной стены висели на железных перекадинах три громадных чугунных котла. Под котлами и вокруг них бушевало пламя высотой в человеческий рост, вода из кувшинов по длинным рукавам с шумом стекала в котлы.

Кто-то кричал непрерывно из темного угла:

— Хартута, эй, Хартута, подлей холодной воды!

Выходила из клубящегося пара высохшая старуха в одном переднике, хваталась рукою за край на глиняном приводном рукаве, и стучала слишком горячую воду.

А когда Хартута приближалась к пыляющим под котлами кострам, казалось наблюдавшему из своего тайника монаху, что старая ведьма бродит вокруг огня. Она была волосата и опалена огнем; два безобразными кошелями болтались ее увядшие груди.

Как раз против Козмана на каменной скамье ничком лежала молодая женщина, Козман сперва не опознал ее. Лишь когда подошла к ней банщица Хартута и встала ногами ей на спину, звонко засмеялась женщина, и Козман узнал голос Дедисимеди.

В глазок было видно, как старая ведь-

ма мяла ногами обнаженное тело дочери эристава. Начала она от лопаток и спустилась по спине. Потом слезла на пол и стала бить ладонями нежное тело, звук ударов был слышен явственно. Дедисимеди смеялась серебристым смехом. Потом приподняла ее Хартута, посадила, прудела ей сзади подмышками руки, отгибала плечи назад, заставляла снова ложиться и точно так же отгибала ноги к спине. Прислужницы принесли полные ведра воды и обильно поливали тело дочери Липарита.

Когда все это кончилось, Дедисимеди встала и подошла к пылавшему под котлами огню. Теперь еще более громким казалось Козману биение собственного сердца. Лишь голова и шея Дедисимеди виднелась из клубившегося вокруг нее густого тумана.

— Подай мне коши, Хартута, — раздавалось приказание Мариам. Кто-то направился к двери. Козман сорвался с места, и выходящая из бани прислужница испуганно вздрогнула, увидев, как темная пасть подземелья поглотила метнувшуюся тень.

★

Всю ночь проворочался монах в постели без сна.

«Мир забыл, что под этой грубой монашеской рясой льется в жилах кровь Абазаидзе!» — думал монах.

Козман встал, зажег свечу в свечнице. Вынул из-за пазухи запечатанной рясы свиток, тайно присланный Варсимом Вардзели в Кутаиси для Липарита Орбелиани.

«Право же, лучше будет, если царь Давид прочтет его раньше, чем Орбелиани. Конечно, после этого Давид сам откажется от обручения. А потом? Снова пойдут посольства и переговоры между Триалети и Исфганью. Меня отправят к Баркиароку, а уж я сумею затянуть дело, протягну подальше и — кто ведаст? — быть может, отдаст провидение добычу ястреба грачу! Я сиюминутно с себя монашескую рясу, шадену дедовские доспехи, увезу Дедисимеди в замок Макабели — а там пусть попробует подслушаться кто похрабрей!»

В третий раз пропели петухи.

Пригрезилось монаху: на горе Зедазени¹ зажжены три костра, достающие до небес. Кругом воздвигнуты идолы из золота и серебра. Имеют уста и не говорят, имеют очи и не зрят, имеют ноздри и не обоняют, имеют руки и не осязают, имеют стопы и не идут, и не взывают голосами своими. На самой вершине стоит статуя Афродиты, по

¹ Зедазени — гора, монастырь вблизи Тбилиси, в дохристианскую эпоху там находилось капище идолопоклонников.

склонам горы коленопреклонно ползут к вершине несметные толпы людей. Вкруг костра и кумира пляшут юноши и девы Иберии.

Козман, прямой, не склоняя головы, поднимается по приторку. Мирская одежда одета на нем, панцырь цвета ржавчины прикрывает ему грудь и плечи, дедовский меч висит у пояса.

Он уже не Козман, монах, а надменный и высокогородный азнаур Саам Абазаидзе.

Вот приблизился к подножию Абазаидзе и видит: это Дедисимеди, а не Афродита стоит, улыбаясь, на пьедестале.

Простерся ниц гордый рыцарь и преклонился пред обеими запретными силами-искусительницами: силою огня и красотой женщины.

33

НЕДОВЕРИЕ?..

Притих и притаился Козман, почти ежедневно отправлялся он в Гегути, чтобы не встретиться с Рати. Липарит проводил дни в лагере, на войсковом учении, и как только узнавал Козман, что к вечеру ждут эристава в Гегути, он тотчас возвращался в Кутаиси.

Со дня на день ожидали во дворце царя Давида. Ему прежде всех решил показать монах письмо Варсима Вардзели.

Ов спросил Махару:

— Когда вернется царь?

Но у Махары были особые правила: не каждому отвечать на такой вопрос. В оправдание же говорил: «Пути охотников и царей никому не ведомы».

— Возможно, что царь не вернется еще в течение месяца, — ответил он монаху.

Козман заколебался в своем решении и в тот же день явился к сыну Липарита.

Рати бросилось в глаза, как изменился облик монаха. Прежде ходил Козман сутулясь, теперь же он вошел в дверь палаты, высоко подняв плечи. Обычно вклоченная борода Козмана была теперь тщательной причесана, черные, как смоль, кудри, падавшие на плечи, даже красили его, обычный густой налет перхоти не покрывал уже ворота его монашеской рясы.

Пожелав хозяину доброго дня, не ожидая приглашения, Козман присел к его изголовью, подал свиток и добавил спокойно:

— Из Исфгани, великий эристав, от Варсима Вардзели пришло письмо.

Рати вскочил, словно ужаленный, развернул свиток и, пробежав его, спросил:

— Когда получено письмо?

— Третьего дня, — солгал Козман.

— Третьего дня? Где же ты был до сих пор?

— Трижды приходил я к тебе, эристав, и не мог застать одного: то лекарь Карсанидзе, то постельничий монах Анфимоз сидели в твоих покоях. Да не падет твой гнев на меня, великий эристав, — я предпочел остеречься. — И, оглянувшись на поставец со слоновьими ножками, кинув быстрый взор на входную дверь, продолжал шопотом: — Напрасно воображаем мы, триалетцы, будто живем одни в Кутаисском дворце. Кругом кишат лазутчики и шпионы царя Давида. Говорят, даже с царицы Мариам не спускают они глаз. Никак не удавалось мне уединиться с тобой. Потом попытался я отвезти письмо великому эриставу Липариту в Гегути: один день он проводил на войсковом учении, другой — на кабаньей охоте с царем Георгием. Лишь однажды удалось мне найти его в Гегути, да только проклятый Махара никак не хотел отойти от нашего господина. Тщетно кружился я вокруг да около.

— А где теперь этот полоумный старик?

— Сегодня пожаловал из Гегути. Он может забрести и сюда, схорони лучше этот свиток. Слух у царских лазутчиков остр, они слышат даже сквозь каменные стены.

— Я прячу все, что нужно, в поставце царицы Мариам, но и Мариам не заслуживает доверия. Лучше зашей-ка ты, Козман, это письмо в свою заплатанную рясу, — сказал Рати.

— Ты прав, великий эристав! Иногда заплатанная монашеская ряса сохраняет золото или тайну лучше, нежели железные ларцы царей и эриставов, не правда ли?

Монах положил свиток обратно за пазуху, подвинул кресло к ложу и сказал сыну эристава:

— Хорошо, что я сам следил из-за ограды за дорогой, ведущей к воротам замка. Уже издаека узнал я триалетского гонца и едва не сбился с ног, торопясь, дабы встретить всадника перед храмом Баграта. И все же узнали во дворце о приезде гонца из Триалети. Вчера ночью призвала меня царица Мариам. Но напрасно считала она меня простецом. Сначала она улещивала меня, спрашивала, не пойду ли я в игумены монастыря Пропонтиды. Я поблагодарил, но отказался, сказал, что епископ Досифей готовится к смерти, возможно ли променять епископскую кафедру на клобук настоятеля монастыря? Потом обещала она послать меня в Иверийский монастырь на Афоне. Наконец, неожиданно задала вопрос: правда ли, что к Орбелиани прибыл из

Триалети гонец? Я отрицал, сказал, что никакого триалетского гонца не видал ни разу за все время пребывания моего в Кутаиси.

Рати встревожился. Опершись локтем на ложе, взволнованный, с расширенными глазами, он спросил монаха:

— Откуда же узнала, проклятая, про письмо?

Козман отвел взор, ответил:

— Только что кончилась вечерня и молящиеся вышли из храма, как откуда-то появился безбородый бес: вероятно, приметил он где-нибудь гонца. Еще не отъехал гонец на расстояние полета стрелы, как уже Махара бросился ко мне и спросил, не получили ли мы свитка из Исфагани? Я притворился непонимающим, удивился, — о каком свитке идет речь? «Тот всадник, — сказал я ему, — лишь спрашивал у меня дорогу в Таквери».

Рати лежал молча, потом приказал монаху:

— Одень меня скорее.

Уже одетый, сказал он Козману:

— Прикажи оседлать лошадь и как можно скорее приведи ко мне моего отца и триалетских азнауров.

Еще не вышел из палаты Козман, как просунулась в дверь козлобородая голова управителя Цинцилука.

Царица Мариам звала к себе сына эристава. Рати поморщился.

Царица сидела за золотым столом. Перед нею стоял серебряный кувшин и серебряное же блюдо, наполненное сладостями. В руках у нее был развернутый свиток, который она пробегала глазами.

При виде Орбелиани, она не спеша свернула свиток, взяла его на левую руку и попросила Рати сесть.

Дедисимеди сидела тут же рядом, перелистывая псалтирь. Рати преклонил колено перед царицей, дважды приложился к ее рукам и, потирая ладони, сказал:

— Странная весна в Кутаиси, августа. Пасха уже на дворе, а все еще холодно в палатах.

Мариам подала знак Дедисимеди, чтобы та оставила ее наедине с эриставом, приказала факельщикам зажечь свечи в золотых канделябрах и удалиться.

Рати все посматривал на свиток в руках царицы.

Мариам заметила это и сказала спокойно:

— Только что привезли письмо от царя Давида.

Любопытство овладело Рати.

«Где же государь?» — хотелось ему спросить, но он удержал слова, готовые сорваться с языка, и только сказал:

— Как видно, дороги уже открылись. Мариам заговорила:

— Завтра отправляемся мы с Дедисимеди в Моцаметский монастырь с небольшой свитой. Перед отъездом хотелось мне, эристав, побеседовать с тобою откровенно о некоторых обстоятельствах. В Пегути я приложила немало стараний, но в суете и тесноте тамошнего дворца не могла улучить минуту побеседовать наедине с эриставом Липаритом. Мать твою, госпожа Ката, последнее время стала неразговорчива со мной, хотя я не знаю, право, чем я заслужила в вашем семействе такое, я сказала бы... — здесь царица остановилась и закончила, произнеся почти по слогам: — недо-верие.

— Недоверие? Сохрани боже, так ли я понял тебя, августа? Не ты ли являешься с давних времен августейшей покровительницей нашего дома? Недоверие? Да пусть обрушится на нас в гневе небосвод, если кто-либо из нас позволит отнестись к тебе с недоверием! Наше семейство — и недоверие к царице Мариам!.. Да совместимо ли это? — говорил Рати.

— Я со своей стороны, — невозмутимо продолжала Мариам, — перенесла немало огорчений ради вашего семейства. Ты, вероятно, знаешь, эристав, что любимая невестка моя, великая государыня Елена, и по сей день на меня обижена. Вероятно, дошло до твоего слуха, предметом скольких осуждений, порицаний и пересудов оказалась я только за то, что способствовала пострижению несчастной Русудан, бывшей царицы. Но знает всякий — я никогда не боялась хулы, если чувствовала себя правой пред господом и людьми!

Улучив минуту молчания, Рати сказал:

— Пусть отсохнет язык у того, кто посмеет осуждать тебя, августа!

— Я уже сказала тебе, эристав, что не страшусь хулы, но я женщина и мать взрослого сына и поэтому я не могла остаться равнодушной к скорби несчастной матери, которая отказалась от мира, оставив во дворце своего горячо любимого первенца. Господь мне свидетель, когда привезли из Осетии царевича Деметра, я три ночи не могла заснуть и каждый рассвет встречала в слезах.

— Кто же не знает твоего любвеобильного сердца, о счастливая августа, — снова заговорил Рати, — ужели есть у тебя хоть тень сомнения, государыня, в том, что наши сердца переполнены благодарностью к тебе за твое августейшее заступничество? Я безмерно горжусь, что благодаря тебе не сегодня.

завтра станет нашим зятем паниперсебаст Давид, царь абхазов и грузин.

Чуть-чуть раздосадованная нетерпеливостью Рати, приподняла брови и невозмутимо продолжала свою речь Мариам:

— Этого мало, эристав. Дурные вести идут из Византии. Кесарь воюет с печенегами. Весьма возможно, что сын мой Константин Порфирородный, будучи кесаросом Византийской империи, сопровождает на войне императора Алексея, хотя он совсем еще мальчик. А кроме того, любимый племянник мой не побоялся метелей и бурь и отправился воевать.

«Уж не на эристава ли Дзагана попал царь Давид?» — подумал Рати и воскликнул:

— Воевать? Что ты изволишь говорить, августа? С кем же воюет царь Давид?

Царица положила свиток на стол и сказала:

— Сельджуки напали в Джавахети на владения Бешкена и Джакели. Царь Давид сообщает мне, что вторгшиеся войска сельджуков обращены в бегство и уже изгнаны за пределы грузинского царства.

Пораженный неожиданным известием, Рати не мог пошевелить языком.

Подумал только: «Вот где неверие! Царь Давид отправляется исподтишка на войну, и до самого дня победы об этом не сообщают Липариту Орбелиани, полководцу державных войск!»

— Я и Дедисимеди проводили ночи в неустанных молитвах, и это, вероятно, понятно тебе, эристав?

И это было не по душе младшему Орбелиани, но он предпочел промолчать.

— Я должна сказать тебе, эристав, что сестра твоя — добрый ангел вашего семейства. Лишь такая чистая и непорочная душа, как Дедисимеди, способна погасить огонь извечной вражды между домами Багратионов и Багуаш-Орбелиани. Я верю в это и потому не жалею своих стараний. Из расположения к вашему семейству и, конечно, движимая безграничной любовью к моему племяннику, не постыдилась я взять на себя унизительную роль свахи. Правда, женщины обычно не стесняются таких дел, но я никогда не имела ничего общего с женщинами этого рода. Недавно пригласила я твою мать Кагу и пыталась успокоить ее тревогу: кутаисского архиепископа здесь нет, а что касается католикоса Евстратия, то я уговорила его — номоканон можно будет преодолеть. Я сказала о скором обручении в уверенности, что доставлю матери твоей радость этой вестью. Но вместо это-

го я услышала лишь пустяшную отговорку: «Пусть сначала выздоровеет мой сын», — сказала мне Ката.

Рати покраснел, а царица умолкла, ожидая ответа.

— Ужели хотя бы малейшее подозрение могло зародиться в тебе, августа? Ужели среди нас найдется кто-нибудь настолько неблагодарный, чтобы не понимать, что ты послана небом нашему дому, подобно голубу, несущему малочисленную ветвь. Пусть только удастся преодолеть номоканон, а других препятствий к обручению нет. Ты — любящая мать, августа, и сердце торопит тебя обратно в Византию, — это понятно и нашему низкому разуму. Но скажи мне, ужели, государыня, ты уедешь, не осмотрев до отъезда храмы и монастыри, построенные твоим же радением, твоими же щедротами? Не говоря уже о других, манглиский епископ проклянет в этом случае меня и моего отца. Пожалуй же к нам в Триалети, помолись, по своему обычаю, в святых местах, отведай убогого хлеба-соли нашего дома, а после этого что же может помешать обручению? Сам я — ничтожный прах царствования твоего — разостлался бы ковром под твоими стопами, великая государыня. Мне безразлично, где состоится обручение, в Кутаиси или в Липаритис-Убани, но родители мои — пожилые люди, они непреложно блюдут обычаи, дошедшие до нас с незапамятных времен.

Лыстивое красноречие Рати усыпило подозрения царицы Мариам. И еще в одном уверилась она: именно, что не Липарит, не Ката, а Рати вращает рулевое колесо на корабле рода Орбелиани.

Когда сын эристава Липарита покинул покои царицы, Мариам чистосердечно решила: и в самом деле, было бы несогласно обычаю совершить обручение в Кутаиси.

— Он совсем глуп, этот бедный Махара! — подумала царица.

Это Махара уверял Мариам, будто теперь Орбелиани будут уклоняться от прямого ответа и оттягивать обручение в ожидании каких-то больших событий.

— Он, наверное, сам все выдумал про письмо Варсима Вардзели, полученное будто бы из Исфгани! — почти громко прошептала Мариам и расшевелила щипцами дремавший в камине огонь.

Постельничий монах Анфимоз привез Махаре известие из Гегуги: виночерпий заманили Козмана в погреб Антония кутаисского, напоили его и заставили

проболтаться: оказывается, получено письмо от Варсима Вардзели из Исфгани.

Махара приехал в Кутаиси и весь день тщетно искал Козмана. Поиски начал он со дворца кутаисского архиепископа. Слово привидение, бродил он по пустым палатам, прислушивался к разговорам челяди, подстерегал шептавшихся в проходах монахов, учтиво приветствовал каждого, расспрашивал, нет ли каких-нибудь новостей? Но лишь рассказы о землетрясении¹ и паводке были у каждого на устах.

Белый посланник из Эдессы привез предсказание: на пасху ожидают землетрясения столь необычайной силы, что звезды посыплются с неба, подобно листьям смоковницы, а что будет с землей в это время — про то никому неизвестно.

Махара отправился в царский дворец и сперва забрел в хлебопекарню.

Обыгранный с ног до головы мжукою пекарь, по имени Хота, месил тесто в ларе, а Маглия свесился в торню¹, и только ноги его торчали в полумраке. Когда Махара вошел в пекарню, Маглия кончил приклеить сырых лавашей к стенкам. Выбравшись из торни, он стал на ноги.

— А я думал, Маглия, что ты решил отныне ходить не иначе как вниз головой, — пошутил безбородый.

— Я-то ничего такого не решил, сударь, а вот мир, кажется, собирается перевернуться вверх ногами, — ответил пекарь.

— А что случилось, Маглия?

— Вчера ночью мельники замесили в небе хвостатую звезду, да и монахи предсказывают, что страшное землетрясение будет нынче на пасху, сударь!..

— А больше ты ничего не слышал, Маглия?

— Ничего, сударь, да продлит господь твои дни; да и откуда бы нам набираться новостей — день-денской трудимся, свесившись головой в горячую торню.

Главного дворецкого повстречал Махара в плодовом саду, спросил его, не видел ли тот Козмана?

— Как же, мелькнул у меня перед глазами, возвратился из Гегути монах.

Перед царским погребом три простолюдина сидели на бревнах — два винодела и мясник Хвтисавар. На коленях у чашика Грубелы лежал бурдючок, а Патаркаца протягивал Хвтисавару вино в небольшом роге молодого бычка.

¹ Торня — грузинская пекарня. Пекарь опускается головой вниз в цилиндрическую яму и руками прилепляет к раскаленным стенкам торни грузинские лепешки — лаваш.

Как только увидели они Махара, вскочил Хвтисавар, загородил ему путь, поклонился.

— Удостой нас своим вниманием: вышей рог вина!

Сперва отказывался безбородый, говорил, что сердце пошаливает. Но когда приступили к нему с просьбой и двое остальных, старик не захотел их обидеть, присел на бревно. Опил вина и изумился.

— Это не царского погребца? — спросил он.

— Настоящее такверское магдари, клянусь святым Георгием, — побожился Патаркаца. — Привез мне его мой отец.

Простолюдины повели беседу о землетрясении.

— Я немножко смыслю в толковании небесных знамений и не думаю, чтобы в нынешнем году случился тряс на земле, — успокоил Махара своих собеседников.

Хвтисавар попробовал вина из рога, но вдруг отнял его ото рта и крикнул:

— А вон идет Козман, уж он-то, наверное, знает о землетрясении. Поднесем винца монаху.

Удивился Патаркаца: разве пьет вино монах?

— Не откажется, клянусь его головой. В субботу вечером затащили его мы с Грубелой в погреб Антония кутаисского и напоили так, что не мог он отличить правую руку от левой. Говорят, он еще в монастыре был пьянчугой, потому и не добыл епископскую митру, — сказал Хвтисавар.

— А разве епископы не принимают вина? — спросил Патаркаца.

— Пьют, но с умом, не так, как наш брат. Столько вина, сколько хлебнул в своей жизни архиепископ Антоний, не выпил и наш старший виночерпий, — ответил Хвтисавар.

Махара наострил уши и шепнул Хвтисавару:

— Так это ты напоил в субботу монаха?

— Я вместе с Грубелой, сударь, а третьим был с нами — виночерпий архиепископа Антония, Бартия.

— Так это при вас хвастался Козман, будто получил письмо из Исфгани?

— При нас, сударь, клянусь нашим солнцем, — ответил Хвтисавар и наполнил рог безбородому. Махара опорожнил рог и похлопал по плечу Патаркацу:

— А ну-ка, беги — дай бог тебе скорее вырасти — догони монаха, попроси его выпить с нами за наше здоровье!

Чашник через минуту вернулся:

— Отказывается монах, говорит, что торопится к своему господину.

— Ну, тогда пооди, прикажи ему моим именем явиться сюда немедленно.

Козман подошел бледный, согнув спи-

ну и не осмеливаясь взглянуть в глаза Махаре.

Благословил сидящих, но к вину не прикоснулся, извинился:

— Липарит с триалетским азнауром уезжают послезавтра, до питья ли мне нынче.

— Не заботься об этом, — успокоил его Махара, — завтра вернется царь Давид, еще на неделю задержит гостей в Кутаиси.

Махара понял: на виду у людей монаха пить не заставишь. Встал и сказал Грубелу:

— У кого ключи от погреба?

— Ключи-то у меня, сударь, да только если узнает смотритель погреба — не сдобровать мне.

— Какое дело смотрителю погреба до тебя и твоих ключей, если я с вами?

Войдя в погреб, Махара приказал Патаркаце запереть двери изнутри, Грубела снял с полки прошлогодний курдюк.

Когда отведади вина, Махара хлопнул Козмана по плечу и сказал:

— Говорят, знатно ты выпил в погребе Антония! А хороши, не правда ли, вина у этого козлородного попа?

— Уж как хороши! — ответил Козман и пальцами, словно граблями, прочесал свою черную бороду. — Когда будет у меня епископская кафедра, пожалуйста в гости в мой погреб!

— А ну-ка, сбегай, приготовь нам поскорее шашлык, — приказал Махара Хвтисавару. Патаркацу он послал за горячим лавашем, а Грубелу отрядил за сушеными фруктами.

Оставшись наедине с Козманом, Махара снова наполнил рог, поклонил монаха по плечу и сказал:

— Пей, и да попадешь ты в царство небесное!

— Не надлежит иноку упиваться вином, — сказал Козман.

— Брось чиниться! Даже константинопольский патриарх Ксифилл и тот не отказывался от вина.

Махара налил себе, опорожнил, вновь наполнил рог и, держа его в руке, сказал:

— Знаешь что, Козман? Если ты хочешь в самом деле добиться епископской митры, покажи мне сейчас письмо, что привез гонец из Исфгани. А не то... надеюсь ты слышал об Анаморе? Он тоже был монахом, этот Анамор, и постельничьим Липарита Третьего, но это не помещало Баграту куропалату вздернуть его на дыбу. Теперь выбирай сам, что ты предпочитаешь — дыбу или епископскую кафедру?

Козман побледнел, попытался обратиться слова Махары в шутку.

— Да нет, я не шучу, монах, клянусь своей головой.

Козман не растерялся и теперь.

— Мне передал это письмо Рати, клянусь гробом спасителя. Я сам, без твоего приказа, хотел показать его царю Давиду, да только сейчас нет со мной письма; когда приедет царь, будь мне заступником, чтобы допустил он меня пред свои очи, я сам представлю ему письмо. Я уже сыт по горло службою у Орбелиани. Десять лет я в рабстве у них, все обещают сделать епископом — а цацкинский епископ и не думает умирать.

Махара подал Козману еще один рог. Монах опрокинул его себе в горло и сказал шопотом:

— Я скажу тебе еще больше, если ты не выдашь меня: нынче вечером триалетцы будут держать совет во дворце Леона — я узнал об этом случайно. Сегодня в храме царя Баграта служит католикос, а после вечерни будет, вероятно, ужин у Липарита.

Шашлыки, принесенные Хвтисаваром, еще более возбудили жажду.

Хвтисавар, опорожнив свой рог, сказал: — Эх, государь мой, все равно, земле недолго осталось жить, так уж пусть потоп не застанет нас трезвыми!

Подождав, пока монах опорожнит в свою очередь рог, сказал Махара:

— Утопающий иногда хватается и за плывущую рядом змею, — но знаешь ли ты, монах, хоть кого-нибудь, кто бы достиг спасения этим путем?

Козман был уже пьян и на притчу ответил притчей:

— Эх, Махара, бесценный мой, и тому, кто не жалует себя на царской службе, не легко сохранить на плечах голову.

Махара понял тайный смысл иносказанья, взгляделся пристально в узкие глаза Козмана и сказал ему, чуть изменившись в лице:

— Ты в мире был Абазаисдзе, не так ли?

— Абазаисдзе я и сейчас, — гордо ответил монах.

— Я знаю и то, что ты сын Сумбата, не правда ли? Это ведь твой дед Ваче сопровождал Чанчахи Фалели, когда тот отправился в Византию, привел с собою войска императора Константина и передал грекам крепость Церепи? Тогда схватил Баграт куропалат Ваче Абазаисдзе, отсек ему нос и держал на цепи в кутаисской темнице в течение трех лет. Ты не видал никогда кутаисской темницы?

— Нет, не видел.

— Когда идешь подземельем к бане, то по правую руку открывается вход, ведущий ко дворцу Багратионов. Прой-

дешь этим ходом до конца и попадешь в эту самую темницу. На стенах там и теперь еще висят оковы толщиной в руку. Вот там-то и был прикован к стене твой предок Ваче Абазаидзе.

— А мне приходилось слышать в детстве, будто в лесу возле Кваши Вача Абазаидзе разбил в сраженные Баграта куро-палата, — сказал монах.

— Подвинься-ка поближе ко мне, что это у тебя выросло на носу?

На кончике носа росли у Козмана с самого детства три волоска. Протянул Махара руку и вырвал с корнем эти волоски.

От боли брызнули слезы у Козмана, но и это принял он якобы за дружескую шутку. Протрезвившись мгновенно от боли, постарался загадить впечатление от своих необдуманных слов:

— Хочет венчаться царем эристав Липарит, а потому нельзя мне терять времени.

35

АЗ ЕСМЬ ЧЕРВЬ, А НЕ ЧЕЛОВЕК

У Махары болела голова, хмельной, едва волоча ноги, плелся он по аллее. То, что услышал он в этот день, не вместились в его сердце. А из близких людей во всем Кутаисском замке не было в этот час никого, кроме царицы Мариам.

Управитель Цинцилук показался из дверей Леонова дворца.

— Царица Мариам и Дедисимеди отправились в Моцамети¹ помолиться, — сообщил он старику.

Махара собрался было повернуть во двор, да вспомнил — быть может найдется у Мариам средство унять головную боль?

Дверь большой палаты была открыта. Махара заглянул — палата была пуста. Пошел, открыл дверцу на слоновьих ножках, тщетно рылся в нижних ящиках. Потом распахнул двойную дверцу. Приятный мускусный запах ударил ему в ноздри; громадный шкаф был весь наполнен одеждой. В одной половине висели платья царицы Мариам: отделанные драгоценными камнями лори, сакко, шелковые накидки; в другой половине — яркие, цветные кабачи¹ Дедисимеди, ее кисейные покрывала, сорочки для купанья, платья для верховой езды, седла и катиби² куньего меха.

В среднем ящике лежали серебряный панцырь Рати Орбелиани, огромные ковровые мешки, полные добра, и переметные сумы. Один из этих мешков

вытащил Махара наружу и бросил в темном углу, позади шкафа.

Услыхав приближающиеся шаги, Махара вошел в шкаф и неплотно прикрыл за собой дверцу. Прислушавшись и убедившись, что никто пока не собирается войти в палату, он положил усталую голову на какой-то мешок и притих. Чувствовал, как сладким сном обволакивает его хмель.

Он очнулся от звона посуды. Взглянул в замочную скважину: трилетцы сидели вокруг накрытого стола, чаша, полная вина, переходила из рук в руки. Не было видно в палате слуг со светильниками, лишь две золотые свечницы с зажженными свечами сияли в середине и в конце стола.

Супруга эристава Ката, чем-то обеспокоенная, то и дело выходила из палаты.

Махара услышал голос Липарита:

— Так ты думаешь, во дворце не знают ничего о письме Варсима Вардзели?

— Ничего, — отвечал Рати.

— И царица Мариам ничего не подозревает?

— Расспрашивала она Козмана, как я уже говорил тебе.

Заскрипела дверь. Чапники принесли сосуды, наполненные вином, поставили перед пирующими и ушли.

Рати осушал одну чашу за другой.

— Я узнал еще новость, — сказал Липарит вполголоса, — эристав Гуарам прислал письмо в Гегути. Алексей Комнен еле спасся от поражения, в последнюю минуту помогли ему половцы.

— А еще что пишет Гуарам, не ведет ли он с собою половцев к нам, в Грузию? — спросила Ката.

— Половцы перебили печенегов, а потом сами испугались кары императора и поспешили в свои степи.

— И то неплохо, не правда ли? — сказала Рати.

— Так значит эристав Гуарам и Бакуриани не смогли сговориться с половцами? — спросила Ката.

— Этот дурак, цилканский епископ, пустился за ними вслед, и никто не знает, куда он делся, жив или убит.

— Выходит, что обманули царя надежды на войско наемников? — вот что хотел знать Рати.

— А теперь расскажи нам, отец, как удалось тебе прочесть письмо эристава Гуарама? — спросил он попотом.

— Я подполз во время охоты царя Георгия, и он рассказал мне все, попросив, чтобы я не проговорился царю Давиду, — отвечал Липарит.

— А договорился ли ты до чего-нибудь с эриставом Вешагом? — продолжал спрашивать младший Орбелиани.

— Ты знаешь, как людно в Гегутском дворце; было трудно найти случай для

¹ Кабачи — женское платье.

² Катиби — шубка без рукавов, кацавейка.

деловой беседы. Этот безбородый дьявол не сводил глаз с моего рта. Вешаг недоволен: говорит — ни о чем, кроме войны, не думает царь Давид; если плясать под его дудку, так не останется времени ни для охоты, ни для пиршеств. И все же колеблется Вешаг, боится, как видно, эристава такверского. Чкондидели, этот злейший демон, собирает исподтишка полки. При мне Давид говорил, будто бы послала его царица Мариам для восстановления разрушенных землетрясением храмов.

Стольники поставили на столы подносы, полные плодов. Когда дверь скрипнула еще раз, Рати начал опять:

— Говорила со мною об обручении царица Мариам. Казалась очень взволнованной, словно настоящая обманутая сваха. Кое-как удалось мне умаслить ее, даже убедить, что обручение должно непременно состояться в Триалети. — Рати повернулся к азнауру Махароблидзе: — Ты помнишь, Мамиствала, натасканного ораенка, что была у моего отца в Липаритис-Убани? Сначала мы заставляли его летать, потом показывали ему прилуку, подзывали его манком, и когда подлетал он, ловили и вырывали пух из-под крыла, чтобы он постепенно забыл свою дикость. Знай, Мамиствала, что сестра моя Дедисимеди — прилука в руках нашего семейства. Дай только заманить в Кадекарский замок венценосного зятя моего, нашего государя, а уж я берусь потом выщипать у него пух.

— Не кричи так громко, как бы не подслушал кто, — сказала сыну Ката и вышла из палаты.

Рати осушил еще одну чашу, снова наполнил ее и передал здравницу Цихелаидзе, сам же сказал Липариту:

— Жаль, что мы находились здесь, в крепости, пока он сражался с сельджуками в Джавахети: нужно было нам быть вместе с ним и вонзить ему меч в спину!

— Еще много времени впереди! — не возмущимо заметил Липарит.

Рати поднял большой рог, пожелал здравия Липариту; он был уже хмелен и обращался к триалетцам, еле стоя на ногах:

— Азнауры мои, вы — внуки и правнуки тех отважных, кто не раз побеждал в бою Багратионов. Царь со своими эриставами не мог победить нас в игре в мяч на конях, и в битве тоже они не смогли устоять перед нами. Когда брошенная мною лапта поранила царя, я притворился огорченным, подошел и по-

целовал ему руку. Я попробовал его кровь. Солоня оказалась кровь Багратионов; и сейчас я жажду ее, азнауры! Баграт куропалат ускользнул от моего деда Липарита Третьего, но пусть я не буду называться Рати Орбелиани, если оставлю хоть одну лазейку для бегства Давиду. Что касается обручения, напрасно тревожитесь, друзья мои. Пусть не только с сыном султана Баркиароком, а хотя бы с грязным водовозом разделит ложе сестра моя, лишь бы не помогла она продолжить выродившийся род Багратионов. Царевич Деметре болезнен, сам Карсанидзе не мог выяснить, почему он мочится кровью. Давиду придет конец от моей руки, и останется один лишь безумный Махара законным наследником престола. Верь мне, отец, на следующий же день после этого ты будешь венчан на царство во Мцхете.

— Многие лета царю! — воскликнул Мамиствала Махароблидзе и протянул рог Липариту.

— Многие лета царю! — закричали и остальные азнауры-триалетцы.

Не успел осушить своего турьего рога Цихелаидзе, как из шкафа вывалился Махара, ударил кулаком по золотому столу и крикнул:

— Многие лета царю!

Триалетцы испугались, иные повскакали с мест.

— Садитесь, садитесь, — пригласил Махара гостей, — во дворце Леона ныне хозяин я. Вы ведь пили за здоровье царя Давида, не правда ли? Рати, наполни мне рог!

Так кричал Махара, с трудом открывая заспанные глаза.

— Вы так тут нашумели, что даже разбудили меня, хмельного! — прибавил безбородый и осушил рог.

Триалетцы и впрямь убедились, что от последней здравницы проснулся Махара. Все знали его обычай: засыпать там, где его застигает хмель, это ободрило эристава Липарита, и он, улыбаясь, сказал старику:

— Зачем это ты забрался в шкаф, Махара? Ты кто — червь или человек?

Тут Махара сам наполнил рог вином, осушил его разом и, словно подкошенный, упал на ложе.

Когда волоки его слуги из палаты, гуды скопца пробормотали нетвердо:

— Аз есмь червь, а не человек!

Еще не кончился пир, когда зашел в палату монах Козман. Он успокоил триалетцев:

— С самого утра пьянствует безбородый дьявол!

(Продолжение следует.)

НАКАЗ И КЛЯТВА

АНТОН БЕЛЕВИЧ

★

1. ПИСЬМО СЫНУ

— Ну, теперь уж понятно и мне:
быть не долго тебе на войне,
исходил ты немало дорог.
Пусть тебе на чужой стороне
помогает солдатский ваш бог.

Пусть снарядов тебе поднесет
и от пушек пусть танк твой спасет,
пусть сквозь бой он тебя проведет
по лесам, по колючке сплошной.
Всей душой
мы с тобой,
дорогой, —
всей семьей!

Чтоб скорее вернуться с войны,
делай шаг ты двойной ширины,
хоть и много изведал дорог
как ушел за отцовский порог.

Много дней с той минуло поры,
три зимы заметали боры,
клали синий на озеро лед;
и пытал я с утра до зари:
— Где вы, хлопцы мои, плугари?
— Скоро ль кончится долгий поход?
— Скоро ль, скоро ль в дубровском логу
вновь косцов повстречать я смогу
и услышу звон кос?

И покуда в семейном кругу
нет тебя — на дубровском лугу
Василек,
твой сыночек,
как дубок,
за три года подрос...

Постарался б узнать ты, родной,
где там братья воюют твои;
третий месяц бои и бои,
мать давно потеряла покой;
нет вестей из сторонки чужой.

Шлет поклон тебе наша семья,
Ксана, мать, и сестренка, и брат:
— Возвращайся с победой назад!

И наказ свой даю тебе я:
— Боль мою
и обиду свою,
гнев и ненависть павших в бою
у червонных кровавых калин —
пронести сквозь бой на Берлин!

Мы с тобой в последнем бою
в ненавистном немецком краю;
видим: мчишься в дыму и в огне;
и теперь уж понятно и мне —

скоро ступишь на отчий порог...
 Так пускай же тебе на войне,
 помогает в чужой стороне
 ваш гвардейский удачливый бог!

2. ОТВЕТ ОТЦУ

— Не забуду я просьбу твою,
 скоро к Шпрее дорогу пробью
 и с боями ворвуся в Берлин.

Не один я иду, не один;
 рядом — те, что в родимом краю
 полегли за отчизну свою
 у червонных калин.

День и ночь мы в походе, в строю,
 по снегам, по завалам, в бою;
 ни разуться, ни скинуть сапог.

— На Берлин!
 — На Берлин!
 — На Берлин!

Не один я спешу, не один;
 на Берлин вся Россия идет,
 всех нас ненависть в битву ведет —
 неподкупный наш бог.

Жадно немцы живут;
 у реки
 городки вдоль дорог, городки,
 невеселый и тощий сосняк;
 не по-нашему всё тут, не так.

Разве ж есть у них запах такой
 золотистый,
 смолистый,
 густой,
 вот как бор у нас пахнет сквозной
 поздним летом иль ранней весной?

Всё не так тут — куда ни взгляни,
 и забыть не могу я все дни
 наших снежных дубровских лесов
 и старинных, в дубах, большаков;
 и кричу я танкистам:
 — Гони!

Мчатся танки средь снежных равнин:
 — На Берлин!
 — На Берлин!
 — На Берлин!

Не один я спешу, не один;
 на Берлин вся Россия идет,
 всех нас ненависть в битву ведет.

День и ночь мы в походе, в строю,
 по снегам, по завалам, в бою;
 ни разуться, ни скинуть сапог,
 пока с разных дорог
 до ворот бранденбургских в огне
 не пробьемся на жаркой броне.

Слышишь: пушки гремят в стороне —
 наш военный прославленный бог!

Мать скорей успокой:
 братья вместе со мной,
 и Петрусь, и Михась, и Томаш —
 наш
 родной
 боевой
 экипаж.

На дорогах чужих под огнем
свою службу мы честно несем
и привет свой с чужбины вам шлем,
свой сыновний поклон,
Нам недолго дороги топтать,
быть в разлуке с семьей и вздыхать
по родной стороне,
по жене,
тосковать,
вспоминать
вас сквозь сон.

Сотни вёрст мы с боями прошли,
но забыть не смогли
детских троп на сторонке родной;
там доньине я всею душой,
где на тихие воды легли
ветви верб над родною рекой.

Пусть гуляют и жмут колода
и дымит из мотора вода,
пусть позёмка пылит у дорог,
но душою я рвуся туда —
в наш дубровский, над Неманом, лог.

Снится часто мне наша семья,
вместе с вами в Дубровке и я:
возле Немана косим мы луг,
блещут косы вокруг,
и поёт-запевает жнея:
— Ой, полоска, полоска моя,
буду жать пока день не потух!

Будто: ставлю я сеть у реки,
клонит цапля крылом тростники.

И стою и люблюяся я:
ловит сын мотыльков у ручья,
и порхает, летит мотылек!

— Василек,
мой сынок,
вырос ты без меня, как дубок!

Не дозваться никак Василя,
и стою и задумался я,
а над нами — речной ветерок.

Наяву, а не в думах и сне
это будет, — недолго уж мне
почевать у солдатских дорог,
ворочусь я на отчий порог.

А пока на войне,
на далёкой чужой стороне
не забуду я просьбу твою:
скоро к Шпрее дорогу пробью
и с боями ворвуся в Берлин.

Не один я спешу, не один;
на Берлин вся Россия идет,
всех нас ненависть в битву ведет,
рядом — те, что в родимом краю
полегли за отчизну свою
у червонных калин.

Перевел с белорусского Д. ОСИН

ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАПИСИ

А. РУБАКИН

★

ЧАСТЬ 1-ая

1. НА ПОРОГЕ ВОЙНЫ

Февраль 1941 г. Зимний вечер. Мы сидим в квартире — темно, холодно и голодно. Ледом веет от мертвых радиаторов отопления. Плотны закрыты ставни окон, затянута занавеска. За малейший проблеск света на улице штраф 1.000 франков. На улице темно, так темно, как бывает только где-нибудь на море, в бурю, в осеннюю ночь. Ни звука. Изредка слышны тяжелые ритмичные шаги немецких патрулей — их не спутаешь с другими шагами.

Все кафе и рестораны закрыты с десяти часов вечера. Порой из окна, погасив свет в комнате, и отогнув занавеси, можно видеть темный силуэт прохожего; поблескивает синий свет «затемненного» электрического фонарика. Белеет краска на тротуарах, на черных стволах деревьев, на фонарных столбах. Так теперь живет вся Европа. Европа 1941 года.

Порой слышен шум и фыркание мчащегося с затемненными фарами германского военного автомобиля. Порой, грохоча и пытая, тянутся по асфальту грузовики, танки, бронетранспортеры. На них смутно вырисовываются черные очертания людей в шлемах, с винтовками. Боязливо шмыгнет велосипедист, бросая синий дрожащий свет своего фонарика на мокрый асфальт. Дома, как скалы в ущелье, стоят черные, безглазые, мрачные. Весь город молчит, молчит вся Франция.

Она прячется в нетопленных квартирах, за ставнями, за занавесками. Там, внутри домов, накинув на себя пальто или одеяло, обступив приглушенный радиоприемник, люди жадно слушают французский голос из Лондона.

Это Париж, Париж зимы 1941 г.

Год назад он был полон людей и машин, бурлил жизнью. Поток автомобилей захлестывал узкие улицы, разбегаясь ручьями по окрестностям. Разве можно было представить себе Париж без автомобилей, без шоферов, без их едкой и остроумной перебранки?

Войну в то время перестали принимать всерьез. Раз навсегда решили, что эта война странная, чудная («drôle de guerre»), и решив,

как будто успокоились. Было неизвестно, чем кончится война, как неизвестно было, почему она началась. С фронта не сообщали ни о продвижении, ни о наступлении, не было ни воздушных боев, ни артиллерийских дуэлей, ни раненых. Каждая семья имела родных на фронте. О них перестали беспокоиться.

Правительство как будто не знало, что делать. Война велась, но не с тем противником, с каким хотело воевать правительство. Пока что, оно создало концлагери и сажало в них русских и других иностранцев, сажало французоз, расправлялось с непокоренной Францией Народного фронта. С фашистами правительство не воевало: война шла на внутреннем фронте. Били по русским, хотя воевали с немцами.

И никто не подозревал, что меньше чем через год великая Франция исчезнет, а останется только несчастная разоренная немцами страна, без правительства, без армии, сложенная и подчиненная грубому немецкому кулаку и кучке предателей.

В один месяц Франция рухнула, почти без сопротивления. От Лилля до Марселя, от Бреста до Ниццы она превратилась в завоеванную территорию. Она перестала быть великой державой — и потеряла все, что приобрела за последнюю четверть века.

Как это произошло?

Об этих годах бесславного падения Франции, трагического рабства ее и начала возрождения я и хочу рассказать. Это не книга истории, я пишу только страницу ее как зритель и участник трагедии великого народа, этих страшных трех лет с 1940 по 1943.

Как зритель и участник я был погребен под развалинами Франции, когда она рухнула.

Я врач. Но в эти годы я перестал быть врачом. Я оказался песчинкой в водовороте величайших событий. Судьба забросила меня во Францию. Я прожил здесь свыше четверти века. Я ее знал и любил, любил ее народ, веселый, бодрый, отважный. Я любил ее города, ее поэзию.

И вот на моих глазах все это рухнуло.

Волна жестокости, предательства, трусости, измены, мелкого эгоизма захлестнула Францию.

Люди растерялись, обманутые, преданные, проданные в рабство. Это были те же люди, что раньше, которые опять станут прежними. Больше того, они уже начинают приходить в себя, возрождаться, стряхивать с себя опутавшие их оковы лжи и предательства. В них возрождаются гордость, героизм, героизм их отцов, их собственное героизм, прославившее их на весь мир под стенами Вердена, на Шмен де-Дам, во Фландрии. Они как будто перенесли тяжелую болезнь, от которой начинают выздоравливать...

В войну 1914—18 гг. я служил врачом-офицером во французской армии. Победа 1918 г., купленная ценою жизни 1.200.000 французам, павших на полях битв, оказала губительное влияние на моральное состояние Франции. Жертвы войны были скоро забыты. Еще не заглох грохот пушек на полях Фландрии, а уже Париж и вся Франция покрылась сетью танцулек, дансингов, в которых под новые тогда американские джазы плясало новое, еще не бывшее на войне поколение и те, кто уцелел на войне. Вдовы погибших вышли замуж. Матери, потерявшие своих сыновей, умерли. Дети уже не помнили своих отцов, павших в боях. В памяти народа стерлись страдания и тоска об убитых. Франция вернула себе Эльзас и Лотарингию, не было поводов для требований реванша, для ненависти к немцам.

Но не совсем порвалась связь между Францией той войны и Францией этой войны.

Многие бойцы и офицеры, участники той войны, были еще живы и призваны снова в армию. И в той же армии были их сыновья. Можно обвинять детей, новое поколение в том, что оно не выдержало сурового испытания этой войны. Но ведь в ней были и бойцы войны прежней. Кто их подменил, кто превратил французскую армию в этой войне в толпы неорганизованных людей? Где их быллой героизм, их отвага?

Я видел глубокие перемены во всем строе Франции со времени прошлой войны. Внешне Франция процветала. Крупная и мелкая буржуазия, даже рабочие, жили плодами прошлой победы. Расцвела тяжелая промышленность, вызванная к жизни войной. Рабочих рук не хватало — надо было заменить павших в той войне. Обнищавшая Центральная Европа и юг ее нуждались в работе. Во Францию хлынул поток иностранных рабочих. Все тяжелые профессии во Франции перешли в руки иностранных рабочих. Около четырех миллионов их жили и работали во Франции, почти одна десятая часть всего населения страны! В угольных копях на севере Франции работали поляки, на сельских полях — испанцы, чехи, поляки, русские бело-эмигранты, каменщики и маляры были итальянцы. Десятки тысяч иностранцев работали как ремесленники. Французы занимали командные посты, были мастерами, инженерами, хозяевами. Иностранные рабочие не имели политических прав — их легко было уволить за стачку, за неповиновение, выслать из Франции.

Тогда иностранные рабочие стали добиваться французского гражданства. Тысячи их «натурализовались» во Франции. Но в 1935-36 гг. Палата депутатов приняла закон, по которому натурализованного иностранца можно было лишить французского гражданства, если его деятельность представлялась опасной. Иначе говоря, даже став французами, эмигранты в случае вхождения в компартию, в профсоюзы, могли всегда быть лишены гражданства и высланы, как нежелательные иностранцы.

В 1938 г. Палата депутатов приняла закон, по которому все иностранцы-«капатриды», даже не принявшие французского гражданства, должны служить в армии и призываться для защиты Франции в случае войны. А таких политических эмигрантов-иностранцев во Франции были сотни тысяч — из Польши, Италии, Испании, Румынии, Германии. И все это были по большей части мужчины в самом цветущем возрасте.

Бряд ли найдется на свете страна, которая так пользовалась бы иностранным трудом и так эксплуатировала бы иностранцев, как Франция.

Когда разразился кризис, на улицу прежде всего выбрасывали иностранных рабочих — это уменьшало недовольство французов. А когда началась война, иностранцев, молодых и здоровых, забрала в армию. Стариков же и людей постарше стали сажать в концлагери.

Один мой пациент-иностранец, бывший солдат Иностранного Легиона, рассказал мне, что французское правительство обещало иностранцам, бойцам Легиона, французское гражданство после войны. Легион героически сражался с немцами и потерял половину своего состава. В одном батальоне осталось только 75 солдат. Оставшиеся в живых потребовали, чтобы правительство сдержало свое слово. Но из 75 легионеров право гражданства получили только 14 человек. Тогда 12 из этих 14 отказались стать гражданами французской республики. Их посадили в концлагерь, несмотря на их ранения и боевые награды.

А тем временем маршал Петен расклеивал по всей Франции афиши, в которых бесстыдно заявлял, что «я выполняю все обещания, данные другими».

Вся французская печать писала, что в случае войны за Францию вступится весь мир. Эта иллюзия сыграла печальную роль в войне Франции с Германией.

Любовь ко лжи, к иллюзиям, нежелание видеть и изучать истину были связаны с установившимися во Франции в последние годы состоянием полного равнодушия ко всему, что непосредственно и немедленно же не затрагивало личных интересов среднего француза, интересов данного поколения. Это то, что сами французы называли «наплевательством».

Глубокое отчаяние охватило осенью 1940 г. всех честных французских патриотов. Их угнетало не столько поражение Франции, сколько та апатия, то «наплевательство», которое было причиной этого поражения. В октябре 1940 г. я как-то обедал с одним старым знакомым, виднейшим деятелем Народного фронта, человеком

умным, культурным и исключительно честным. Вот что он мне сказал:

«Я не думаю, чтобы Франция могла опять подняться — тут дело не только в военном поражении, тут виноват весь народ. Я не знаю, что будет с Францией».

Так думали тогда даже честные французские патриоты. Но случилось так, что великий народ воспрянул, нашел себя и путем страданий и борьбы идет к своему возрождению.

Я вижу Францию такой, какой я ее покинул летом 1941 г. На каждом перекрестке, на стенах домов — темнокрасные афиши: по приговору германского военного суда такой-то расстрелян... за саботаж...

II. DROLE DE GUERRE

Как я уже сказал, период войны с 3 сентября 1939 г. по 10 мая 1940 г. французы окрестили названием «странной» или «чуждой» войны (непереводимое французское слово «drôle» — забавная, чуждая). Это название было похоже на шутку. Но смысл его оказался очень глубоким.

Война объявлена Германии, но все правительственные учреждения Франции, вся ее печать вели войну против СССР. Даже в первые дни войны трудно было найти во французских газетах воинственные статьи против Германии — как это непохоже на памятную осень 1914 г.! Франция объявила войну Германии, и Германией сразу перестали интересоваться. Но не так было с СССР — о нем писали и говорили все время.

Правда, французы не смели преследовать официальных советских граждан во Франции. Арестовать их — значило итти на открытый конфликт с СССР. Зато французы набросились на других русских, проживавших во Франции, если только они проявляли какую-либо симпатию к СССР. Были арестованы почти все члены «Союза возвращения на родину», организованного эмигрантами, подавшими заявление в советское консульство о разрешении им вернуться на родину. В помещении этого союза был произведен обыск, оно было буквально разгромлено. Были сосланы в концлагери почти все арестованные члены этого союза и те, адреса которых нашли в его помещении.

Еще накануне войны, в июле 1939 г., правительство Даладе издало свой исторический декрет, который давал право префектам департаментов и полиции арестовывать и сажать в концлагери без срока всех подозреваемых в том, что их «деятельность угрожала общественной безопасности и национальной обороне». И все это без всякого суда, без предъявления обвинения, без права арестованного жаловаться или протестовать.

Закон этот был применен почти исключительно к антифашистам — французским и иностранным. Компартия была распущена и запрещена, коммунистические газеты закрыты, их имущество конфисковано. Концлагери быстро заполнялись — а в них еще сидели бойцы интерна-

циональных бригад и бойцы испанской республиканской армии. Словом, буржуазия стала истреблять всех деятелей Народного фронта. Арестованных русских избивали в тюрьмах, мучили допросами. Немцев же почти не трогали. Даже знаменитый «Коричневый дом» в Париже, где собиравлись немецкие фашисты, не тронули.

Пока шли эти аресты, из Парижа начался первый исход населения: перепуганная буржуазия боялась воздушных бомбардировок и бежала в провинцию. Еще за день до объявления войны Париж начал пустеть.

Что можно сказать об этом исходе? Он был генеральной репетицией Великого исхода в июне 1940 г., после поражения Франции.

Правительство не давало никакого приказа об эвакуации Парижа и только советовало уехать из него всем, кому, по характеру работы, можно было покинуть город.

Свыше двух недель французские дороги были наполнены жужжанием моторов.

Этот первый исход из Парижа был преимущественно исходом богатых людей, потерявших голову от страха. Но он кажется детской забавой по сравнению с тем, что произошло восемь месяцев спустя, когда 10 или 12 миллионов французов с Севера, из Арденн, из Эльзаса кинулись, как безумные, на юг.

На фронте же было «без перемен». Ежедневные военные сводки, написанные загадочным, совершенно непонятным языком, смутно говорили о схватках патрулей где-то во Франции, не давая ни имен, ни географических названий. Публика изумленно ахала, читая эти сводки, потом стала над ними подшучивать и, наконец, вообще перестала их читать. Они никого больше не интересовали.

В начале войны несколько тысяч французских солдат заняли несколько десятков километров германской территории. Печать торжествовала. Немцы там не сопротивлялись.

«Наша войска находится уже на немецкой территории, а немцы нигде не занимают нашей», — писали газеты.

Когда же немцам это надоело, они в несколько часов очистили от французов занятую ими территорию.

Это было в середине октября 1939 г. Только много дней спустя официальная сводка сообщила об отходе с некоторых позиций, «ставших ненужными для защиты». На деле все было гораздо серьезнее. Эта первая схватка обошлась французам в несколько тысяч раненых и убитых. А главное, она выяснила два обстоятельства: французы сопротивлялись героически, и могли бы драться, но немецкая техника была неизмеримо сильнее французской. Со стороны французов почти не было ни танков, ни самолетов. Сопротивлялась почти исключительно пехота. Даже артиллерии было недостаточно.

Иначе говоря, тут уже запахло предательством правящих кругов.

В это время я находился в провинции, в департаменте Луаре, в 150 километрах от Парижа и в 40 от старинного города Орлеана.

Недалеко от нас раскинулся маленький цветущий городок Сюлли на Луаре, весь утопающий в садах и огородах, со старинным замком на берегу Луары, в котором когда-то жил знаменитый маршал Сюлли, бивший в свое время немцев. Жил я в большом и удобном доме, в трех километрах от деревушки Ванн-сюр-Коссов, посреди лесов Солони, в которых прятались старинные замки, а в замках жили обетшавшие потомки французских рыцарей. Тысячи фазанов разгуливали вокруг нашего дома по свежескошенным полям, обнесенным проволочной сеткой; весь округ кишел кроликами, которые продали бы весь урожай местных фермеров, если бы те не обносили свои поля проволочной сеткой. Солонь славилась охотой. Владельцы замков сдавали свои леса в аренду любителям охоты. Но чтобы водилась эта дичь, нужны засеянные поля. И помещики сдавали свои поля и фермы в аренду фермерам. Те поселялись, работали как волы в течение нескольких лет, а потом, видя, что весь их урожай пожирается кроликами и фазанами, от которых их не спасали никакие сетки, уходили с земли, бросали свои фермы и даже свое имущество. Земля пустовала.

Теперь по случаю войны охота была воспрещена. Птицы и кролики размножились тысячами, поедая остатки урожая. Тысячи диких кроликов прыгали вдоль дорог и по окраинам полей. В бесчисленных прудах, поросших зелеными водорослями и камышом, кишела рыба, высовывая из воды остроконечные насмешливые морды. Ловить их было некому, чистить пруды тоже некому. Люди были все на войне. Деревни пустовали.

Крестьяне оставались спокойными. Они привыкли к лесам и пустым замкам, в которых раньше жили одни сторожа, а владельцы наезжали только в сезон осенней охоты, оглашая окрестности звуками охотничьих рогов.

И вот теперь, осенью, страна неожиданно наполнилась новыми гостями — беженцами из Парижа. Тут были и владельцы замков, раньше только наезжавшие в свои имения, и парижане, снявшие за бешеную цену эти замки на время войны. Тогда даже и контракты писались так: сдается на время войны, без обозначения срока.

Крестьяне встречали беженцев из Парижа враждебно, с презрением, как иностранцев, почти как врагов. Беженцы снимали у крестьян все свободные помещения, платя за них такие цены, о которых крестьяне раньше не могли и мечтать. Беженцы покупали у них продукты: мясо, масло, кур, яйца. Но крестьянам такие неожиданные клиенты не были вовсе нужны — и в этом опять-таки сказался их консерватизм, их нелюбовь к новшествам. У них были свои старые клиенты, свой рынок и готовые скупщики из Парижа, к которым они привыкли. Они были уверены в том, что война продлится недолго, а раз так, то нечего менять старых и испытанных покупателей на новых, случайных, временных.

А кроме того, парижане нарушали вековые привычки крестьян — ложились поздно и

зверски скучали. После трех недель пребывания «на лоне природы» все парижские беженцы думали только о том, как бы вернуться в Париж. В деревне им нехватало кафе, театров, кино, консержки, а природа их не интересовала, они ее не любили и немного боялись — тишина, ночной лай собак, ночные крики в лесах, — все это нагоняло на них тоску и даже страх. Рабочие и мелкие служащие привыкли каждый день читать в Париже свою обычную газету и сведения о скачках: почти все они играли на скачках. В Париже газеты, посвященные скачкам и спорту в его коммерческой форме, имели огромный тираж, расхились главным образом среди рабочих, мелких служащих, шоферов такси, прислуги. Во всех парижских кафе рабочие играли на скачках, даже не бывая на них. Словом, целой паутиной создаваемых для них привычек, крупная буржуазия старалась отвлечь рабочий класс от борьбы.

Богатые беженцы тоже скучали в своих домах или замках. Газеты приходили только на другой день, ездить было некуда и не за чем, бензин нормирован, и даже ездить в Орлеан можно было не каждый день. Не было развлечений, светских приемов, театров, универмагов, в которых праздные парижанки могли бы проводить целый день, перебирая ткани, платья, разные безделушки. Словом, все течение жизни у них нарушилось, мужья были в Париже или в армии. И ради чего? Ведь войны по существу еще не было.

Тыл деморализовался, скучал, как деморализовалась в бездействии армия. «Странная» война деморализовала всю страну, брала ее измором, подготавливая поражение. Шла «война нервов», на изматывание.

Понемногу беженцы стали возвращаться в Париж, сперва робко, потом, видя, что война не убивает, целыми толпами. О войне как будто перестали думать, хотя и спрашивали себя, чем же она кончится и когда? Никто не понимал, почему началась война и почему, раз уже она началась, никто как будто не воюет. Газеты читались, но им верили только наполовину. Французы очень любят прикидываться скептиками по отношению к газетам, но на деле они очень верят, верят той газете, которую читают, и другой ее не заменяют. А читают они не больше одной газеты.

О правительственных репрессиях все знали, и разговоры были очень осторожные — только близко знакомые между собой люди говорили о политике. Правительство Даладьё не было популярно, еще менее стало популярным позже правительство Поля Рейно. И всё же, если бы любое из этих правительств потребовало от народа напряжения всех усилий для войны и победы, народ пошел бы за ним. Правительство этого не требовало.

Но все сознавали, что вечно такое состояние «странной войны» длиться не может. Глухое беспокойство охватывало постепенно французскую деревню, всю Францию. В делах начинал-

ся полный застой — даже военная промышленность работала только на половину своей мощности, а, может быть, и меньше. Не искали рабочих рук для военных заводов, как в прошлую войну — наоборот, отпускали рабочих в деревню. Даже солдаты с фронта стали пускаться с весны 1940 г. в длительные отпуска в деревню. Это не создавало атмосферы войны, борьбы, наоборот, приучало к мысли, что война может кончиться и без борьбы...

И все-таки предсудительные крестьяне, мелкая и крупная буржуазия стали делать запасы провизии, товаров на неопределенное время. Закупались — карточек тогда еще не было, их ввели только при немцах — в огромном количестве консервы, макароны, мука, мыло, сухие овощи. В некоторых замках в Солони были запасы провизии на несколько лет. Промышленность не возобновляла запасов — она, под предлогом войны, работала слабо. Оптовки не продавали товаров розничным торговцам, ожидая повышения цен. Запасы товаров и продуктов у розничных торговцев стали постепенно исчезать. Позже, когда пришли немцы, они смогли скупили у оптовиков все эти товары, в которых так нуждалась тогда Франция.

Одни мои знакомые, мелкобуржуазная семья из трех человек, сняли квартиру недалеко от деревни, где я жил, и сложили там запасы на 10.000 франков — почти трехмесячный заработок семьи. Постепенно запасы продуктов у всех стали портиться, колбаса провоняла, макароны и мука отсырели и заплесневели, и владельцы их, чтобы ничего не пропадало, ели их, сушили муку на солнце, грызли заплесневевшую колбасу.

В одном из соседних замков жила семья крупного парижского банкира Финали, одного из финансовых правителей Франции. Семья эта сбежала, как только стало известно, что немцы подходят к нашей деревне. Замок остался пустым. Местный муниципалитет нашел в нем, уже при немцах, 18.000 литров бензина и несколько бочек со смазочным маслом для автомобиля. Такой запас грозил пожаром и запрещался французскими пожарными правилами. Но даже если бы он и сохранился, что дал бы он своим владельцам? Как они смогли бы развезать по стране в автомобиле, когда все знали, что бензина больше в продаже не было? Их сразу бы изобличили в утайке и отобрали бы бензин. Муниципалитет забрал его себе, утаив от немцев, и этот бензин позволил ему обеспечить подвоз товаров и муки из деревни в течение нескольких месяцев.

О таких вещах знали и раньше, но только шептались: молчание стало законом во Франции. Молчали не только крестьяне, но и горожане, напуганные правительственными репрессиями, концлагерями, куда ежедневно сажали людей «за политику». Вероятно, еще никогда французский народ не молчал так упорно. Кажется, никогда не было во Франции такого количества тайных доносов, анонимных писем, как во время «странной войны». Одних обвиняли в том, что они «пораженцы» и «коммунисты», других в том, что они работают на «плетую ко-

лонну» — слово это было всем известно во Франции со времен испанской войны. Часто одних и тех же лиц обвиняли и в том и в другом — результат пропаганды печати, намеренно извращавшей события. Местная жандармерия была завалена доносами.

Жители замков публично не выражали своих мнений, но между собой, не скрывая, говорили о своем восхищении перед Гитлером и его методами расправы с «коммунистической опасностью». Порадая к ним в семье в качестве врача, я не раз слышал, как они говорили, что признают только одну войну — против СССР.

Позже, когда пришли немцы, богатые обитатели замков — кастеланы принимали у себя немецких офицеров, несмотря на всеобщее негодование по поводу этого среди крестьян.

Шпионomanия была повсюду, как и всегда в начале всякой войны. Один мой знакомый врач, румын, практиковавший около Анжера, на Луаре, был арестован за то, что смотрел на военный грузовик, набравший бензин из колонки перед его домом. Он просидел три месяца в тюрьме. С ним сидело не мало местных интеллигентов и, как это ни странно, даже полицейских. По всей Франции тогда следили за предполагаемыми «световыми сигналами» немцам и обвиняли в них соседей — а ведь тогда над Францией еще не появлялись немецкие самолеты.

С настоящим же шпионажем, который немцы довели до совершенства, в стране не велось никакой серьезной борьбы; все меры в этой области, одни бессознательно, другие несомненно сознательно, оставались на бумаге. Так, чтобы проехать на автомобиле в Париж, для меня каждый раз требовался особый пропуск от местной жандармерии. Так как местные жандармы не хотели брать на себя такой «тяжелой ответственности» за выдачу пропуска, они отсылали меня к жандармскому капитану в город Сюлли, в 18 километрах от меня. Но и там пропуска мне не выдавали по тем же причинам и отсылали дальше, в Жьен, в 40 километрах. Бензин к тому времени был уже нормирован. А путешествие в Жьен и обратно отнимало у меня приблизительно недельную норму бензина, почти столько же, сколько было нужно, чтобы доехать до Парижа. Приехав в Жьен, я являлся к жандармскому майору, который, поговорив со мной о том, о сем, выдавал мне пропуск в Париж без всякого предъявления документов. В первый раз увидев меня, после почти получасового разговора, он вдруг спросил, умею ли я читать по-французски. А мы с ним только что обсуждали газету!

Должен добавить, что в Париж я ездил с пропуском несколько раз, и ни разу его у меня нигде не спрашивали.

В моем доме становилось холодно. Уголь сразу исчез, подвоза с севера Франции не было. Крестьяне обходились без него — они вообще почти не топили и до войны. Так только, возвратясь с работы в поле, сожгут несколько поленьев в камине и погреются у них... А зима была необычайно суровая для Франции.

Рядом с деревней, около которой я жил, был

установлен военный наблюдательный пост для обнаружения самолетов. Десятка полтора солдат под командой сержанта жили в здании бывшей железнодорожной станции. Многие из солдат были из числа местных жителей, мобилизованных на месте. Они обычно ночевали у себя дома и только днем дежурили на посту, да и то не всегда — считали это бесполезным. Из помещения поста солдаты почти не выходили и грелись целый день у огня, покуривали или похрапывали. Снаружи должен был постоянно оставаться дежурный для наблюдения за небом. Но так как никто никогда не прилетал, то часто дежурный почти не выходил из помещения. Даже лейтенант, начальник поста, поселившийся в деревне, редко заглядывал на свой пост. Солдатам было тоже «наплевать» на это. Их не интересовала ни война, ни выполнение своего долга даже в тылу.

Но с января, время от времени, над нашей местностью пролетал немецкий разведочный самолет. Летел он обычно на большой высоте, бомб не сбрасывал, из пулемета не стрелял. Бинокуляр дежурного был слишком слаб, чтобы различить национальность самолета, и солдаты иногда просили мой бинокль.

У этого поста не было ни пулеметов, ни зенитных орудий. У солдат даже не было винтовок. Никогда я не видел, чтобы французский самолет гнался за немецким, хотя изредка над нами летали и французские самолеты, базировавшиеся в Орлеане. Часто мне приходилось ездить в Париж на машине по важной дорожной магистрали Орлеан—Париж. Каждый раз по дороге ко мне в машину набивались солдаты, едущие в отпуск в Париж. Как-то раз я вез двух молодых офицеров-курсантов. Один из них сел рядом со мной и оказался весьма разговорчивым человеком. Прежде всего он отрекомендовался как сотрудник еженедельного журнала «Же сюи парту» (Je suis partout). На открытость его вызвала, вероятно, моя машина, хорошая, мощная, он считал, что ее собственник должен иметь свойственные крупной буржуазии убеждения.

«Наш журнал считается пронемецким, — сказал он. — Мы действительно стоим за сотрудничество между Германией и Францией. У нас и у них один общий враг — большевизм. У нас ничто не разделяет с Германией. Я жду с нетерпением, когда эта война кончится, и будет заключен мир с немцами. И тогда начнется настоящая война, война с Советами. Только эта война и имеет для нас смысл».

И он принялся излагать мне свою теорию борьбы с большевизмом, который он ненавидел всей душой. Я слушал его, не отвечая. Его спутник тоже не возражал. Мое молчание, по-видимому, ему показались подозрительным. Сходя с машины в Париже, он вдруг поглядел на карточку с моей фамилией и адресом, прибитую, как это требует французский закон, рядом со счетчиком скорости и часами, и увидел русскую фамилию. Он сейчас же иронически мне поклонился и направился к полицейскому, которому стал что-то говорить, показывая на

мою машину. Быть может, он ему доносил, что я опасный русский.

А между тем именно я имел все основания передать его в руки полиции за разговоры, порочащие имя Франции, и за восхваление врага во время войны. Впрочем, вряд ли даже в этом случае полиция его арестовала бы. Газеты только что сообщали о том, что кагуляры, сидевшие в тюрьме, у которых перед войной были найдены склады немецкого и итальянского оружия, были выпущены на свободу «в знак национального примирения».

Впрочем, в это время французские фашисты не только чувствовали себя в полной безопасности, но и готовились к захвату власти. Их наглость стала расти по мере приближения немецкой армии после мая 1940 г. Не имея достаточно сил для захвата власти, так как в народе фашистских настроений не было, французские фашисты рассчитывали на немцев при выполнении своих планов. Это лишний раз подчеркивает тот факт, что война во Франции на деле была и гражданской войной, войной, организованной крупной буржуазией против французского народа.

В 1937 г. в Париже были обнаружены склады оружия и гранат немецкого и итальянского происхождения. Был взорван дом, в котором помещалась синдикальная Палата одного крупного промышленного объединения. Произведенные аресты выяснили, что существовала фашистская организация, подготовившая захват власти. Участников этого заговора публика окрестила кагулярами (от слова «кагуль» — капюшон, целиком закрывающий голову), так как все это дело держалось правительством в большой тайне. Демократическая печать Франции требовала тогда от правительства, чтобы оно назвало имена главарей этой организации — арестованы были только мелкие сошки, исполнители. Правительство под разными предлогами отказывало в этом

Вскоре узнали, что во главе организации кагуляров стоял сам маршал Петен, будущий главнокомандующий французской армией, будущий глава правительства Виши. Главнокомандующий, подготовлявший еще до войны на германские и итальянские деньги захват власти фашистами в своей собственной стране!

Скажем теперь же, что, придя к власти, Петен даже и не скрывал этого. Один из кагуляров, арестованный в 1937 г., некий Метень, был им поставлен в 1941 г. во главе политической полиции в Виши. Другой кагуляр, Делонкль, основал в Париже, еще в то время, когда я там был, но уже при немцах, партию «Национального Объединения» (Rassemblement National), которая ставила целью вовлечь французов в сотрудничество с немцами. Эта партия была на деле организована немцами на немецкие деньги, но с французским персоналом.

III. ВОЙНА ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ «ЧУДНОЙ»

Весна 1940 г. во Франции была холодной, но изумительно ясной и солнечной. Фруктовые деревья зацвели хоть и поздно, но с необычайной

силой, и их расцвет придавал праздничный вид всей стране.

Но у людей вид был усталый, тревожный. С весной люди всегда ждут событий, в особенности во время войны. Война измотала нервы. Тревога, чувствовавшаяся в населении с самого начала «чуждой» войны, с каждым днем нарастала. Ясно было для всех, что так дольше это длиться не может, что события не заставят себя ждать.

И они разразились неожиданно, с невероятной быстротой, и еще более неожиданно для всего французского народа, а быть может и для всего мира, окончились полным разгромом Франции, коренной ломкой всей французской жизни и всей французской психологии.

Одно событие сильно взволновало общественное мнение Франции в самом начале этой роковой весны и заставило его призадуматься. В феврале или марте 1940 г. в Париж неожиданно приехал Тиссен, знаменитый немецкий магнат металлургической промышленности, один из «королей» Эссена и Рурской области, один из основателей национал-социализма в Германии, финансировавший Гитлера с самого начала его появления на политической арене. Как он смог свободно приехать во Францию во время войны с Германией, никто не знал. Парижане узнали, где он остановился, и ходили на него смотреть — новая парижская забава. Но уже слышался гнев недоумевающего народа. Тиссен жил в одной из лучших гостиниц Парижа, свободно прогуливался по улицам в сопровождении своей жены и собачки. Парижские газеты печатали его портрет, портрет его жены и его собачки. Выходило, по газетным описаниям, что в приезде Тиссена нет ничего ненормального. Репортеры его интервьюировали, и он охотно им отвечал на вопросы. Описывалось, как он проводил день в Париже, как будто речь шла о видном союзном деятеле. В Париже Тиссен встречался с крупными государственными деятелями, но о чем с ними говорил, газеты не сообщали. Из Парижа Тиссен так же свободно проехал в Бельгию, потом в Англию, снова вернулся во Францию, а потом куда-то исчез, вернее, его имя исчезло со столбцов газет.

Его приезд, по существу, был аналогичен прилету Гесса в Англию. Но Гесса англичане все-таки интернировали как военнопленного, и английские газеты писали о нем не очень доброжелательно. Во Франции же Тиссена принимали с необычайным почетом и вниманием и ни в какой лагерь не посадили.

Ясно, что Тиссен во Францию так же, как Гесс в Англию, привез какие-то предложения из Берлина, и эти предложения касались военных планов Гитлера.

Но разница в его приеме с приемом Гесса в Англию ясно показывала, что французская буржуазия пошла навстречу предложениям Гитлера. Тут уже наметилось различие между Англией и Францией. Французская буржуазия сдалась немецкому фашизму очень быстро и без всяких оговорок.

В деревне, где я жил, приезд Тиссена не прошел незамеченным. Мэр деревни, старый,

по-крестьянски с хитрецей, каменщик Мулен, не желая высказывать своего мнения и желая узнать мое, спрашивал у меня:

«Не понимаю я что-то в этом деле. Тиссен — немец, мы с Германией воюем, а его принимают как гостя. Как это надо понимать?»

В его голове уже зарождалась мысль, что тут что-то не совсем благополучно. Часто можно было видеть его с другими видными крестьянами. Речь шла о приезде Тиссена. Но никто из них не высказывал своего мнения по этому поводу — крестьяне вообще насчет политики осторожны, а тут они были сугубо осмотрительны. Они только покачивали головами и повторяли друг другу то, что все уже читали в газетах. Приезд Тиссена взволновал их больше, чем все другие известия о войне.

Вдобавок многие военные стали приезжать с фронта в отпуск в деревню — правительство отпускало их на летние работы. Приезжали они без всякого энтузиазма к войне, но рассказывали крестьянам поразительные вещи, страшно возбуждавшие тревогу. В армии, по их словам, происходило что-то странное. Так, по их рассказам, летчикам был дан приказ никогда не нападать на германские самолеты, совершать только разведочные полеты, без боев и без бомбардировок. Французские и германские самолеты встречались в воздухе, не обмениваясь ни одним выстрелом. Рассказывали об одном летчике, который во время полета встретил германский самолет и атаковал его. По возвращении на базу летчик был за это наказан своим начальством.

Больше всего отпускных солдат волновало то, что, по их словам, немцы знали решительно все, что делалось во французской армии. Один местный полк получил приказ занять позиции на фронте где-то около Страсбурга. Приказ был получен накануне командиром полка, и о нем в полку никто не знал, кроме командира. Когда полк прибыл к месту назначения и занял позицию, через полчаса после его прибытия над немецкими окопами взвился плакат с надписью: «Привет полку такому-то по случаю его прибытия».

Мост через Рейн, в Страсбурге не был даже взорван. На одном его конце, за мешками с песком, сидели французы, на другом — немцы и друг в друга не стреляли. Мост был минирован с обеих сторон.

Слово «измена» еще не говорилось солдатами, но оно угадывалось в их мыслях. Народ чувствовал себя опутанным какой-то невидимой паутиной, которая сковывала все его движения, лишала его энергии.

Я как-то спросил у одного молодого солдата, приехавшего в отпуск:

«Ну что, воюете?»

Тот махнул рукой:

«Разве это война? Это странная война. Тут что-то неладно».

«Может быть, солдаты драться не хотят?» — спросил я.

«Не хотят? Драться никто не хочет. Но если надо сражаться за Францию, мы все будем сражаться».

«Так в чем же дело?»

«Да нам не дают сражаться».

«Но может быть теперь готовятся к наступлению?»

«Какое, готовятся! — досадливо отмахнулся тот. — Нам не подвозят ни снарядов, ни танков. Я сам видел в Париже на станции ящики с самолетами с заводов. Они стоят, и их никто не распаковывает. А у нас на фронте и самолетов-то почти нет».

В нашей местности, на Луаре, стали появляться сперва редко, а потом все чаще и чаще германские самолеты, довольно низко летавшие над Солонью и над Луарой, где их никто не обстреливал и никто за ними не гнался. Крестьяне следили за их полетом, качали головами и медленно расходились, ничего не говоря. Только, мёр деревни, встречая меня, спрашивал:

«Ну чем же все это кончится?»

И, не ожидая ответа, шел на свою работу — чинить дома, месить цемент. Мои больные в деревне тоже, после каждого моего посещения, разговаривали о войне. Всех их грызла тревога. И всегда, прощаясь, задавали мне тот же стереотипный вопрос:

«А что вы думаете, доктор, как все это кончится?»

Зная, что я русский, они считали, что я больше чем кто-либо могу ответить на этот вопрос. Несмотря на то, что газеты старались сеять в них злобу к СССР, крестьяне считали, что у русских есть своя мудрость, свое понимание событий, знание будущего, и именно они, а не кто другой, могут ответить на этот вопрос.

В ночь с 10 на 11 мая 1940 г. я оставался один в доме, который стоял на опушке леса, в трех километрах от деревни. Моя семья была в Париже. Ночь выдалась свежая, ясная. Филины и фазаны перекликались деревянными голосами, как обычно. Им вторил хор лягушек из прудов и канав. Меня клонило ко сну: накануне я провёл всю ночь у постели тяжело больного булочника из соседней деревни.

Незадолго до зари я проснулся от странного, густого жужжанья в воздухе. Я встал, подошел к окну, поглядел на черное предутреннее небо. Над всей местностью и прямо над моей головой где-то высоко кружились невидимые простым глазом десятки самолетов, наполняя своим жужжаньем ночную тишину. Земля еще спала, в деревне не было видно ни одного огонька, а небо жило своей странной жизнью. Откуда-то издали доносился гул глубоких звонких взрывов, на горизонте мелькали молнии разрывов в стороне Сюлли, Орлеана, Вьерзона. Временами звучали целые очереди взрывов.

Внезапно, где-то, казалось, недалеко, ухнул сильный и глубокий взрыв, задрожали стекла в доме. Затем все сразу смолкло. Жужжащий шум самолетов в небе стал ослабевать, удаляться, все такой же невидимый и непонятный, и наконец, прекратился; снова тишина деревенской ночи охватила землю и снова заклохотали фазаны, заквакали лягушки.

Я вернулся в постель и лег спать. Но мне не спалось. Было ясно, что начинаются крупные события. С нетерпением я ждал солнца и первых известий по радио. В семь часов утра я сидел у радиоприемника и крутил кнопку этого чудесного прибора, без которого наше существование теперь уже не может быть полным.

Но радио ничего не сообщило. Как обычно, радиодиктор указывал своим невидимым любителям гимнастики упражнения, которые они должны проделать после вставания. Сколько французов в этот момент слушали радио и отходили разочарованные — все чувствовали, что начинается что-то новое в истории Франции.

Утром меня вызвали к больным в соседние деревни. Всюду только и говорилось, что о ночных событиях. Официальные сводки стали еще загадочнее и непонятнее. После краткого сообщения о налетах и о сотнях жертв, сообщалось о каких-то неопределенных боях на фронте. Потом сразу сообщили о вторжении немцев в Бельгию и Голландию. Германское радио уже тогда начало восхвалять свои грандиозные победы, сотни тысяч пленных. Но германское радио во Франции почти не слушали. Немецкий радиодиктор на французском языке был предатель француз Ферроне, о котором немало писала французская печать. Ему никто не верил.

Но было нечто, что заставило всех крестьян в нашей местности сразу поверить в реальность немецкого наступления. Это были беженцы с севера Франции, из департаментов Эн, Арденн, Па-де-Кале. Мимо нас, по дорогам, ведущим в Орлеан или в Вьерзон, потянулись бесконечные вереницы крестьянских телег, запряженных каждая несколькими лошадьми, нагруженных ребятами, узлами, чемоданами, мешками, сельскохозяйственными инструментами и даже домашней мебелью. В каждой телеге было по целой семье. Рядом с телегами шагали молодые женщины или девушки, старики, мальчики, подростки, а в телеге, на груди тюфяков и подушек, лежали старухи. За телегами, медленно покачивая рогами, брели привязанные к ним длинными веревками коровы и быки, лениво обмахиваясь хвостами и пуча круглые, испуганные, близорукие глаза на новые места. Бывало и так, что в телеге везли корову или теленка, а владельцы всего этого добра шагали рядом по дороге, молчаливые, с заплаканными глазами.

Это были беженцы, покинувшие родные места в первые же дни германского вторжения, перед отступлением французской армии. Они рассказывали страшные вещи, которым крестьяне верили, так как это им говорили крестьяне же. Говорили беженцы медленно, почти без жестов, как люди, не привыкшие рассказывать другим о своих несчастьях. Они шли к югу, потому что война шла за ними следом. В пути им приходилось прятаться в лесах или ложиться в канавы, когда на них пикировали с бомбами и пулеметами немецкие самолеты. Многие потеряли в пути своих родных, друзей, детей. Их хоронили возле дороги, а живые продолжали свой путь к югу. Они спрашивали крестьян, не видали ли те их земляков, отбившихся от каравана или уехавших раньше них.

Ночевали они в пути, около дороги, составив свои повозки, как древние кочевники, разостлав под ними одеяла или брезент. Тут же они разводили костры для варки пищи, совершенно не заботясь о том, что отблеск костров был виден издали и мог привлечь вражеские самолеты. Ржали лошади, мычали коровы, пели петухи и хлопали куры — многие везли с собою домашнюю птицу.

Наши местные крестьяне беженцев жалели, помогали им как могли, продавая продовольствие, приглашая в кафе и слушая их рассказы. И в то же время думали: слава богу, что до нас это не дошло. Фронт еще казался чем-то далеким, хотя он был всего в нескольких десятках километров и приближался с каждым днем.

В утро 11 мая все уже знали результаты ночной бомбардировки. Немцы бомбили Орлеан и Вьерзон, причинив большие разрушения и вызвав много жертв. Что же касается взрыва, слышанного мною близко, то оказалось, что немецкий самолет, пролетая над соседним городком, бросил на него бомбу, повидимому, чтобы избавиться от последнего груза. Бомба упала и разорвалась в нескольких стах метрах от деревни, на одиноко стоявшую ферму: ни от фермы, ни от ее единственного обитателя ничего не осталось.

Теперь жители со страхом глядели на ясное небо, по которому свободно разгуливали германские самолеты. Иногда можно было видеть целые эскадрильи самолетов, и даже простым глазом различить на них черный германский крест. Все с нетерпением ждали появления французских самолетов. Но тех не было. Небо полностью принадлежало немцам. В Орлеане почти каждый день воздушная тревога. Противовоздушная оборона, очень слабая, не могла помешать немцам низко пикировать на город. Никаких серьезных убежищ в Орлеане не было. Правда, в начале зимы там на всех бульварах и в садах вырыли неглубокие убежища. Но за зиму они почти все развалились, осыпались, их никто не охранял и не поддерживал. Бревна растащили на дрова, а самые убежища превратились в общественные уборные, отравлявшие воздух своим зловонием.

Новый наплыв беженцев начался в это время. Они приезжали с поездами, на машинах, растекались по департаменту, предлагали крестьянам любую цену за квартиры. Ясно, что они не верили в возможность немцев дойти до Луары. Все местные гостиницы были переполнены. Стал довольно остро ощущаться недостаток мяса, хлеба, масла. Из Парижа, в частном порядке, эвакуировались школы, ясли, разные учреждения.

В этот период, между 10 мая и 15 июня, по всей Франции разлилась волна страха перед немецкими парашютистами. Немцы действительно сбросили их немало повсюду. Крестьяне у нас рассказывали, что эти парашютисты обычно одеты в штатское, даже переодеваются женщинами или священниками. Парашютисты стали чудиться повсюду. Старики и лесные

сторожа вооружились старыми охотничьими ружьями, с грозным видом обходили леса и поля, подозрительно требуя от всех незнакомых личностей предъявления документов.

В это же самое время дорога, пролежавшая мимо наших деревень и обычно довольно пустынная, стала оживать. На ней появились сперва отдельные машины, потом группы машин и, наконец, целые вереницы их, мчавшиеся полным ходом из Парижа. Все они были нагружены до отказа людьми, чемоданами, узлами, тюфяками. Тюфяки обычно положены на крыши машин, в два или три слоя и, кроме того, часто замаскированы ветками—для защиты от самолетов. Затем стали появляться велосипедисты, сперва небольшими группами, потом сплошным потоком; затем — пешеходы, повозки, запряженные лошадьми и похожие по своему грузу на лавки старьевщиков. Многие шли пешком, катя перед собой детскую колясочку или даже простую тачку, нагруженную домашним скарбом, чемоданами, и вдобавок пристроив еще поверх груза корзинку с кошкой или собаку или прицепив клетку с канарейками. К 6—7 июня мимо нашего дома день и ночь лился уже настоящий поток людей и всевозможных перевозочных средств. По ночам на дорогах были видны людские тени, согнувшиеся под тяжестью мешков и молча шагавшие куда-то к югу. Вдоль дорог, на откосах, в полях и лесах ночью зажигались бесчисленные костры, около которых толпились люди, слышались голоса, споры, доносился запах варева. На костры попросту рубили ближайшие деревья, часто даже фруктовые, которыми была обсажена дорога. Парижане не чьей-то разбирались в пороках деревьев. Часто к нам в дом заходили беженцы с просьбой дать им воды или за медицинским советом, прося, что в доме живет врач. Лесные сторожа пытались помешать расхищению лесов, но куда им было справиться с бесчисленной и все растущей толпой беженцев!

К 10 июня поток превратился в настоящую реку. Это было после того, как Геббельс торжественно возвестил по радио, что немцы будут в Париже 15 июня. Газеты издавались над этим заявлением, даже наши местные крестьяне над ним подшучивали, хотя и с некоторой тревогой. Но немцы заняли Париж даже не 15, а 13 июня. Они всегда любили торжественно и театрально провозглашать свои намерения, рассчитывая терроризовать ими французов. И во Франции все их предсказания выполнялись раньше намеченных ими сроков. Пятая колонна держала в своих руках обезумевшие, потерявшие голову массы французов.

Французские власти приняли ряд мер, которые облегчали Геббельсу эту «войну нервов» и окончательно сбивали с толку население. Когда немцы подходили к Парижу, комендант Парижа генерал Эрен велел развесить на стенах домов афиши, в которых заявляло, что будет бороться с немецкими захватчиками всеми имеющимися в его распоряжении средствами и что Париж будет защищаться улица за улицей, дом за домом. Анало-

гичный приказ был издан в сентябре 1914 г. генералом Галлиени, защитником Парижа, накануне битвы на Марне... Но тогда население Парижа, чувствуя, что его защищает армия, героически приготовилось к защите. Теперь, когда никто не верил правительству, когда страна чувствовала, что ее предадут, перспектива таких боев французам вовсе не улыбалась. Эта афиша вызвала только невероятный взрыв страха и ускорила бегство населения из Парижа.

Если бы французское правительство думало серьезно защищать Париж, оно должно было бы своевременно организовать эвакуацию из города женщин, детей и вообще всего ненужного для защиты города населения. Оно этого не сделало. Оно сознательно толкнуло парижское население на бессмысленный и кровавый исход. Оно обмануло парижан, так как защита Парижа вовсе не входила в его намерения, как это уже было видно из речи Поля Рейно. И герои 1914 г., которые могли бы стать героями и в 1940 г., потеряв голову, растерявшись, устремились в бегство.

За три или четыре дня до вступления немцев в Париж на стенах домов была расклеена другая афиша. В ней Париж объявлялся открытым городом и заявлялось, что столица Франции защищаться не будет, что все войска отводятся от Парижа. А между тем Париж с его линиями фортов, с его огромным гарнизоном мог бы стать центром обороны Франции.

Эти два правительственных акта — одно из наибольших преступлений французского правительства той эпохи перед народом Франции.

К середине июня исход стал всеобщим. Беженцы из Парижа смешались с беженцами с севера Франции. По дороге в их поток постепенно вливались беженцы из расположенных на их пути городов и деревень. Тысячи автомобилей, из-за недостатка бензина или из-за порчи, были брошены в пути, столкнуты с дороги под откос в поле. Едущие вслед за ними снимали с них все, что только могли увезти: вещи, динамо, аккумуляторы, колеса с шинами, иногда даже моторы. Из резервуаров забирали бензин до последней капли. Чтобы быстрее его забирать, был придуман особый способ: бензин не переливали из резервуара в резервуар при помощи резиновой трубки, а брали у проезжавших солдат или офицеров револьверы, простреливали бак с горючим в двух местах и подставляли ведро под ливущую из дырки струю бензина. Потом машину скалывали с дороги в сторону, чтобы она не загромождала путь другим.

Налеты вражеских самолетов производились все чаще и чаще. Они кружились над колоннами беженцев и, увидев их, поливали колонну очередями из пулеметов. К этому времени в колонны беженцев стали вливаться военные эшелоны, догонявшие и обгонявшие их. Тысячи военных грузовиков с военным грузом, целые батареи тяжелых и легких орудий, моторизованные части тоже мчались куда-то на юг, нигде не останавливаясь, не строя нигде укреплений, рассеиваясь в полях при приближении немецких самолетов. Водители их дико кричали на толпу, чтобы про-

ложить себе путь. Толпа не пропускала никого. И военным приходилось тянуться вместе с толпой, шаг за шагом. Опасность для беженцев от этого возрастала: немцы зорко выглядывали появление военных эшелонов среди толпы и не жалели на них бомб и свинца. Время от времени вдоль дороги ложились тяжелые бомбы, вырвались гигантские воронки, в которые падали люди и машины. Падая убитые и раненые, но толпа, сперва разбегаясь по лесам, снова смыкала ряды и снова мчалась на юг.

Всю ночь слышались тяжелые взрывы бомб в окрестных городках и порой слабый треск зенитной артиллерии. Как-то раз днем мы услышали ряд страшных взрывов, от которых затряслись все дома в деревне, полетели стекла в окнах. На юге показались на горизонте огромные столбы белого дыма. В тот же день мы узнали, что немцы бомбили пороховые склады в Вьерзоне, километрах в сорока от нас. Ночью взрывы и стрельба слышались отовсюду. Только наш угол еще не пострадал.

Проходя через деревню, куда меня вызвали срочно к больной, я опять увидел мэра. Он опять месил известь в чане у почти достроенного дома.

«Ну что, скоро и вы соберетесь уезжать?» — спросил я его.

«Пока еще нет, — сказал он грустно. — Мы не парижане. А придется, так уедем. Вот на-днях достроим дом».

И он пошел таскать кирпичи. Строил дом они вдвоем с помощником.

Многие из беженцев прибыли в Тижю, ничего не евши в течение двух-трех дней — в дороге уже ничего нельзя было достать — беженцы, как саранча, поели все, а из Парижа, в панике, бежали без всякой провизии.

В эти же дни в деревне появилась огромная колонна новых автомобильных шестиколесных шасси, только что вышедших с завода. На каждом шасси, кроме водителя, сидели, уцепившись за что попало, десятки людей — рабочие с того же завода. Ехать дальше они не могли, у них не было бензина. Они поставили машины в соседнем лесу, спрятав их между деревьями, а сами расположились в деревне. Там они прожили дня три или четыре, а потом куда-то разбрелись, оставив около 150 машин на произвол судьбы, без всякой охраны.

Когда позже немцы прибыли в нашу местность, машины стояли на том же месте, куда их поставили. Никто их не попортил, не сжег, а так как с дороги их не было видно, то даже беженцы их не заметили и не обобрали. А обдирать было что: все было новенькое, прямо с фабрики. Немцы захватили эти машины, наполнили их резервуары бензином, взятым у французам же, и погнали в Орлеан для постройки кузовов. Рабочие, приведшие эти машины к нам, не получили никакого приказа об их уничтожении, и бензин им во-время не был доставлен.

Поток беженцев стал теперь необозримым. Люди шли непрерывно, почти плечом к плечу, днем и ночью. Автомобили едва тащились с непрерывными остановками, касаясь одна

другого. Когда их обгоняли военные эшелоны, то этим последним приходилось сворачивать в поле, где они вспахивали своими тяжелыми машинами глубокие борозды, а часто и вовсе застревали. Рядом с машинами, между ними все свободные промежутки были заполнены пешеходами, велосипедистами, людьми, катящими тачки или детские колясочки, опираясь на срезынные в лесу палки. Вся эта толпа двигалась медленным равномерным шагом среди клокопанья моторов и ругани водителей, в автомобильном дыму. Машины продвигались метров на десять, останавливались, пешеходы и велосипедисты их обгоняли, шныряя между ними. Итти пешком было куда скорее, чем ехать на машине.

Пешеходы шли медленно, как люди, безгранично усталые, шагающие уже не первый день под ярким солнцем в копоти автомобилей. Даже автомобилисты были в пути уже не первый день, многие ехали свыше недели от Парижа — а до Парижа было всего 150 километров. Пешеходы были грязны, небриты, покрыты пылью и загаром, причеки у женщин растрепались. Иные побросали в пути свои тачки и колясочки, вся дорога была усеяна сломанными кузовами их, оторванными колесами, вывалившейся обивкой. Тысячи пустых консервных банок заполняли придорожные канавы, а бумажки устилали всю дорогу.

Водители машин грубо и с какой-то ненавистью переругивались, пытались обогнать один другого. Пешеходы же помогали друг другу, как могли. Даже и тут классовые различия выступали во всей своей наготы: имущие ссорились между собою, неимущие оказывали друг другу помощь.

Французская армия в это время фактически уже перестала быть активной силой. Не попавшие в плен — а в плен попало около 2 миллионов солдат и офицеров, почти половина всей армии — тоже бежали, почти не сопротивляясь, смешавшись с толпой беженцев. Мы их видели повсюду, где нам пришлось быть. Они отступали, вернее удирали с такой быстротой, что обгоняли колонны беженцев. Из этих колонн на них сыпались насмешки и ругань. Солдаты не отвечали, они мчались, почти покинутые своими офицерами, выполняя какие-то непонятные для них приказы — уйти возможно дальше на юг, сдать без боя всю Францию. Раз как-то я разговорился с офицером одного эшелона, который остановился на отдых около нашего дома.

«Франция гибнет, гибнет, — говорил он с отчаянием. — Я проделал войну 1914 г., — он показал мне на боевой крест на своей груди, — но ведь мы же тогда дрались, мы побеждали. Что же делается теперь, почему? Ведь это наши же солдаты, наши французы. Они стали бы драться, но им никто не велит драться. Мы только начали войну, а у нас уже нет снарядов, нет самолетов, нет танков. У немцев же все это есть. Мы дрались как могли, но что могли сделать? Приходим к блокгаузу из бетона, заранее построенному за линией фронта — он заперт на ключ, у кого ключ неизвестно, а открыть его

невозможно, для этого надо взрывать дверь. Мы не могли даже добраться до фронта: все дороги забиты беженцами, мы не могли через них пробиться. И мы даже не дошли до фронта, как получили приказ итти на юг, куда — неизвестно. Мы выполняем этот приказ, но не знаем, куда идем».

Солдаты, с которыми я говорил, молодые разбитные парижане, подтвердили мне:

«Это не война, а недоразумение. Все люди мечтают, не зная зачем. Мы идем на север, штатские бегут на юг. Мы закрепляемся, начинаем стрелять в немцев, хотим взорвать мосты — нам дают приказ оставить все и итти назад. Нам предадут, это ясно».

На этот раз слово «измена» было сказано открыто. Генералы сдавались в плен во главе корпусов, как, например, какой-то генерал Корал, о котором никто раньше не слышал. Почти все мосты на севере, на пути немцев, не были взорваны. Немецкие самолеты застилали небо, их танки и бронетранспортеры просачивались в тыл, повсюду, почти не стреляя, почти не встречая сопротивления. Франция сдавалась без боя. Немцы так обнагтели от этой легкой победы, что по радио объявили французам, что уничтожат деревни и города, где им будет оказано сопротивление войсками. Для примера они разрушили пол-Орлеана, Сюлли, несколько деревень.

Порой солдаты пытались сами сопротивляться, без приказа. В Орлеане, в Туре были такие группы сопротивления, иногда с офицерами, но чаще без них. Среди них были и старики, продававшие прошлую войну и не понимавшие возможности такого позора, была и молодежь. Но что они могли сделать без поддержки своей армии против всех немецких бронированных сил и самолетов?

В Вилльнев-сюр-Шер, где застряла моя семья во время исхода, взвод солдат также пытался организовать защиту: завалили дорогу стволами деревьев, опутали их проволокой, поставили пулеметы. Но местное население сперва ругало солдат за это, потом само снесло все препятствия, и солдаты ушли.

Во всех городах, где ожидался приход немцев, жители вывесили на дверях белые тряпки, платки, в знак того, что они сдаются. Если в наших деревнях этого не сделали, то потому, что все население из них ушло перед приходом немцев.

Все видели, что армия неспособна защитить страну, а сама армия поняла, что сопротивляться она не может. Дело даже не в бездарных генералах, вроде главнокомандующего Гамелена. Гамелэн делал то, что ему приказывало правительство. Армия была обезоружена, предана, подготовлена к поражению. Крупная правящая буржуазия ждала прихода немцев, мешала армии бороться. Она вела войну против своего народа при помощи немецкого фашизма: ведь французский фашизм был слишком слаб для того, чтобы самому захватить власть. Пятая колонна работала во-всю. Да и что мог думать о сопротивлении народ, которому печать и агенты пятой колонны твердили все время, что глав-

ным врагом Франции является СССР, когда война шла с Германией?

Вероятно, именно поэтому, в момент наибольшего отчаяния, когда народ и толпы беженцев поняли, что все проиграно, что Франция разбита, они вспомнили об СССР — ведь раз их предали, солгав им во всем, значит, им агали и об СССР. Значит, только СССР мог спасти их. И неудивительно, что слухи о вступлении СССР в войну против Германии возникали не раз в колоннах беженцев.

IV. МОСТ ЧЕРЕЗ ЛУАРУ

15 июня вечером мы тоже решили уехать.

Поль Рейно по радио грустным тоном сообщил об оставлении французами Парижа. Его речь была последним отзывком радио: в округе был выключен электрический ток, мы сидели в темноте и уже не могли слушать радио.

В эту последнюю ночь никто из нас не спал. Горизонт дрожал от взрывов бомб, леса были озарены пожаром Сюлли, в небе гудели немецкие самолеты, порою низко спускаясь над нашим домом, и мы не могли зажечь огня. Трудно было думать, что красивый кокетливый городок Сюлли весь горит, что там сейчас умирают люди. А там произошло следующее.

Колонны беженцев двигались из Парижа по главным национальным дорогам на Орлеан и на Фонтенбло, к югу. Главная масса беженцев свернула с Орлеанской дороги у Этампа на Питивье, городок в 35 километрах от нас. Ее направили туда военные власти, говоря, что Орлеан сильно бомбардируется. Этамп тоже был бомбардирован, и толпа сама из него бросилась в сторону полей, на Питивье. Другая часть беженцев все-таки направилась на Орлеан. А Орлеан немцы тогда бомбили почти каждый день. От Питивье эта колонна направилась на Сюлли. Недалеко от Сюлли, километра за полтора от моста через Луару, к этой колонне присоединилась другая, шедшая со стороны Фонтенбло, так как немцы перерезали эту дорогу дальше к югу, у Санса. Обе колонны, следовательно, сливались в одну и двойным потоком текли к мосту через Луару у Сюлли. У моста произошла невообразимая давка, тем более, что движения никто не регулировал. Военные эшелоны, сами мчавшиеся к югу, попросту оттеснили беженцев на эти дороги, чтобы они им не мешали.

Зато обе главные дороги, на Орлеан и на Фонтенбло, оказались почти пустыми. По ним никто не шел: ни военные, ни гражданские. Направляя, неизвестно по чьему приказу, обе колонны беженцев на Сюлли, их направляли на верную гибель. Возможно, что это сделали намеренно. Немецкие агенты были повсюду, знали все, срывали приказы, путали телефоны, отдавали ложные распоряжения, сеяли панику среди населения. У беженцев никто нигде не спрашивал никаких бумаг, власти отсутствовали полностью. А среди беженцев, несомненно, кишели немецкие шпионы.

Чья-то преступная воля выбросила миллионы французов из городов и сел на дороги, закупо-

рила ими все пути для армии, смешала штатских с военными, парализовала всякую возможность сопротивления.

Когда обе колонны беженцев слились у моста через Луару около Сюлли, их движение приостановилось.

Надо было перейти мост. Мост был неширокий, подвесной, по нему машины могли двигаться не больше чем в два ряда, а по дороге машины шли в три, даже в четыре ряда. Люди и машины часами стояли у моста, ожидая очереди, чтобы его перейти. На переход моста уходило несколько часов, так как у выхода с него со стороны Сюлли образовался новый затор.

Велосипедисты, вслед за пешеходами, попытались проскользнуть через мост между машинами. Возмущенная толпа на них накинута, началась драка, нескольких велосипедистов побросали в реку. Велосипедистов заставили спешиться и переходить мост пешком, ведя машины в руках. Около моста дежурило несколько саперов. Они минировали мост и теперь ждали приказа, чтобы его взорвать. На фронте мостов не взрывали, а здесь, где никто уже и не думал о сопротивлении, понадобилось взорвать мосты. Ведь остатки французской армии еще не дошли до моста. Если бы на мост упала бомба, она не только уничтожила, но и взорвала бы заложенные в него мины.

Саперы молча смотрели на толпу, не пытаясь хоть сколько-нибудь руководить ее движением. Рядом с мостом стояла батарея тяжелых орудий, но около нее никого не было. Так она целком и досталась впоследствии немцам, как будто ее нарочно привезли и кинули здесь.

Многие беженцы побросали свои машины, взвалили на плечи все, что только могли снести сами, и пошли через мост пешком. Этот кошмарный переход длился несколько дней и несколько ночей. И здесь случилось то, что должно было случиться: налетели германские самолеты.

Вражеские самолеты покружились над огромной толпой, стоявшей у обоих выходов с моста и на мосту, снизались и вдруг с диким воем сирен пикировали на мост: немцы тогда, для устрешения французов, в момент пикирования пускали в ход сирены.

В шуме толпы никто не заметил их приближения и, только услышав вой сирен, все повернули головы кверху и оцепенели от ужаса. Стоявшие на берегу устремились в поле, но было уже поздно. Самолеты метили в мост и в дорогу, покрытую как икрой беженцами, а также в город Сюлли. Два раза прилетали самолеты, сбрасывая огромные фугасные и зажигательные бомбы. Их последний налет, перед самой ночью, был самым губительным.

Город, наполовину разрушенный, запылал. Только предместья, утопавшие в садах и огородах, остались более или менее целы, обрамляя черную яму развалин центра.

У людей не было ни времени, ни возможности бежать. Бомбы косили их сотнями. Пылали автомобили, зажженные бомбами. Трупы и куски трупов загромождали подходы к мосту.

При этом налете было убито около 1.000 человек, почти все беженцы.

Едва стемнело, саперы взорвали мост в Сюлли. На мосту еще были люди, автомобили, повозки. Я сам видел, много дней спустя, застрявшие на мосту в момент взрыва автомобили. Одни из них торчали из воды по самой середине взорванного пролета, другие зацепились за перила и висели в воздухе, словно люди, цепляющиеся за свою жизнь.

Сообщение через мост было прервано... по крайней мере для французов. Огромная толпа все еще теснилась у моста, словно чего-то ожидающая. На нее напирали вновь прибывающие колонны.

Постепенно все стали рассеиваться по полям, освещенным пламенем горящего Сюлли. Владелец машин пошел обратно пешком — бензина у них больше не было. Из покинутых машин на дорогу сыпались вещи, бумаги, чемоданы. В начале июля, когда я проезжал здесь, вокруг Сюлли и у моста, в полях и лесах стояло около 15.000 брошенных автомобилей, гигантский автомобильный парк...

V. МЫ ВЛИЛИСЬ В «ВЕЛИКИЙ ИСХОД»

Рано утром 16 июня мы выехали из нашего дома. Я правил большой мощной машиной, нагруженной родителями жены, их секретаршей, вещами, оставшимися от школы, детьми. Дочь моя правила маленьким автомобилем, в котором сидели моя жена, кухарка школы и еще двое детей.

От деревни расходилось несколько дорог. Поток беженцев двигался по главной, по направлению в Буржу. Но по второстепенным дорогам можно было ехать довольно свободно. Деревня была полна автомобилей, велосипедистов, пешеходов, военных на грузовиках. Местных жителей почти не оставалось. Последние из них складывали свои вещи и грузили их на повозки или автомобили. Я опять увидел мара — он уже не месил цемент, был одет по-городскому и с волнением смотрел на толпу беженцев, которые о чем-то его просили. Меня он заметил и приветствовал грустной улыбкой.

«А вы как, остаетесь?» — спросил я его.

«Да нет, вероятно, на время уеду в деревню рядом — к родным. А когда это пройдет, вернусь».

Мы пожали руки и расстались. Мне махали руками в знак приветствия и другие местные крестьяне, грузившие автомобили. Почти всех их я знал лично и лечил.

После Ванна мы смогли ехать довольно быстро, дорога была сравнительно свободна. Нашей целью был городок Сент Аман. В одной из деревень мы расстались с моей женой и дочерью, условившись встретиться с ними дальше в пути, — мне пришлось остановиться у гаража, чинить проткнутую шину. Но когда мы приехали в условленное место — большую деревню, машины с моей семьей там не было. Мы ждали ее несколько часов на главной площади деревни, переполненной беженцами и машинами. Вдоль дороги, недалеко от нас, сидели пе-

шеходы, снимали обувь и растирали израненные и стертые от ходьбы ноги.

Мимо нас мчались бесконечные военные эшелоны, на новеньких, явно не побывавших в бою автомобилях, с орудиями всех калибров, стволы которых были раскрашены свежими разными красками. И наши собеседники добавляли:

«Смотрите, как они бегут с фронта. Если бы они мчались таким же галопом на фронт!»

Мне удалось поговорить также с кое-какими солдатами из этих эшелонов. С ними почти не было офицеров, и они не стеснялись в выражениях:

«Нам приказали ехать, а куда — не сказано. Мы и не знаем, куда мы едем. Будем ехать, пока у нас еще есть бензин. А потом посмотрим».

В этой деревне, каким-то чудом, мы встретили садовника нашей школы. Он ехал из Парижа на велосипеде, в поисках своей жены, школьной кухарки. В Медоне, под Парижем, где он жил, его вызвали в жандармерию в Версаль для мобилизации и направления в полк. В определенное число, 11 июня, он явился в казарму указанного ему полка, но там никого не нашел: все уже уехали. Ему попался жандарм, также собирающийся уезжать на велосипеде. Садовник у него спросил, куда он должен явиться. Жандарм сделал неопределенный жест:

«А я почему знаю? Кажется, твой полк сейчас находится в Бордо. Поезжай туда, там увидишь».

Совет был прост. Но на чем ехать? Поезда уже не ходили. Поток машин из Парижа уже кончился. Париж и его окрестности сразу опустели. Наш садовник взял сумку, положил в нее провизию на дорогу, сел на велосипед и уехал в Ванн, где находились наша школа и его жена. В Ванне он уже никого не застал, и наудачу покатила на юг. Так, на дороге, он нас случайно и встретил.

Все, что ему пришлось увидеть, привидело его в ужас и ярость. А между тем он всегда считал Францию самой организованной страной в мире.

В Сент Аман мы приехали еще до наступления ночи. Дорога спускалась в котловину, в которой стоял город. И тут мы словно подъехали к берегу большой и бурной реки: слева от нас, по большой дороге, идущей от Буржа, явился опять поток автомобилей и пешеходов, тот самый поток, который мы покинули в Ванне, за сто километров отсюда, — эта гигантская живая змея, хвост которой еще тащился где-то недалеко от Парижа, а голова уже достигала центра Франции.

И опять на нас пахнуло атмосферой безумия, паники, растерянности.

При въезде в город, с обеих сторон дороги, виднелись поваленные стволы деревьев, оцепленные колючей проволокой, и уныло торчало дуло одинокого пулемета. Рядом с ним, на земле, сидело несколько солдат, молча куривших папиросы и глядевших на поток.

На другой день в шесть часов я был уже на ногах. Мне не оставалось ничего другого, как стоять на перекрестке и высматривать, нет ли в потоке машины с моей семьей. Часами я впи-

валяся глазами в проезжающих, иногда издали казалось, что я вижу знакомую машину, но она приближалась — и это была не та...

Но сколько я ни думал о моей семье, передо мною раскрывалось зрелище, которое своей яркостью, помню моей воли, захватывало меня, отвлекало мысли. Поток машин развертывался, как какая-то трагикомическая кинокартина. Он же прекращался со вчерашнего вечера. Он выкатывался из-за угла на площадь, сворачивал на дорогу к Монлюсон, поднимался в гору и катился дальше, через город, живший как будто нормальной жизнью. Тут можно было видеть роскошные машины, парижские таксы с обернутыми тряпкой счетчиками, с разношерстными пассажирами, нанявшими их в складчину за огромные деньги. За ними грузно тряслись парижские городские автобусы, из которых выглядывали дети, мальчишки и девочки из городских школ, с улыбками и с интересом глядящие в окна, другие с заплаканными глазами. Другие машины и грузовики были нагружены санитарками в белых наколках на волосах, мешками и чемоданами, на которых сидели работницы, модистки, молоденькие парижские продавщицы — «мидинетки». Они пытались петь какими-то кошачьими голосами, терявшимися в клоузотании моторов, не без обычного для французов задора. И задор и юмор, умерли в этой толпе.

Проезжали огромные красные пожарные автомобили с насосами, с лестницами, пожарными трубами, обсаженные кругом людьми в сверкающих медных шлемах. Они тревожно гудели, как в Париже, словно мчались на пожар. Но горел не Париж, горела вся Франция. И чтобы погасить этот пожар, не было никого. Даже пожарные дезертировали из Парижа, покинули свой пост...

Мелькали похоронные автомобили, мчались шесвойственным им аллюром, черные, зловещие, с черным балдахинном, украшенным серебряными шарами. На месте гроба, на чемоданах сидели люди и пытались улыбаться, но улыбки их имели какой-то виноватый вид. А на некоторых были и гроба — вероятно, покойников не успели похоронить, свернули, охваченные паникой, к югу, на пути к кладбищу и теперь везли трупы неизвестно куда. Женщины в трауре с завешанными черным крепом лицами, мужчины в черных пиджаках и котелках сидели рядом — родные и провожающие умершего. Ехали огромные парижские автомобили, похожие на бронетранспортеры, собирающие по утрам парижский городской мусор, и ехали с такой скоростью, которой у них никто не подозревал, похожие на бегемотов, которые вдруг пустились в пляску.

С машин что-то вдруг стали кричать в толпу зрителей, толпа заводилась. Люди стали стекаться в группы, что-то передавая друг другу с радостным видом. Я бросился к одному прилично одетому старику:

«Что, что случилось?»

И в ответ он мне вдруг сказал:

«Россия объявила войну Германии».

И прибавил:

«Это нас спасет!»

Толпа, возмужденная хроническим страхом, ожиданием какого-то чуда, томившаяся в неизвестности — не было ни газет, ни радио, мы все жили эти дни в полном неведении событий — толпа приходила в восторг, кричала «ура» России. Все цеплялись за этот слух, словно наконец-то сбывалась последняя надежда французского народа. Ведь французам теперь не на кого было надеяться. На самих себя, на свою армию, на свое правительство они больше не надеялись: все это, кроме них самих, перестало существовать.

Ведь французы все время жили в уверенности, что весь мир любит Францию, что весь мир не хочет допустить ее поражения, ее падения. Им достаточно об этом твердила все эти годы французская печать, говоря о любви к Франции всех стран, за исключением СССР! Даже Германия, благодаря пропаганде пятой колонны, выставлялась не враждебной Франции, несмотря на войну. Франция засыпала с самодовольной мыслью, что ее любит весь мир и что все страны мира придут к ней на помощь в случае нужды.

И вдруг Франция рухнула. Никто не пришел к ней на помощь. Вся печать твердила об СССР, как о главном враге Франции. И все-таки французский народ чувствовал, что здесь есть какая-то ложь. Он не чувствовал своей вины перед Россией за враждебность к ней буржуазии, за враждебность правительства. Когда кто-то бросил слух, что Россия объявила войну Германии, вся эта толпа, охваченная отчаянием и паникой, ему поверила.

Этот слух родился, потому что французы дошли до сознания, что только Россия может спасти Францию.

В том невообразимом неведении событий, в котором мы жили все это время, толпа жадно ловила слухи. Помню один характерный эпизод. На перекресток в Сент-Амане пришел городской глашатай — старинная, еще сохранившаяся во всех французских провинциях должность. Был он старенький, глухой, одет в поношенный мундир, обшитый галунами, в форменную фуражку. Через плечо, на перевязи он нес большой барабан, инструмент своей профессии, а в руках держал барабанные палочки. Увидев его, толпа бросилась к нему, окружила его, в надежде услышать важные новости. Глашатай остановился, вытирал огромный носовой платок, высморкался и откашлялся при благоговейном молчании толпы. Даже некоторые автомобили остановились, из них вылезли люди и подошли слушать. Старик ударил палочками по барабану, пустив мелкую дробь, медленно и спокойно вынул из кармана огромные очки, надел их, покопался опять в карманах и вытирал оттуда сложенную бумажку, которую развернул так же медленно, как делал и все остальное. Даже терпеливо ожидавшая известий толпа не выдержала, и из нее посыпался насмешливый и задорный голос с парижским акцентом:

«Давай газ, что ли, нажми на педаль-то!»

Глашатай, не торопясь, стал читать старческим дребезжащим голосом по бумажке, споты-

каясь на каждом слове, с трудом разбирая написанное. Тишина вокруг него стояла полная, как в церкви, задние слушатели приподнимались на цыпочки, чтобы лучше слышать, видны были склоненные головы людей, пытавшихся заглянуть в его бумажку. Глашатай, наконец, прочитал... объявление какой-то дамы, очевидно, беженки, в котором до сведения населения города Сент Амана доводилось, что она потеряла свою собачку и обещает щедро вознаграждать того, кто ее найдет и приведет к ней.

Прочтя это объявление, глашатай так же медленно снял очки, спрятал их в карман, сложил свои палочки и пошел дальше. Через несколько минут послышался его голос на другом перекрестке.

Слушатели расходились разочарованные, не обмениваясь, как это обычно бывает во Франции, шутками. Никто не смеялся. Франция перестала смеяться, утратила чувство юмора. А вокруг глашатая, на другом перекрестке, опять собиралась взволнованная и жаждающая известий толпа.

Но в тот же день распространился и другой слух, — и этот слух был верен: правительство Рейно подало в отставку, власть перешла к маршалу Петену. Сообщил мне об этом один знакомый беженец, крупный фабрикант. Он с удовлетворением прибавил:

«Ну, теперь будет, наконец, мир. Петена значили, чтобы он вел переговоры с немцами — немцы ему доверяют, он пользуется у них престижем. Он заключит мир».

К вечеру весь город оказался забитым машинами без горючего. Бензина теперь действительно больше нигде не оставалось, даже в гаражах.

На другой день утром я опять попытался достать горючего. Говорили, что в мэрии выдают ордера на него. Я сходил в мэрию, но она была пуста: весь муниципалитет, во главе с мэром, социалистом Лазюриком, уже уехал. Бюро обслуживалось добровольцами из беженцев, которые ничего не знали. Но кто-то сообщил мне под секретом, что на складе Демаре за городом бензину можно было получить сколько угодно.

Я сбегал на место нашего ночлега, усадил в машину всех моих пассажиров и поехал по указанному адресу. Но к моему удивлению в узкой улице, ведущей к складу горючего, уже стояла длинная очередь автомобилей. Очевидно, этот «секрет» был известен не только мне. Из расспросов водителей я узнал, что они стояли тут уже часа два, причем большинство из них проталкивало машины руками, так как бензина в них не было. Водители нервничали, поглядывали на часы, кого-то ругали за неопорядки, тревожно смотрели на небо. Пришлось и нам встать в очередь и толкать машину руками — наш бензин кончился.

Так мы простояли несколько часов, пока не добрались до двора склада. Огромные, выкрашенные серебряной краской цистерны с бензином поблескивали на солнце. Сотни машин двигались ко двору из соседних улочек.

Чтобы развлечься в ожидании и не слушать

нервных и бессмысленных замечаний соседей, я пошел в ангар. Там были насосы для бензина, перед ними, вытянувшись в очередь, стояла толпа. У всех в руках были пятилитровые бидоны для бензина. Пока я там был, к насосам подошли солдаты, довольно грубо оттеснили штатских от насосов и сами стали накачивать бензин в огромные 100-литровые бочки, которые они принесли с собой. Толпа сначала их пропустила, не столько из уважения к армии, сколько из врожденной у штатских боязни перед военными. Но вслед за первыми пришли другие солдаты и тоже начали качать бензин, не подпуская штатских. Те все стояли в очереди, глядя, как драгоценная влага уходит у них на глазах. Но теперь в толпе поднялись негодующие крики:

«Они берут бензин без очереди для того, чтобы удирать!»

Какой-то хорошо одетый сержант с высоким мерным видом поглядел на толпу:

«Кто там кричит, а? Вы знаете, с кем разговариваете? Мы вас расстреляем, если вы скажете еще хоть одно слово. Кто тут протестует, а? Пусть он только покажется».

Толпа, напуганная, замолкла. Но как только сержант ушел, крики возобновились:

«Что они в самом деле распоряжаются? Дратья не хотят и не умеют, а нас ругают. Не для фронта же бензин берут».

Солдаты, после ухода сержанта, ничего не отвечали на замечания толпы и молча наполняли бидоны.

В самом ангаре была та же картина — солдаты качали бензин из насосов, а толпа глядела и тихо-роптала. Несмотря на опасность, штатские и военные курили и бросали окурки на пол, посреди бидонов с керосином. Посреди ангара возвышались горы круглых бидонов в 50 литров с надписями «керосин».

Какой-то человек без пиджака, с засученными рукавами рубашки вошел в ангар и закричал толпе:

«Предупреждаю, что бензин будет отпускаться только в бидонах по 50 литров!».

Все с отчаянием переглянулись: значит, их пятилитровые бидоны ни к чему, и часы ожидания в очереди потеряны... Значит, они не смогут уехать...

Вдруг несколько человек вышло из толпы и с решительным видом направились к бидонам с керосином, взяли несколько бидонов, отвинтили пробки и стали выливать из них керосин в желоба, сделанные в цементном полу. Тогда и вся толпа бросилась к горкам бидонов, расхватали их, вырывая друг у друга, и стала тоже выливать из них керосин. Керосин полился по полу настоящей рекой, отравляющей воздух своими испарениями. Дышать стало трудно, в висках шумело, ноги плескались в керосине. Бидоны пустели, люди несли их к насосам, становились снова в очередь и... закуривали папиросы.

Каким-то чудом не произошло ни пожара, ни взрыва. Управляющий говорил вполголоса офицерам, стоявшим рядом с солдатами:

«Скорей набирайте бензин, мне приказано взорвать склад, если немцы подойдут близко».

Толпа это слышала. Все, казалось, потеряли голову. Люди рвались к насосам, мужчины дико отталкивали женщин, грубо ругались, женщины им отвечали визгливо, истерическими голосами. Ангар стал похож на дом сумасшедших. Управляющий на время куда-то скрылся и вдруг появился снова и сказал каким-то особенно спокойным голосом:

«Можете не торопиться, хватит на всех, война кончена».

Больше он ничего не прибавил, но все поняли его слова в том смысле, что перемирие, о котором ходили слухи, уже подписано. Со всех лиц сразу словно спала маска безумия, отразилась нескрываемая радость, посыпался громкий, глупый и блаженный смех людей, спасшихся от смертельной опасности. Атмосфера сразу переменилась. Все стало вдруг вежливым друг с другом, спокойным, не торопилось, пропустили женщин вне очереди, даже шутили и улыбались. Даже на небо перестали глядеть. Некоторые громко восклаивали Петена. Условиями перемирия никто не интересовался.

Заявление управляющего оказалось ложным. Было 18 июня, а перемирие было подписано только 24.

Почему же он сделал такое заявление? Получил ли он приказ его сделать? Ведь только что он заявил, что получил приказ взорвать склад при приближении немцев. А теперь он сказал другое: только что им получен новый приказ — склада не взрывать. Кто мог дать ему такой приказ по телефону? Склад так и не был взорван, цистерны были полны бензином, через четыре дня пришли немцы и захватили склад нетронутым. Пятая колонна и германский шпионаж работали лучше, чем французские военные власти.

Наполив мой бак горючим, я вернулся в город. Очевидно, и здесь прошел слух, что война окончена. Растерянность исчезла, лица преобразились, просветлели, люди говорили о самых обыденных вещах, позабыв недавнее безумие. На городской ратуше развевался огромный белый флаг, чтобы показать немцам, что город не защищен. Кто его нацепил? Ведь муниципалитет уже давно уехал. Этот флаг действовал на всех успокаивающе. Никто не думал о том, что это был флаг сдачи, флаг позора. А между тем через город еще плелись отдельные солдаты, медленно тащились артиллерийские багетей. Толпа на них глядела с ненавистью:

«Из-за них нас могут бомбить, — говорили в толпе буржуа: — В открытом городе не должно быть военных».

Но солдаты все еще шли, солдаты с недалекого фронта, где все-таки, вопреки приказам, вопреки сдаче, они дрались с немцами. Были они плохо одеты, шинели оборваны, ни пилоток, ни племов, или же шлем болтался на поясе, как кастрюля. Многие опирались на палки. Белые запачканные повязки на голове, на руках. Винтовок нет. Не было видно и офицеров. Солдаты шли толпами и в одиночку, по пустым улицам, на которых как-то сразу исчезли все автомобили. Иногда они останавливались и просили в ресторанах попить, поесть. Они уми-

рали с голоду, денег у них не было, а за еду требовалось платить.

Нельзя сказать, чтобы все жители встречали солдат приветливо. Часто на них глядели, как на нищих. Иногда им предлагали вино, фрукты, хлеб. Они ели жадно, со смущенным и виноватым видом, признавались, что не знали, где находятся их части, что отступают от самой границы и вот уже несколько дней, как не видели никакого начальства и не получали приказов.

Солдаты, встречая порой на улицах офицеров, не отдавали им чести, а офицеры делали вид, что этого не замечают. И солдаты и офицеры думали только об одном — бежать возможно дальше от фронта, от войны.

Понадобились годы германского владычества и чудовищного предательства Петена и Лавала, чтобы Франция, наконец, ясно поняла, что ее предали.

Мои спутники хотели ехать дальше на юг, но я твердо решил остаться здесь и дожидаться, пока смогу пуститься на розыски семьи. А так как машиной правил я, то мое мнение без труда восторжествовало.

По пути домой я зашел в ратушу, одна из зал которой была превращена в госпиталь для раненых. В залу входили все, как в магазин. Было там душно, грязно, койки наставлены повсюду, раненые смешаны с больными. Дамы из Красного Креста, без всякого медицинского контроля, накладывали какие-то фантастические повязки. Я хотел предложить свои услуги в качестве врача-добровольца. Нарядная и кокетливая дама из Красного Креста, которая, как оказалось, заведывала этим госпиталем и была женой супрефекта, встретила мое предложение с полнейшим равнодушием. Видно было, что судьба раненых ее интересовала очень мало, ей просто нравилось рисоваться своим халятом и своими «патриотическими» функциями. Она сказала, что даст мне ответ позже.

Уйдя отсюда с твердым намерением не возвращаться, я зашел в городскую больницу, превращенную в военный госпиталь. Там я представился главному врачу — военному. Он немедленно принял мое предложение. В госпитале находилось около 800 больных и раненых солдат и имелось всего три врача, из которых один иностранец. Другие исчезли.

Работать я начал немедленно. Мне дали белый халат и показали, где я буду работать: два деревянных барака в саду госпиталя, в которых лежало около ста раненых.

Входя в бараки, я чуть не задохнулся от невыносимой вони. Бараки были грязные, пол не подметен, постельное белье грязно-серое, койки притиснуты вплотную одна к другой. Раненые лежали, стоная, или сидели, куря, в грязных рубашках, в шинелях внакидку. Два военных санитары и две молоденьких сестры-парижанки из Красного Креста — вот и весь персонал. Санитары ничего не делали и даже не показывались. Зато сестры оказались очень серьезными, внимательными и добросовестными. Уже несколько дней, как они работали одни, без врача. Куда делся врач, я так и не выяснил.

Я обошел раненых и стал делать перевязки.

Большинство ран очень серьезные. Бинты грязные, порванные, покрытые кровью и гноем, словно раненых только что привезли с поля битвы, хотя они уже больше недели лежали в госпитале. Я спросил инструменты и материал для перевязки. Сестры мне принесли в банке со спиртом несколько заржавленных ножниц и пинцетов, нестерилизованную марлю и вату в открытом пакете.

«У вас нет ничего другого?» — спросил я. «Нет, это все. Инструментов в госпитале мало, они все в операционной. Ваты и марли тоже почти нет, их надо экономить».

А между тем надо было действовать, и действовать немедленно. У большинства раненых перевязки полны гноя, сползали с ран, и открытые гнойные раны обсажены мухами, которых раненые все время отгоняли. Тут ампутированные с одной рукой, с одной ногой, с гноящимися и вонючими культяпками, плавающие в гное, сложные переломы, газовая гангрена, — словом, ран в таком виде я еще никогда не видел в Европе со времени войны 1914—1918 гг. Тут же лежали и штатские, раненные бомбами и пулями. У одного из них столбняк, и его изолировали в темном чулане в конце барака, где он корчился и скрежетал стиснутыми от сведения челюстей зубами. Раненный осколками бомбы в деревне, он только через три дня был подобран солдатами. Его отвезли в госпиталь, где ему даже не вприсынули противостолбнячной сыворотки. Его дни сочтены. Через два дня он умер.

Пока я возился с перевязками, в залу вошла какая-то дама в городском платье, без халата и, не спросив у меня разрешения, уселась за стол посреди барака, вынула принесенный ею мешочек и громко сказала:

«Друзья мои, я принесла вам подарки-сладости от Дамского комитета синдиката торговцев города Сент-Аман».

Она вынула из мешочка горсточку конфет и сладкие булочки и стала их раздавать солдатам.

Мне все это так опротивело, что я вышел из барака и пошел к старшей сестре больницы, пожилой монашенке.

«Не найдется ли у вас умывальника для нашего барака, сестра?»

«Ох, нет, доктор, — сладко запела она, — у нас всего один умывальник, он стоит в операционной».

«Но, может быть, у вас есть где-либо в запасе или на чердаке другой?»

«Не знаю, доктор, поищите сами, сестра-экономка даст вам ключ и будет вас сопровождать», — любезно ответила сестра, ничуть не смущаясь — все это ей казалось вполне нормальным. Между тем госпиталь раньше был городской больницей и существовал задолго до войны.

Я обошел весь чердак и склады материала. На чердаке я нашел несколько старых шин и старый умывальник на колесиках со стеклянным боченком для воды. Но у него не было ни пробки, ни крана. Тем не менее я велел санитарам отнести его в барак, а сам пошел в город на розыски пробки и крана. Санитары по-

спорили, кому из них нести — каждый говорил, что не его черед. Наконец договорились и пошли вниз.

Пробку и кран я не без труда отыскал в одном из магазинов. Разговорившись с хозяином магазина, я ему рассказал про положение в госпитале, про отсутствие самого необходимого.

«Бедные наши солдатики, — вздохнул сочувственно хозяин, — такое всюду безобразие, такая разруха! Бедная Франция».

Я поблагодарил хозяина за его сочувствие, взял пробку и кран и хотел уйти. Хозяин дал мне чек в кассу.

«Пробка стоит 40 сантимов», — сказал он привычным тоном лавочника.

Я заплатил и вышел, думая тоже:

«Бедная Франция!»

Когда я принес мою покупку, госпитальный завхоз попросил меня представить ему, для оплаты купленного, счет из магазина в двух экземплярах.

Как ни тяжело было работать в таких условиях, эта работа поглощала меня, отвлекала от мыслей о потерянной в дороге семье. Я видел, что нужен раненым, а преданная работа моих молоденьких сестер заставляла забывать кошмарный эгоизм и равнодушие окружающих к судьбам своего собственного народа. Раненые это тоже понимали, не раз спрашивали меня об СССР и, чувствуя в моих рассказах глубокую любовь к моей родине, говорили:

«Мы тоже любим нашу Францию. Разве мы не сражались за нее? Почему же все это на нас свалилось?»

Моим русским патриотизмом я пробуждал в них патриотизм французский. И мы глубоко, понимали друг друга.

VI. НЕМЦЫ

За эти дни город очистился от основной массы беженцев. Оставшиеся в нем беженцы и местные жители мирно жили в ожидании событий, стоя в хвостах у булочных и у молочных лавок. Все было спокойное, не чувствуя над собой никакой опасности, хотя война еще продолжалась. Люди покорно ждали прихода немцев.

Как-то раз я переодевался в раздевальной, стаскивая с плеч не первой свежести белый халат. Вдруг вошла старшая сестра, сделала мне какой-то таинственный знак губами и руками и на ухо тихо сказала:

«Вот они, здесь!»

Я невольно оглянулся, подумав, что кто-то вошел в комнату. Но сестра с взволнованным лицом, приложив палец к губам, словно сообщая какой-то секрет, показала мне на окно: я выглянул. Перед госпиталем проходила большая дорога на Бурж, по краям ее стояли кучки жителей и в каком-то оцепенении смотрели вдаль.

Облако пыли и дыма мчалось к нам по дороге, разбитой автомобилями и повозками беженцев. Слышалось отдаленное пыхтенье моторов. Низко-низко пролетели над городом кажущиеся огромными немецкие самолеты. Отчетливо были видны на них летчики в очках и солдаты,

пригнувшиеся к пулеметам, наставленным дулами к земле. Самолеты, как коршуны, стали кружиться над городом. Черные кресты на крыльях и на хвосте резко и зловеще вырисовывались в воздухе.

А облако на дороге быстро приближалось в грохоте моторов. Теперь стало видно, что это отряд мотоциклистов, мчавшийся полным ходом. Вскоре они промчались стрелой мимо госпиталя, не обращая внимания на глядевших на них жителей. Сестра рядом со мной тоже глядела в окно, глаза ее полны слез, порою она крестилась и перебирала четки, что-то неслышно бормоча выцветшими губами. В госпитале тихо, даже раненые перестали стонать.

Мотоциклисты пролетели мимо с ужасающим грохотом. Были они покрыты пылью, ничто не блестело на их машинах, и они все как-то одинакового серо-зеленого тусклого цвета. На руле каждой мотоциклетки установлен пулемет, направленный дулом вперед. На головах у солдат серо-зеленые круглые шлемы, огромные автомобильные очки закрывали почти все лицо, только бледные, тонкие, крепко сжатые от напряжения губы, одинаковые у всех, вырисовывались под очками.

Тотчас же за госпиталем они разделились, рассыпались по улицам города. Весь город наполнился стрекотанием их машин. Они проезжали до конца каждую улицу, загибали в переулки, в туники, и возвращались обратно, рыская повсюду.

Город совершенно замер. Никто не осмеливался показаться на улицах. На дверных ручках домов уныло и постыдно висели белые тряпки — каждый обыватель вывешивал белый флаг, и город выкинул его над крышей ратуши. Из окон, через занавески, жадно и испуганно глядели женщины и дети.

Один из мотоциклистов повернулся и промчался обратно мимо госпиталя. Вскоре ему навстречу показались на дороге блиндированные автомобили, грузовики, платформы. На них стояли большие пулеметы, направленные вперед, на город, а на скамьях сидели неподвижные серо-зеленые солдаты, в шлемах, в очках, с винтовками в руках — лиц их не было видно, ехали какие-то безликие чудовища.

Затем показались открытые легковые автомобили, остановившись недалеко от нас, из них вышли офицеры, высокие, серо-зеленые, туго затянутые, в автомобильных очках, державшиеся прямо и твердо, как-то по-деревянному. Они сняли очки, стали похожи на людей, и о чем-то разговаривали на своем языке, представлявшем резкий контраст со звучным и круглым французским говором.

Во двор госпиталя въехал санитарный автомобиль с громадными красными крестами на стенках и на крыше. Из него вылез немецкий военный врач, санитары и твердой и властной походкой прошли в госпиталь. Главный врач госпиталя в военной форме, без халата, бледный, с трясущейся нижней челюстью, ждал их у входа. Немец сказал по-французски, с немецким акцентом, подчеркнуто властным тоном:

«Нам надо триста коек. Будьте любезны при-

готовить их через полчаса. У нас много усталых солдат».

Он даже не сказал «раненых». Немецкие солдаты просто «устали» — от непрерывной езды по Франции. Вряд ли немец сказал это намеренно. Он просто сказал то, о чем думал.

Вечером все городские кафе и рестораны были полны немцев. Они требовали пива, коньяку, а от вина морщились — вино им не понравилось.

Со следующего же дня немцы стали скупать штатские костюмы, дамские платья и чулки, фотоаппараты, фотопленку, обувь, не говоря уже о разных мелочах. Всюду вывешен официальный курс размена для марки: 20 франков за марку. Но марки эти были особые, специально выпущенные немцами для оккупированных ими территорий, и отсылать в Германию их нельзя. Иначе говоря, за ничего не стоящие, специально для этого случая напечатанные бумажки немцы могли купить всю Францию.

Раз как-то я находился в аптеке, которая торговала также и фототоварами. Вошли два германских офицера и спросили катушку фотопленки. Хозяин сам принес ее им и с низким поклоном вручил, словно не замечая иронического взгляда немцев.

«Сколько это стоит?», — спросили немцы по-французски.

«О, для вас это ничего не стоит, — рассыпаясь любезно хозяин. — Вы ее хорошо заработали».

Торговцы теперь ничего не хотели продавать французам. Покупатели-французцы были возмущены и передавали тысячи рассказов о наглости торговцев и их низкопоклонничестве перед немцами.

Когда я вернулся в госпиталь, там меня ждала неожиданная новость. Повсюду в городе, за подписью супрефекта, были расклеены афиши, в которых предписывалось всем, не имеющим постоянного жительства в Сент-Амане, иначе говоря, всем беженцам покинуть город в течение одних суток. Огромная толпа теснилась уже у здания супрефектуры. Каждый беженец желал лично видеть супрефекта и поговорить с ним.

Теперь дни ожидания кончились. Мы выехали в Шатонэф по обязательному маршруту, установленному супрефектом. Проехав несколько километров, я увидел на перекрестке дорогу, ведущую прямо на Шатонэф. Здесь дежурили немецкие часовые. Я спокойно прокатил мимо них, они равнодушно на нас поглядели, и мы поехали по этой дороге.

Так мы через полчаса были в Шатонэфе, и здесь я встретился с семьей...

И вот мы возвращались в наш дом в Ванне, по той самой дороге, по которой всего две недели назад ехали сюда в кошмаре «Великого исхода». Но как изменилась эта тихая проселочная дорога! По краям ее, а часто и по середине, зияли воронки от бомб, которые приходилось объезжать по полю. У многих воронок уже возились дорожные рабочие, засыпая их.

На дороге и рядом с нею валялись кузова обгоревших, опрокинутых автомобилей, поваленные машины, тачки, детские колясочки, велосипеды, погнутые, поломанные, разбитые на куски. И все это буквально засыпано тысячами пустых консервных банок, слоями разорванной бумаги.

Через несколько часов мы были уже у себя дома.

Я зашел повидать мэра деревни. Его дом вдребезги разнесен немецкой бомбой, вся внутренность выгорела. Мэр стоял около него и, как всегда, месил цемент в чане. Теперь он снова строил себе свой собственный дом. Меня он тепло приветствовал:

«Ну, как съездили? А у меня видите что?»

«Что же вы думаете теперь делать?»

«Как что? Буду отстраняться. Я ведь каменщик».

ЧАСТЬ 2-ая

1. В ПАРИЖЕ ПОД НЕМЕЦКИМ САПОГОМ

Итак, мы решили вернуться в Париж.

С взволнованным чувством мы подъезжали к Парижу, городу, ставшему для меня родным. Что стало с великим городом, сердцем и мозгом Франции, под германским сапогом? Ведь даже в 1871 г. немцы не заняли Парижа, только профинансировали один раз по Елисейским полям. А теперь они были в самой городе. Мы жадно глядели на кокетливые, нарядные парижские предместья, на улицы, на людей, не узнавая знакомые места.

Все казалось мертвым. Ставни окон закрыты, тяжелые железные шторы магазинов опущены. Дома стояли пустыми. Бесчисленные бензиновые колонки разных цветов, которыми уставлены все дороги, ведущие из Парижа, и у которых в обычное время толпятся машины, суеются продавцы и автомобилисты, теперь закрыты, за их дверцах висели замки. Машин не было. Под тенистыми деревьями бесконечных улиц предместья редко-редко виднелись прохожие. На перекрестках попрежнему стояли полицейские, регулируя почти совсем прекратившееся движение. И так же, как всегда, автоматически зажигались светофоры, останавливая и пропуская редкие машины. Невольно глаз искал разрушений, рухнувших домов, следов бомб и снарядов — но ничего этого нет. Город умер в расцвете сил и без борьбы.

Во всех предместьях, на дверных ручках, на подъездах, как и в Сент Аманде, висели белые тряпочки, символ позорной капитуляции. Без приказа французских властей в разных городах, на отдаленных одна от другой улицах людям пришла в голову одна и та же мысль — вывесить этот флаг сдачи. Уже одно это свидетельствовало о глубоком внутреннем разложении.

Тысячи кошек и собак бродили по улицам, сидели у подъездов, глядя на проезжающие машины, на редких прохожих, привязываясь к ним, следуя за ними, мяукая, лая, словно разы-

скивая среди них своих хозяев, бежавших из Парижа и бросивших их на произвол судьбы.

В самом Париже этих животных еще больше, чем в предместьях, в особенности же в богатых кварталах. Там можно было встретить отошавших до крайнего предела породистых дамских собачонок, сиамских и персидских кошек, бродивших теперь вдоль домов в поисках пищи или лазающих по крышам, как самые обыкновенные дворовые кошки. Эти животные казались живыми уликами трусости и предательства своих хозяев.

У немецких офицеров я видел сотни захваченных ими породистых «бесхозных» собак, бродивших по полям. Но животных было так много, что немцы отдали приказ их пристреливать.

А вот и въезд в Париж, «ворота Италии», большая красивая площадь, застроенная новыми красивыми домами, совершенно преобразившими за эти последние годы облик французской столицы. Обычно здесь кишел рабочий люд, выливался и вливался в город поток автомобилей, сновали сотни автобусов, велосипедистов, кричали продавцы газет.

Но въезд в Париж закрыт. Широкою улицу преградила баррикада из мешков с песком, и перед нею деревянным шагом ходит немецкий часовой. Французские полицейские делают нам знак — ехать в объезд города, по направлению к воротам Сен Клу, на другом конце Парижа. Здесь дверь в Париж заперта на ключ, и ключ от нее у немцев.

Мы едем через южные предместья Парижа — «красный пояс» столицы, Монруж, Вань, Иссиле-Мулино. Здесь много заводов, всегда дымили высокие фабричные трубы, шли рабочие на работу в кепках, в магазины шли их жены с мешочками за провизией. Не раз над мэриями этих предместий гордо развевался красный флаг.

Но теперь «красный пояс» совершенно пуст. Не дымят заводы, почти нет прохожих, только по временам видишь старика или старуху, медленно шагающих неизвестно куда и с каким-то изумлением глядящих на нашу машину. У мэрии Монружа стоит большая очередь женщин. Дома кажутся покинутыми, мертвыми, в садах и огородах никого не видно. В Клармаре и в Ванве — несколько домов, рухнувших под немецкими бомбами во время единственного налета немцев на Париж 3 июня; зияют облупленные комнаты, в которых еще сохранилась обстановка, стоят столы, стулья, кровати, висит, уцепившись за карниз, рояль, угрожая прохожему. А вот и заводы автомобильного короля Ситроена на набережной Жавель, один из центров рабочей жизни Парижа: они наполовину разрушены, обуглены пожаром. В уцелевших огромных мастерских бродят немецкие солдаты, выводят из ворот новенькие автомобили, сквозь окна за столами контор видны немецкие офицеры, нагнувшиеся над бумагами, и рядом с ними, в почтительной позе, стоят штатские — очевидно, инженеры и директора завода. Кажется, что все французы уехали из Парижа, и город стал немецким.

Но нет, этого не может быть! Всё так же уходят вдаль бесконечные парижские улицы, обсаженные каштанами и платанами, гордо взвизывает к небу ажурная Эйфелева башня, на далеком холме белеет в летнем тумане громада Сакре Кер. Покинутая столица, создание французского гения, все та же, она жива!

В первые же дни оккупации, кажется, в конце июля или в начале августа, немцы произвели перепись населения Парижа. В нем оказалось всего около 900.000 жителей; свыше четырех миллионов человек покинули столицу Франции.

Через рабочее предместье Булонь мы подъехали к воротам Сен Клу. И здесь снова увидели баррикаду из мешков с песком и немецкого часового, как две капли воды похожего на того, которого видели у ворот Италии. С краю баррикад был устроен узкий проезд, где рядом с немецкими солдатами стояли городские таможенники — пережиток прошлого; город взимал пошлину с привозимых продуктов. Вид у таможенников был растерянный. Мы въехали в город без всяких препятствий, даже документов у нас не спросили.

И вот мы в Париже.

Пустынная площадь за воротами Сен Клу, магазины с витринами, закрытыми тяжелыми железными ставнями, тишина, и повсюду кошки, кошки, множество кошек и собак, глядящих на нас с испугом и надеждой. Широкое, тенистое авеню де-Версай пустынно. Почти нет прохожих, ни одного автомобиля, даже ни одного велосипедиста. Зияет вывалившимися внутренностями разрезанный надвое бомбой дом. Немного дальше, на тротуаре, разбитые плиты, тротуар обнесен веревкой и на ней краснеет на белом фоне угрожающая надпись — «невзорвавшаяся бомба». Вот и все, что осталось в Париже от налета 3 июня.

Уходит в бесконечность авеню Елисейских полей с гордо вздымающейся в конце его Триумфальной аркой, горят на солнце серые парижские фасады высоких, но легких, как и весь Париж, домов. Все ставни закрыты, террасы кафе пусты, столики внесены во внутрь. Только в знаменитом кафе «Колизей» стоят столики на тротуаре, и за ними жестко, не сгибаясь, сидят немецкие офицеры с нагло заломленными тульями фуражек, многие с моноклями в глазу, сидят и смотрят на пустое авеню, а около них застыли в каких-то скорбных позах гарсоны (официанты), в белых пиджаках, с салфетками, переброшенными через руку. А вот и Триумфальная арка. Под нею, у могилы Неизвестного солдата, как всегда, горит огонь, неугасимая лампада, зажженная Францией у символической могилы французских воинов, павших в войне 1914—18 гг. Но перед могилой, которую раньше никто не охранял, потому что ее охранял весь Париж, теперь стоит на часах немецкий часовой, затянутый, жесткий, деревянный, с винтовкой на плече, стоит, не двигаясь, глупо пуча глаза на группу немецких солдат и офицеров, пришедших поглядеть на могилу. Немцы, подходя к ней, вытягиваются во фронт, щелкают каблуками, отдают честь — кому? Памяти

тех французоз, которые их били четверть века назад? Они стараются показать, что уважают Францию, уважают ее армию — быть может, французы это поверят.

Но французы не верят. Я остановил машину у края площади. Там стоял рабочий, подметальщик улиц, старый, взбешенный, в потертом пиджаке и кепке. Он, как и мы, глядел на немцев, отдающих честь «Неизвестному» — так сокращенно и ласково парижане звали своего неизвестного солдата, павшего за Францию. Смотрит, и глаза его краснеют от слез. Эти почести врага, фальшивые и театральные, его глубоко оскорбляют. И его губы невольно шепчут простое, народное слово, к сожалению, не переводимое в печати: «А, мерд алор! — и старик продолжает. — Вот до чего дошла Франция. «Они» думают, что нам приятно смотреть, как они щелкают каблуками перед «Неизвестным!»

С тех пор, каждый день, проходя мимо Триумфальной арки, увенчивающейся сводом и барельефами, на которых солдаты Великой Революции гордо идут в бой с веющей над их головами марсельезой, — проходя мимо этой прославленной площади, от которой 14 улиц лучами отходят во все стороны Парижа, я видел, как туда подъезжали автокары с немцами.

Среди редких прохожих, боязливо скользящих по тротуарам, в тени деревьев, я заметил необычайное количество негров. Видел я их и потом, в ближайшие дни. Никогда я не видел в Париже столько негров, как в этот момент. Раньше они как-то терялись в толпе белых. Теперь белые из Парижа сбежали. Негры — шоферы, лакеи, слуги — остались, хозяева не взяли их с собой. Легко себе представить, как радовалась этому немцы! Теперь они могли публиковать фотографии негров на улицах Парижа и сопровождать их надписями, говорящими о том, что Франция наполовину населена неграми и что французы — это помесь негров с белыми.

В парижских кинохрониках — разумеется, немецких, других не было — неизменно появлялся огромный сенегальский негр, невероятно зверского вида, с выпяченными тостыми губами, во французской военной форме. А немецкий диктор с каким-то особенным злорадством возвещал зрителям: вот, мол, кто защищал французскую цивилизацию, он оттенял слово «цивилизация» с насмешкой в голосе.

Но зрители-французы не смеялись. Они чувствовали в этом новое оскорбление Франции. Ведь эти негры защищали Францию. Француз не делал никакой разницы между негром и белым. Теперь немцы прививали ему понятия расизма, чтобы показать, что они, немцы, люди высшей расы, расы белой.

Дом, где мы жили, был совершенно пуст, все жильцы бежали. Только немногие, оставшиеся в Париже консьержки (привратницы) болтали, как и раньше, у подъездов, замолкая при виде прохожего.

Я распахнул окна квартиры, чтобы проветрить застоявшийся за время нашего отсутствия

воздух. Набережная перед домом пуста. Но под нею и на противоположном берегу торчали обычные для Парижа фигуры парижских рыболовов — даже война не помешала этой страсти парижских рабочих и мелких лавочников. Париж без рыболовов на набережных, без их длинных бамбуковых удилич, не был бы Парижем. Недаром Мопассан воспевал эту характерную для парижанина страсть: парижский рыболов любит ловить рыбу в Сене, а не в других местах. Даже беженцы в Луаре, где я жил, никогда не ходили ловить рыбу в реке — им для рыбной ловли нужен парижский воздух, окружение великого города, барки на Сене и буксиры.

Напротив, на Эйфелевой башне, высоко-высоко в синем небе реял злобещий флаг с черной свастикой. Символ фашизма развевался над Парижем. Сколько пройдет времени, пока Франция очнется и сбросит его?

В лавках нет ни молока, ни масла, ни овощей. Зато сколько уродно консервов, и продавались они очень дешево. Торговцы еще не думали о спекуляции, да и не могли спекулировать — не было покупателей. В нашей молочной за кассой попрежнему восседала пышная почтенная мадам Барюс, хозяйка крупнейшего в нашем квартале магазинчика. Перед кассой толпились женщины — прислуги из богатых домов квартала; хозяева их уехали.

«Ну, как у вас дела?» — спросил я хозяйку. «Мы остались в Париже и никуда не уезжали, — с гордостью ответила она. — Вы видите объявление?» — И она показала дощечку с надписью: «Как и в прошлую войну, молочная Барюс остается в Париже и не будет никуда уезжать, что бы ни случилось».

И она величаво принимала деньги, выдавала чеки на продукты.

Когда немцы вошли в Париж, в нем не выпекали хлеба, Центральный рынок, «брюхо Парижа», закрыт, поездка не ходила, подвоза не было, обитатели обречены на голод. Прекратилось и всякое городское движение, исчезли автобусы, увозя тысячи парижских школьников и женщин на юг, исчезли такси, грузовики. Вечером пустой Париж невыразимо грустен в своей мертвой, неуявляющей и после смерти красоте.

Всю ночь, в полной тишине, на улицах слышались тяжелые шаги германских патрулей. Они шагали равномерно, грузно, как автоматы, и узнать их можно было по стуку подкованных железом сапог и по ритму шага. Когда по улице шел всего один немец, он тоже шагал в ногу с каким-то воображаемым отрядом.

Иногда хлопали одиночные выстрелы. Но кто стрелял и почему, так и оставалось неизвестным. Французские полицейские в квартале загадочно об этом молчали.

Ночью и днем, почти непрерывно, над Парижем, низко распластав крылья с черным крестом, летали германские самолеты. Флаги со свастикой вывешены на всех официальных французских учреждениях: ратуше, Палате депутатов, министерствах, над всеми крупными отелями, занятыми немецкими штабами.

Авеню Монтэнь и старинная улица Риволи были перегорожены барьерами, и езда по ним разрешалась только немцам.

В отеле Мажестик, у самой площади Звезды, помещалось гестапо.

Слегка очнувшись от первой растерянности, французы с ужасом и негодованием увидели, что Франция уже не их страна, что ими владеют немцы. А немцы, со свойственной им грубостью, на каждом шагу указывали французам, что они побеждены.

Еще со времен прошлой войны за немцами во Франции осталось презрительное прозвище «бош». Слово «бош» родилось в боях на Марне, раньше во французском языке оно не существовало. Его выдумали парижане. Вместо «альман» (немцы) парижские солдаты стали говорить «альбош»: окончание на «ош» по-французски, в особенности же в Париже, имеет презрительное обозначение. Постепенно «альбош», по свойственной французам любви к сокращениям, стали произносить просто «бош». Это слово вошло во французский язык. Немцы его тоже знали.

И теперь, как в дни первой мировой войны, французы, говоря между собой о немцах, презрительно называли их «бошами». Немцы запретили произносить это слово. Если кто-либо уличали в этом, его штрафовали на 700 франков. Тогда французы вслух стали называть немцев «фридолинами» — от слова «фриц», которое немцами также было запрещено. Но немцы запретили и это слово. Правда, за него штраф был меньше, чем за «боша». Со свойственной им аккуратностью немцы для оскорбительных слов установили особый тариф штрафа. В провинции крестьяне называли немцев «дорифор» — картофельные жучки. Парижане не знали, что такое картофельные жучки, но слово им понравилось и также вошло в обиход. Называли их французы также и «арико вер» — зеленые бобы, по цвету мундиров.

В одну из моих поездок из Парижа в Ванн я остановился в Питивье, в местной гостинице. Хозяйка, чуть не плача, рассказала мне о своих злоключениях. Немцы заняли городок, вызвали ее к себе и потребовали, чтобы помещение гостиницы было немедленно очищено.

«Мадам, нам нужна ваша гостиница для наших офицеров. Теперь половина девятого. В десять часов гостиница должна быть освобождена от всех жильцов».

«Помилуйте, ведь у меня полно женщин и детей. Куда же они денутся теперь, ночью, когда в городе все полно?»

«Мадам, я не спрашиваю вашего мнения по этому поводу. Будьте любезны выполнить приказ в срок.»

В назначенный срок явились немецкие офицеры со своими денщиками и в один миг заняли все помещение. Все жильцы были выброшены на улицу. Женщины плакали, дети кричали. Какая-то молодая женщина крикнула немцам: «Дорифоры!»

Немецкий офицер повернулся к ней и сказал:

«Я знаю, что вы нас называете дорифорами. Ну что ж, тем хуже для вас. Мы поедим, как дорифоры, вашу картошку, а вы будете грызть стебли».

Немцы выполнили эту угрозу. Картофель еще с осени 1940 г. исчез во Франции. Зимой его выдавали по карточкам по одному или по два кило в месяц.

В городе все больше и больше распространялись листовки и прокламации компартии. По рукам ходила истрепанная книжка де Голля — «О современной войне». Читали из патриотизма, потому что ее написал де Голль, читали люди, даже ничего не понимавшие в военном деле. Словно свежим ветром пахнуло на парижан, когда еще в июле 1940 г. они вдруг услышали по радио из Лондона первые призывы де Голля. Значит, не все еще умерло, есть еще французы, которые борются с немцами и зовут других драться с ними!

Однажды на рынке я видел, как к полицейскому, наблюдавшему за продажей по установленным ценам, подбежала торговка:

«Господин полицейский, тут какая-то женщина раздает коммунистические листовки».

«Это меня не касается, — невозмутимо ответил ей полицейский. — Я здесь стою только для того, чтобы проверять цены».

Однажды полиция арестовала на рынке женщину, продававшую «Юманти», напечатанную на машинке, на грубой бумаге. Женщина стала уверять полицейского, что она тут не при чем, что ей просто дали бумагу для заворачивания продуктов — покупатели тогда уже должны были сами приносить с собой бумагу для заворачивания.

«Где вы живете?» — сурово спросил у нее полицейский комиссар.

Женщине пришлось дать свой адрес. Комиссар послал к ней на квартиру инспектора, чтобы произвести обыск.

Инспектор явился по указанному адресу. Там его встретила девочка лет тринадцати, дочка арестованной.

«Я пришел произвести обыск, — сказал ей инспектор. — Покажи мне, где твоя мама прячет листовки».

Перепуганная девочка стала плакать и уверять, что она ничего не знает. В конце концов ей пришлось показать инспектору пакет с листовками.

«Есть у тебя печка или камин?» — сердито спросил инспектор. Девочка привела его к печке в соседней комнате. Инспектор положил в печку все захваченные им листовки и сжег их тут же. Вернувшись в комиссариат, он доложил своему начальнику, что при обыске ничего не нашел. Женщина была освобождена.

И таких случаев насчитывалось сотни.

Полицейские в Париже стали патриотами. Они вспомнили о том, что и сами были французами. И парижский народ очень скоро понял это и оценил. Раньше парижане не любили полицию, полицейских презрительно обзывали «коровами», а полицейских-велосипедистов — «коровами на колесиках». Теперь же многие

из них стали друзьями народа в его борьбе с немцами.

Немцы и власти Виши скоро это заметили и начали «чистить» французскую полицию. Но чистка шла сверху, меняли начальство, а мелкие служащие оставались на местах. Немцы сотнями арестовывали парижских полицейских и даже комиссаров. Сам префект полиции Ланжерон был ими дважды арестован и после второго ареста в конце 1940 г. куда-то исчез. В очередях рассказывали, что Ланжерон был дегольцем, что у него нашли склад оружия и т. д. Не знаю, насколько это верно. Но Ланжерон уже по одному этому стал популярен в Париже.

Такова полиция в оккупированной зоне. В зоне же неоккупированной, в «Петении», как ее презрительно называли парижские франко-немецкие газеты, полиция была фашистская, снизу доверху назначенная Виши. Мне пришлось самому в этом убедиться.

В конце августа 1940 г. я увидел из своего окна плывущий по Сене караван каких-то странных барж — у них были словно отрублены носы и срезаны кормы; впереди и сзади как бы образовались ворота. Я спустился на набережную. Там, вместе с другими рыбаками, сидел и ловил рыбу консьерж соседнего дома, человек немолодой, угрюмый. На нем был «рыболовный костюм» — какие-то гольфовые штаны, американская куртка и широкополая соломенная шляпа, хотя для своего похода ему только нужно было перейти улицу и спуститься по каменной лестнице к воде. Но таков уже ритуал всех парижских заядлых рыбаков. Он угрюмо глядел на свой поплавок.

«Что это за странные суда?» — спросил я у него.

«Странные? Ничуть. Вот уже неделю, как они каждый день проходят. Это просто-напросто наши баржи, которые немцы гонят к морю».

«А почему у них отрублены нос и корма?»

«Как почему? Немцы хотят из них сделать мост, чтобы перебраться в Англию. Приставят их конец к концу, вои и получатся мост».

«А дальше что?» — спросил я.

«А дальше, надеюсь, англичане зададут им перцу. Это наши солдаты и генералы мостов не взрывали, а англичане такого не допустят», — убежденно добавил он.

«Охота вам тут ловить рыбу», — иронически заметил я. Консьерж вскипятился:

«А разве я забавляюсь? Я работаю. Мяса нет, зато мы будем сегодня есть рыбу, и завтра будем. Сейчас все ловят рыбу, не только я. Вот, поглядите сами».

И он показал мне на берега Сены, которые, действительно, как мухами, были обсажены рыбаками. Над мутной и серой водой Сены колыхался целый лес бамбука, в радужных пятнах керосина на воде плавали цветные поплавки. Люди удили сосредоточенно. Это была уже не забава, а рыбный промысел.

Немцы, как оказалось потом, действительно отправляли баржи на Ламанш и пытались ор-

ганизовать на них переправу через пролив. В начале октября английское радио сообщило миру, что немцами была произведена попытка высадки в Англии, но отражена с огромными потерями для немцев.

Было и другое подтверждение этого факта. Через знакомых врачей я узнал, что в немецких военных госпиталях, в городках вокруг Парижа, скопилось огромное количество германских раненых — почти все жестоко обожженные, без всяких других ранений. Через север Франции, к Германии, шли бесконечные санитарные поезда с такими же обожженными солдатами. В Париже говорили, что англичане «зажгли море», выпустив на него горящую нефть, и этим отразили немецкую попытку наступления. Немцы ничего не говорили об этой попытке. Но в Париже в начале октября было объявлено несколько воздушных тревог, выли сирены. Парижане, раньше так боявшиеся воздушных налетов немцев, теперь не испытывали никакого страха. Когда начиналась тревога, все выходило на улицу и с надеждой глядели на небо. Громко говорили: «Ну, и зададут же англичане перду немцам!». И эти воздушные тревоги были для парижан радостью. Доверие к англичанам стало подниматься.

Парижане широко использовали затемнение города для того, чтобы покрывать стены анти-немецкими надписями. Утром повсюду на тротуарах можно было прочесть начертанные мелом слова: «Да здравствует де Голль!». Надписи эти покрывали и стены домов, заборы, а больше всего их было в общественных писсуарах. Курьезно, что во Франции XIX века эти писсуары всегда служили местом для антиправительственных надписей.

Позже, зимой 1941 г., когда французское радио в Лондоне рекомендовало французам всюду писать букву V (от слова «виктуар» — победа), все стены и тротуары покрылись этой буквой. Эту букву можно было найти на германских военных автомобилях, и на немецких ганках, и даже на спинах немецких солдат. Помню, я видел одного немца, шествующего по бульвару Сен Мишель, в самом центре студенческого квартала. Все на него смотрели, вернее, на его спину. Немец, не понимая, глупо ухмылялся. А на его спине белела начертанная мелом огромная буква V.

Тогда же возник и жест, ставший символическим — поднятая рука с двумя растопыренными пальцами в форме буквы V.

Немецкие же афиши и афиши Виши в ночной темноте раздирались в клочья. В метро на афишах французской фашистской газеты «Эвр», редактором которой был предатель Марсель Деа, всюду было приписано цветным карандашом: «предатель», «продажная шкура».

За срывание немецких официальных афиш полагалась суровая кара. В апреле 1941 г. немцы отдали приказ, по которому за все надписи на стенах домов и на тротуарах несли ответственность домовладельцы и их консьержи. По утрам можно было видеть, как консьержки тщательно стирали с тротуаров и стен надписи. Но на другой день эти надписи появлялись снова.

Перед крупным отелем «Иена» на площади Иена, где помещался один германский штаб, я каждый день, проходя утром, видел надпись на тротуаре: «Да здравствует де Голль!».

Сперва люди роптали просто от голода, от колоды, только смутно ощущая боль от обид, наносимых национальному самолюбию. Постепенно это, чисто материальное недовольство, стало принимать форму национальной борьбы с немцами, перешло к пробуждению французского патриотизма.

Первыми стали манифестировать студенты. Их состав к этому времени несколько обновился. В высшие школы вернулись из армии демобилизованные студенты и принесли с собой тот дух возмущения, который охватывал армию в дни позорных сдач и военной разрухи.

Де Голль стал национальным героем. Студенты не раз демонстрировали свои симпатии к нему, разгуливая по бульвару Сен Мишель, «Бульмишу», как его ласково называли в Латинском квартале, с удилищами на плечах — по-французски удилище называется «голь» (gaule).

Но позже манифестации стали более определенными. 11 ноября 1940 г., в день праздника перемирия 1918 г., праздник победы над немцами, студенты короткем прошли через Елисейские поля, направляясь к могиле «Неизвестного солдата» под Триумфальной аркой. Могила «Неизвестного» стала символом страны, победившей в 1918 г. Германию. Сами немцы, как я говорил, разыгрывали перед мбилой комедию воинских почестей.

Студенты дошли до Триумфальной арки. Полиция не допустила их до могилы, и они повернули обратно, затянув марсельезу. Французские полицейские, опасаясь худшего, пытались уговорить студентов разойтись, но напрасно. Тогда вмешались немцы. На студентов набросились немецкие солдаты под командой офицеров, стали их разгонять и избивать прикладами. Затем несколько студентов было арестовано, посажено на грузовики и куда-то увезено. О некоторых из них с тех пор их семьи ничего не знали. Манифестация взволновала город.

На другой же день, по приказу немецкого генерала, коменданта Парижа, все высшие школы и университет были закрыты. Студенты из провинции должны были немедленно покинуть Париж. А парижских студентов обязали каждый день являться в полицейские комиссарнаты и там расписываться. Латинский квартал опустел. Но французская полиция не очень строго выполняла этот приказ: она позволяла студентам расписываться вперед на несколько дней или же задним числом.

Вскоре после этих инцидентов немцы арестовали знаменитого ученого, профессора физики Ланжевена. Его отвели в тюрьму Сантэ, где он несколько дней спал на простой соломе, пока не разрешили прислать ему из дому одеяло. Тюрьма Сантэ была поделена между французами и немцами: половина ее числилась за немцами. Ланжевен просидел в Сантэ почти три месяца на «немецкой половине», а в январе 1941 г.

был сослан в город Труа, где его поселили под надзором гестапо. Население Труа, промышленного рабочего города, отнеслось с исключительным вниманием к Ланжевену, имя которого было известно каждому французу. Ему приносили провизию, незнакомые люди приходили выразить ему свою симпатию. И только французская Академия наук ничего для него не сделала, не выразила никакого протеста по случаю его ареста. Реакционные элементы, заседавшие в этой Академии и позже сотрудничавшие с немцами, давно уже ненавидели Ланжевена, как одного из виднейших деятелей Народного фронта, бесценного председателя всевозможных антифашистских организаций. Ланжевен, получивший нобелевскую премию по физике, всемирно известный ученый, даже не был избран членом Академии наук в свое время, и только незадолго до войны его, наконец, приняли в Академию.

В Париже упорно говорили, что арест Ланжевена был произведен немцами по указаниям Виши. Французские фашисты всегда глубоко ненавидели его.

Семья Ланжевена сильно пострадала за эти мрачные годы. Годом позже немцы арестовали и расстреляли мужа дочери Ланжевена, молодого французского ученого и коммуниста Жака Соломона. Дочь Ланжевена также была арестована немцами и отослана в Германию. Говорили, что немцы перед отправкой обрили ей голову.

Ланжевен, еще до своего ареста, осенью 1940 г., был приглашен нашим полпредством во Франции на работу в СССР и выразил свое согласие на этот переезд. Но немцы отказали ему в визе.

Позже, осенью 1941 г., немцы начали громить весь французский ученый мир, расстреляли молодого и известного профессора политической экономии Поллицера, арестовали, посадили в лагери и расстреляли целый ряд других ученых, из которых многие входили в марксистские кружки и были членами Общества культурного сближения с СССР (так называемый АПЕКС).

Зимой же 1941 г. немцы явились в Тургеневскую библиотеку в Париже, основанную Тургеневым. В ней было свыше 50.000 томзв книг, из них многие очень редкие, на русском языке. Эта библиотека во времена Ленина и революционной политэмиграции дореволюционного периода была одним из центров культурной жизни русской политэмигрантской колонии в Париже. Немцы погрузили всю библиотеку на грузовики и увезли в Германию.

В ноябре 1940 г. немцы попытались устроить первые еврейские погромы. Раз как-то днем я встретил на Елисейских полях небольшие группы молодых французов, двигавшихся по улице с криками:

«Долой евреев! Смерть евреям!».

При этом они бросали камни в витрины еврейских магазинов. Им удалось разбить огромную витрину знаменитого своей рекламой парижского фабриканта мебели Левитана, еще несколько витрин, среди которых были и не ев-

рейские. Публика на них смотрела враждебно, никто их не поддерживал. Они смутнились и постепенно разошлись. Полицейские не вмешивались, очевидно, боясь немцев и зная, что все это организовано немцами. Больше таких погромов не устраивалось. Слишком уж было ясно, что эти молодчики наняты немцами. Французы вообще не антисемиты, и еврейский вопрос их не интересует. Тем не менее кое-кто из них клюнул на антисемитскую пропаганду немцев во французских газетах.

В это же время начались публикации немцами всяких ограничительных законов об евреях, хотя официально их издавали не немцы, а французские власти. Евреев стали исключать из университетов, запрещать преподавание профессорам-евреям. Ректоры университета подчинялись этим приказам, не протестовали. Но они все-таки старались смягчать, в пределах возможного, применение этих мер. Так, одному моему приятелю, профессору медицинского факультета, известному ученому и врачу, ректор сказал:

«Мы вас не исклучим, и вы будете получать свое жалование, как и раньше. Но лучше, чтобы вы пока не показывались на факультете. Мы просто не объявим вашего курса в этом году».

И фактически вся еврейская профессура была выкинута за борт.

Некоторые профессора-евреи проявили изрядное малодушие. В газетах появилось письмо, подписанное профессорами медицинского факультета Абрами, Безансоном и еще одним, в котором эти врачи заявляли, что они не евреи. Должен добавить, что по крайней мере один из них, Безансон, был евреем и об этом знали все в Париже. Это письмо не возвысило их в глазах порядочных профессоров.

Евреям рядом декретов из Виши запретили почти все профессии. Они не могли быть ни служащими, ни чиновниками, ни продавцами, ни биржевыми маклерами, ни торговцами, ни банковскими служащими — а именно в этих профессиях было больше всего евреев. Еще в октябре 1940 г. во все еврейские торговые фирмы были посажены «управляющие», с целью чьясьнить, не является ли данное предприятие убыточным. Если оно таковым являлось, оно продавалось с торгов «арийцам». Управляющий должен был, разумеется, быть «арийцем». В интересах управляющего было доказать, что предприятие убыточно, так как тогда он смог его купить за бесценок. На еврейские счета в банках были наложены аресты.

В мае 1941 г. гонения на евреев приняли обычную для немцев варварскую форму. Однажды все еврей-мужчины в Париже получили приглашение явиться в полицейские комиссариаты. Когда они туда пришли, их посадили на грузовики, не разрешили зайти домой за вещами, предупредить семью и отправили в концлагери под Парижем. Около 25.000 евреев были отправлены таким образом. В концлагерях ничего не было приготовлено для их приема, не было помещения, не было пищи. Уже после моего ареста меры против евреев были еще усилены, их изолировали в новых небоскребах,

в предместье Парижа Дранси, и там немало их было расстреляно за «бунт».

Еще осенью 1940 г. немцы организовали в Париже «молодую французскую гвардию» (Seune garde française). Эта гвардия была попросту антисемитской погромной организацией. Штабы ее находились в двух магазинах, один на Елисейских полях, другой на бульваре Сен Жермен, в Латинском квартале. Витрины этих магазинов были украшены антисемитскими надписями, а посредине висел большой плакат: «Франция для французов».

Два здоровых парня в коротких штанах, в синих рубашках, с повязкой на рукаве, на которой, на фоне национального французского флага, была изображена свастика, с револьверами в кобурах, стояли перед входом и нагло глядели на публику, словно вызывая ее на скандал. На Елисейских полях всегда было очень много гуляющих, полно немецких офицеров и шпионов. Из толпы слышались враждебные возгласы. Молодчики эти зверски ругались, даже бросались в толпу.

Однажды мне пришлось наблюдать такую сцену. Кто-то из толпы спорил с фашистскими молодчиками. Правда, он делал такой вид, словно их защищал. Обращаясь к толпе, он говорил:

«Я вот нахожу, что эти молодые люди проявляют необычайное по нашим временам мужество. Я не могу их не одобрять».

«Почему?» — послышался из толпы вопрос, заданный враждебным тоном.

«Да как же? Вся Франция оккупирована немцами, а эти молодые люди имеют смелость заявить публично: Франция для французов. Разве это не мужество?»

Фашистские молодчики, совершенно не ожидавшие такого вывода, взглянули на оратора с яростью, не зная, шутит ли он или говорит серьезно. Потом бросились на него, но он исчез в толпе. А толпа восторженно хохотала.

Немцы систематически и планомерно «организовали» всю французскую печать. Они искали при этом из того соображения, что каждый француз имеет свою определенную газету, к которой он привык, тон которой он любит. Следовательно, надо было продолжать давать ему ту же газетную пищу, но ввести в нее фашистский яд.

Поэтому все крупные французские газеты должны были сохранить свои названия и даже своих сотрудников — последнее было не так уж трудно в насквозь продажной буржуазной печати.

Газета «Матэн», не прекращавшая своего выхода с момента германской оккупации, ведшая и раньше германфильскую пропаганду на немецкие деньги, продолжала свое гнусное дело. Ее редакция стала главным штабом немецкой цензуры и немецких вдохновителей. Еще до начала войны «Матэн» была единственной французской газетой, которую разрешалось продавать в Германии. Редактор этой газеты, одна из гнуснейших личностей французского

газетного мира, Стефан Лозанн, когда-то подкупленный царским русским правительством, вел тогда пропаганду в пользу царизма и царских займов во Франции и против русской революционной политэмиграции. «Матэн» всегда продавалась тем, кто ей хорошо платил.

Из крупных газет немцы сохранили «Матэн» и «Пти Паризьен». Этим газетам не приходилось ничего менять ни в стиле, ни в содержании. Эти газеты читались мелкой буржуазией, парижскими консьержками, мелкими лавочниками.

Для интеллигенции и мелких служащих немцы сохранили газету «Эвр», во главе которой осталась прежний ее редактор, фашист, бывший «неосоциалист» Марсель Деа. С ним остались многие из старой редакции: де ля-Фушардер, Жак Дюбуэн, даже Александр Зеваес, бывший социалист, «историк» рабочего движения во Франции.

Для рабочих немцы стали издавать новую газету — «Франция на работе» («La France au Travail»).

Во главе ее они поставили тоже весьма гнусную личность: в газете он подписывался Дьедонне. Это был известный женеvский фашист, швейцарец, автор бесчисленных шантажей и скандалов в Женеве, некий Ольтрамар. Внешне этой газете немцы придали облик «Юманите», да и печаталась она в той же типографии, где раньше печаталась «Юманите». Газета эта с самого же начала влязла резко демагогический тон. Она всячески поносила международный капитализм, представляя его, как еврейско-английскую организацию. Французская буржуазия не сразу разобралась в характере этой газеты и решила, что она и в самом деле рабочая газета. Ведь французская печать достаточно наговорила ей о том, что коммунисты — друзья немцев. Вдобавок, в самом начале оккупации немцы выпустили из французских концлагерей всех содержавшихся там интернированных, сделав это с явно провокационной целью. В богатых кварталах буржуа враждебно косились на тех, кто читал «Франс о Травай», так же, как раньше они косились на тех, кто читал «Юманите».

Нужно отдать справедливость парижскому пролетариату. Хотя он вначале и был смущен этой газетой, но очень скоро разгадал немецкий маневр, и через несколько месяцев никто из рабочих больше ее уже не читал.

Настоящая же «Юманите» выходила тайно, печаталась на машинке, размножалась на плохой бумаге, на двух листочках и широко распространялась в рабочих кварталах и на рынках. За ее продавцами охотились агенты Виши, избивали их, арестовывали, сажали в тюрьму. И все-таки она выходила и читалась все больше и больше.

Для крупной, солидной буржуазии немцы стали издавать газету «Новые времена», похившую и форматом, и стилем на газету «Тан», продолжавшую выходить в Виши.

Печать во Франции имела огромное влияние на население. Но печать, руководимая немцами, оказалась слишком грубой подделкой, она

слишком мало усвоила французскую психологию и поэтому очень быстро вызвала полное недоверие к себе. Газетам французы при немцах перестали верить.

Зато некоторые сведения доносило французское радио из Лондона с первых же дней его существования. Несмотря на то, что немцы и Виши запретили его слушать, несмотря на штрафы и преследования, слушали его буквально все французы. Немцы тогда еще не отобрали радиоприемников у населения. Но немецкое радио ставило всевозможные помехи английским передачам на французском языке. И все-таки французам удавалось его слушать, и все политические события в мире становились немедленно известными во Франции.

Немцам удалось привлечь к себе продажную часть французских интеллигентов и писателей. Обработка их немцами и французским фашизмом началась еще задолго до войны. Большинство из них были материально и морально связаны с буржуазией, из недр которой они вышли. Пробриться писателю во Францию очень трудно — издательское дело все больше и больше сосредотачивалось в руках крупных издательских трестов, в свою очередь тесно связанных с крупными финансовыми предприятиями и банками. Распространением литературы во Франции почти монополично распоряжалась фирма Ашетт, которая могла легко затереть, погубить любую книгу, нежелательную для буржуазии. Издательства разорялись, лопались одно за другим, и еще перед войной Ашетт постепенно скупал за бесценок все лучшие французские литературные фирмы. Так Ашеттом было куплено издательство «Ла нувелль Ревю Франсэз» и ряд других, после чего характер выпускаемых ими книг резко изменился. Начинаящему писателю было почти невозможно найти издателя: он должен был сам платить крупным издательствам за первое издание своей книги, а это было не всем под силу. Литературную карьеру приходилось строить на политических связях, следовательно, считаться с политическими убеждениями влиятельных «друзей» из политического мира. Ашетт выпускал ряд еженедельников, вроде «Вандреди», «Марианн» и т. д., считавшихся журналами левого толка, но в которые буржуазия и правительство сажали своих агентов. Агенты эти легко могли дискредитировать и погубить эти журналы, если те не нравились буржуазии. Так произошло с еженедельником «Вандреди», один из редакторов которого был политическим агентом Даладьё, а позже стал начальником его кабинета. Многие писатели и интеллигенты строили свою карьеру на политических связях, «выезжали» на левых настроениях, когда это считалось нужным, как, например, во времена Народно-го фронта, а потом переходили в лагерь откровенных фашистов. Все это создавало в стане литераторов и интеллигентов ощущение неустойчивости, разлагало их психику и мораль. И неудивительно, что в нужный момент крупная буржуазия и немцы смогли их попросту купить, привлечь к себе на работу и службу.

Так было с писателем Селином, врачом по

профессии, которого я знал по работе в Лиге Наций, где он служил. Тяжело раненный в голову в прошлую войну, озлобленный неудачами на своем врачебном поприще, в литературе он сперва развивал анархические настроения, ругая всё и всех, потом, накопив денег, к которым весьма пристрастился (получив первые гонорары из редакций после своего нашумевшего романа «Путешествие на край ночи» и «Смерть в кредит»), он спрашивал у всех совета, как ему выгоднее поместить эти деньги, не потерять их. Он обрушился на евреев, которые, по его мнению, были виновниками его неудач — в Лиге Наций он работал в секция гигиены, директором которой был польский еврей Райхман, сразу раскусивший Селина. В результате незадолго до войны Селин опубликовал гнусный антисемитский роман «Пустяки для погрома» («Bagatelles pour massacre»), написанный, как и все произведения Селина, похабным, площадным языком. Роман этот был переведен на немецкий язык и широко распространен гитлеровцами. Перешли к фашизму и Монтерлан, Шатобриан, Дрие ля-Рошелль.

Другие писатели, под влиянием тех же факторов, ударились в пораженческие, анархические настроения, в вульгарный пацифизм. Недаром Жан Жионо изрек в эпоху Мюнхена свою историческую фразу: «Лучше быть рабами, чем воевать». Как это было непохоже на лозунг лионских рабочих в эпоху Французской Революции XVIII века: «умереть или жить свободными»!

В противопоставлении этих двух лозунгов вся история французской буржуазии — от времен великой героической борьбы Революции XVIII века до полного ее морального разложения в 1940 году. Разве мог воевать с фашизмом класс, в котором хотя бы один представитель «мыслящего начала» отважился выражать мнение, подобное мнению Жана Жионо?

Ясно, что и французским фашистам, и немцам все это было наруку, все это подготовляло разложение французского народа, ослабляло его волю к борьбе с фашизмом, морально дезорганизовало.

Обычно, когда в Париже выпадал снег и морозило, все торопились в Булонский лес, чтобы там покататься на коньках на замерзших прудах, побегать на лыжах по заснеженным лужайкам. Но в этом году немцы закрыли Булонский лес для парижан — запретили туда вход и поставили часовых. Официально это запрещение объяснялось репрессией за убийство в лесу немецкого переводчика. В Париже шептались, что приехал Геринг и поселился в знаменитом отеле — ресторане «Шато де Мадрид». В Париж в начале оккупации приезжал и сам Гитлер, но никто из парижан его не видел. Все были очень удивлены, когда в иллюстрированных журналах, в частности в журнале «Синьяль», великолепно издаваемом немцами на французском языке (мелкими буквами на обложке значилось, что он печатался в Германии) — появилась фотография, изображающая, как Гитлер любит Парижем с высот Трокадеро.

Голод в Париже усилился к весне 1941 г.

Население провело голодную зиму, а надежды на улучшение с весной не оправдались. Наоборот, немцы, готовя свой удар против СССР, все в большем количестве забирали продукты у населения. Мелочные лавки пустовали. Мелочные торговцы, правда, доставали на Центральном рынке небольшое количество продуктов, но их было совершенно недостаточно, чтобы обеспечить снабжение населения: так, торговцу маслом давали 10—12 кило масла в неделю, и то после долгого стояния в очереди. Сколько клиентов мог он удовлетворить таким запасом? С боем к мясникам привозилось мясо, но это мясо почти тотчас же скупалось немцами для парижского гарнизона. Помню, раз я пришел в нашу мясную, около Елисейских полей. В окне магазина были видны заманчивые туши мяса, которые служащие мясной очищали от костей. Тут же ждали немецкие солдаты, брали мясо без костей и увозили его на грузовиках в отели, где жили немецкие офицеры. Когда все мясо было забрано, мясник предложил покупателям-французам, стоявшим в очереди около мясной, взять кости на бульон. Велико было возмущение толпы при таком предложении.

Французы победнее, рабочие, служащие, интеллигенция, чтобы добыть пищу, могли делать только одно: сесть в поезд или на велосипед и ехать в провинцию в поисках продуктов. Велосипед еще можно было найти, хотя и за дорогую цену. Почти у каждого француза был раньше велосипед. Во Франции в 1939 г. на 41 миллион населения числилось 15 миллионов велосипедов, главным образом в деревнях. В Париже велосипедов было меньше. Теперь, в пустоте парижских улиц, вспомнили о велосипедах. В январе 1941 г. появились такси-велосипеды: маленькая колясочка на два места, на велосипедных колесах, которую тащили два дюжих велосипедиста. При подъемах на гору им приходилось слезать со своих машин и тащить их и колясочку руками. Стоил этот транспорт очень дорого, и таких такси было мало. Интересно, что парижское население с самого же начала отнеслось к ним крайне враждебно. Парижане видели в этом унижение своего человеческого достоинства, своего рода китайские «рикши», где человек исполнял обязанности лошади. Особенно их возмущало, когда такое такси занимали немецкие солдаты.

В это же время в Париже стало процветать меновое хозяйство. Торговцы за продукты требовали от покупателей другие продукты. Товаро-сделки совершались в задней комнате ларок. Мясник менял часть мяса у молочника на масло, молоко на яйца, зеленщик менял овощи на рыбу и т. д. Все эти продукты расходились по друзьям и родственникам лавочников или же обменивались у других лавочников. А среднему обывателю почти ничего не оставалось. Только лавочники и питались довольно сносно в голодном и холодном Париже 1941 года.

А как прекрасен был тогда неуязвимый Париж в своем весеннем наряде, когда вдоль улиц и проспектов цвели каштаны, липы, зеленели платаны и как-то особенно нарядно и строго выступали здания, памятники, сады и

парки! Нужно было спуститься в метро, переполненное пассажирами, чтобы увидеть картину страданий Парижа. Почти у всех пассажиров узлы, чемоданы, портфели. Других способов передвижения не было, с вокзалов все перевозили в метро. Даже носильщики с вокзалов везли багаж до дому клиентов в метро. А кроме того, все, уходя из дому, брало с собой чемоданчик или портфель в надежде где-то по пути перехватить за любую цену еды. Разговоры в метро вращались почти исключительно вокруг еды. Люди, похудевшие, с изможденными лицами, бледные, вспоминали о днях благополучия, на-ухо сообщали друг другу, где можно было достать продукты. Подземный Париж жил своей кипучей жизнью, все парижское население, казалось, сошло с улиц и перешло в метро.

В декабре 1940 г., когда снабжение Парижа было особенно плохо, немцы решили устроить своего рода «диверсию». Во всех газетах было объявлено, что германское правительство «согласилось» перенести в Париж кости «Орленка», сына Наполеона, умершего, как известно, в австрийском плену, в Шенбрунне. Немцы «согласились», хотя их никто об этом не просил.

Все это произошло невероятно быстро. На другой же день после того, как продажные газеты выразили свое восхищение перед «великодушным» актом германского правительства, кости «Орленка» оказались уже в Париже. Быть может, это даже и не были кости «Орленка» — просто немцы набрали где-нибудь костей — трупов было тогда достаточно — и бросил их французам, надеясь этим польстить их благоговению перед памятью Наполеона и отвлечь внимание от тяжелой действительности. С вокзала кости «Орленка» были торжественно перевезены в Дом инвалидов, рядом с могилой Наполеона — его отца.

На три дня Дом был предоставлен для обозрения французам, пришедшим сюда почтить память «Орленка». Огромная очередь парижан выстраивалась каждый день у входа в здание и медленно, в благоговейном молчании, дефилировала перед могилой Наполеона. Но напрасно немцы думали, что, выбросив голодным парижанам кости сына Наполеона, они заставят их забыть о голоде и примириться с победителями. Французы, идя к праху «Орленка», демонстрировали этим вражду к немцам, которых так презирал и так бил Наполеон. Поклонение праху «Орленка» стало манифестацией парижского, французского патриотизма.

Немецкая затея провалилась.

В театрах ставили старые классические пьесы французского репертуара. Шел «Сирано де Бержерак» Ростана, шла «Мадам Сан Жэн». И когда в этих пьесах актер прославлял Францию или кричал «Вив ля Франс!» по ходу действия, театр разражался аплодисментами.

Начиная с марта 1941 г. из Парижа и окрестностей немецкие войска стали исчезать. Даже в самом Париже стало меньше немцев. Немцев куда-то уводили. В школе моей жены я узнал, что их угоняли на Восток. Зачем? Теперь мы это знаем.

ЧАСТЬ 3-ья

I. БЕГСТВО И АРЕСТ

В яркий солнечный день 22 июня 1941 г. — было воскресенье и мы спали долго — нас разбудил знакомый француз, сообщивший, что Германия напала на СССР. Не веря своим ушам, мы бросились к радио, повернули кнопку, и голос московского диктора-француза возвестил о начале войны, повторяя без комментариев знаменитое московское радио-сообщение.

Оставаться в Париже было невозможно. Все иностранцы, и в частности все советские граждане, состояли на учете полиции. Речь шла о часах, если не о минутах. Но куда бежать и как?

Дочка моя отправилась на велосипеде в разведку к полпредству на улице Гренелль. На войне ничто не делается без разведки. Вокруг полпредства могли шнырять шпики-немцы. Через полчаса она вернулась, взволнованная. С шести часов утра здание полпредства было оцеплено немецкими солдатами и французской полицией. Всех проходящих туда немцы арестовывали.

Оставался только один путь — пробраться в Виши, перейти «демаркационную линию», установленную немцами между оккупированной и неоккупированной зонами.

Но перейти границу между зонами можно было только нелегально. Тысячи французов занимались тем, что переводили людей через линию. Толпами сюда устремлялись военнопленные, скрывшиеся из лагерей, евреи, бегущие от немцев, и просто французы, едущие к родственникам или по делам.

Неимущих французы перевозили бесплатно, самоотверженно рискуя собой. С богатых обычно брали деньги — франков 300—500.

Рано утром 23 июня я распрощался с семьей и сел в поезд, шедший в город Н., расположенный близ линии. По нашим сведениям, там легче всего было перейти границу. К тому же в этом городе начальником французской полиции был ярый деголлевец. К нему мне дали явку наши парижские товарищи. Весь мой багаж уместился в маленьком ручном чемоданчике — ничего больше взять нельзя было.

Долго, долго смотрел я из окна вагона на фигуру жены, затерянную среди толпы на платформе. Мы расставались надолго, быть может навсегда. Мировая буря захлестнула и нас, разорвала, раскидала по свету.

В город Н. я приехал рано и повидал начальника полиции, к которому меня направили мои парижские друзья. Начальник сообщил мне, что он уже смещен, а его помощник арестован немцами. Печати у него отобраны. Словом, он сейчас ничего не мог для меня сделать.

Ждать было нельзя. Хозяин мой тоже беспокоился. Вечером он познакомил меня с местным пожарным, который лихо заявил, что перебраться через зону — самое плёвое дело и что завтра же он все устроит, если я только не боюсь. Мне было велено не бриться и не мыться. По-

жарный — назову его Рошетт — сказал, что даст мне одежду и все прочее.

Рано утром он пришел в кафе и принес мне порванную синюю куртку, такие же штаны, смятую кепку, топор и пилу. Я должен был одеться как лесоруб и итти в лес как бы на работу. Я напялил куртку и штаны на мой городской костюм, привесил топор к поясу, а пилу перекинул через плечо.

Рошетт захватил по дороге велосипед, привязал к нему мой чемоданчик:

— Идите прямо по этой дороге, километров 10, а там я вас обгоню и покажу, где сворачивать.

Я зашагал по красивому гудронированному шоссе. Наряд шел на работу, крестьяне ехали на поля. Над городом кружили германские самолеты. Сначала мне казалось, что все понимают, кто я такой, но после того, как несколько встречных обратились ко мне на ты, я вошел в роль.

В шести километрах от города мне повстречался германский автомобиль с офицерами. Завидев меня, он остановился. У меня защемило сердце.

Один из офицеров на ломаном французском языке спросил у меня дорогу в какую-то деревню, о которой я не имел ни малейшего понятия. Я смело стал объяснять им, как туда проехать, где свернуть.

Автомобиль умчался, я зашагал быстрее. Тут меня обогнал Рошетт на велосипеде и, не сходя с него, сказал:

— Сверните на первую дорогу налево в лес и идите к домику лесного сторожа. Я там буду. А главное не останавливайтесь!

Поворот начинался метрах в пятистах, не больше. На шоссе, прямо передо мною, стояла немецкие часовые, и путь был загорожен колючей проволокой. Это — граница.

С бьющимся сердцем я свернул на лесную дорогу. Справа шли три ряда густой колючей проволоки, за ними была «свободная» зона. Слева стоял лес. И прямо передо мной шагала немецкий пограничный патруль из 15—20 солдат с собакой-ищейкой.

Я замедлил шаг, чтобы не обгонять патруль. Солдаты шагали быстро, не обращая на меня внимания. Вот они повернули и исчезли за поворотом. Когда я дошел до поворота, на дороге никого не было!

Я пошел быстрее и в кустах налево услышал немецкий говор. Патруль залег там и наблюдал за дорогой. Отступить уже нельзя. Я прошел мимо, ожидая, что меня окликнут, спросят бумаги. Если бы я был одет по-городскому, это, наверное, произошло бы. Но старый лесоруб, решительно и спокойно идущий на работу, не возбуждал у них сомнений. Меня никто не окликнул. А если бы спросили бумаги, пришлось бы плохо. У меня был только советский паспорт. Если бы его нашли, меня немедленно расстреляли бы как советского шпиона.

Метрах в трехстах проволока справа обрывалась. Там находился домик лесного сторожа, и к нему вела дорога, на которой торчала рогатка из колючей проволоки. Рошетт стоял у домика

и что-то пилил. Я повернул к нему — теперь я был за проволокой, в свободной зоне, но опасность еще не миновала. Рошетт быстро прошептал, продолжая пилить:

— Ступай прямо по просеке, не оглядывайся, пока я тебя не обгоню. Немцы имеют право стрелять на 300 метров в свободной зоне.

Я зашагал по просеке. В лесу тихо, только жужжали насекомые. Прошел полкилометра, километр — просека загибалась, дороги и долины уже не видно. Тут меня догнал Рошетт — на велосипеде с чемоданчиком:

— Поздравляю, вы в свободной зоне! Но будьте осторожны, здесь полиция сволочная, она служит немцам, она и нашу полицию арестовывает и доносит на нее.

Полчаса спустя мы оказались в деревушке, в домике знакомой Рошетт крестьянки и распивали вино за победу. Я снял костюм лесоруба — крестьяне этому не удивились. Только теперь Рошетт узнал, что я русский, и долго, восторженно жал мне руки и пил за победу России. Он даже хотел заплакать за вино. «Сколько я вам должен за переход?» — спросил я. Рошетт завертелся.

— Я бы ничего с вас не взял, я так рад помочь русскому. Правда, переход очень опасный и для меня большой риск...

— Ну, а все-таки?

— Я, право, не знаю. Скажите, 300 франков для вас не много? Мне целовко брат, но знаете, если я потеряю работу, я стольким рискую...

Я дал ему 500. Он просиял и хотя долго отказывался, но в конце концов взял и опять долго жал руки и желал победы. К его чести я должен сказать, что если бы я сказал, что у меня нет денег, он помирился бы с этим. В конце концов рисковал он немало. Сколько «перевозчиков» сидело в тюрьмах и сколько их было расстреляно! А 500 франков в это время немного стоили — полкило ветчины на черном рынке.

Разве мог я предвидеть, что именно завтра, 30 июня, правительство Петена, по приказу немцев, порвет отношения с СССР и наше полпредство в тот же день выедет из Виши?

В понедельник 30 июня, ровно через неделю после моего отъезда из Парижа, я приехал на автокаре в Виши.

Было часов 11. Автокар, полный народу, проехал предместья новой перенаселенной столицы «свободной зоны» и остановился на мосту около фабрики, где показалась жандармская будка. В автокар вошел жандарм.

Все спешно вытаскивали бумаги. Жандарм внимательно осматривал их и молча возвращал. Очередь дошла до меня. При виде советского паспорта глаза его блеснули:

— Будьте любезны выйти и подождать у будки.

Я вышел. Жандарм тотчас же спрыгнул вслед за мною. Автокар уехал. Жандарм передал мои документы в будку и предложил подождать, — он был вежлив. Я стал расхаживать по мосту. Жандармские патрули останавливали всех прохожих, спрашивали документы. Вскоре ко мне подвели еще одного задержанного — он оказался русским эмигрантом.

— Сколько же времени я буду ждать здесь? — спросил я у жандармов. — Я хотел бы сообщить о себе в наше посольство.

— Подождите, скоро приедет полицейский чиновник и тогда вы сможете позвонить по телефону, — успокоительно ответил жандарм. Потянулись часы. Сидеть было не на чем. Я слонялся по мосту.

Часа в четыре приехала полицейская машина. В ней сидел очень молодой полицейский чиновник. Я обратился к нему с протестом по случаю задержания и просил разрешения позвонить в полпредство.

— Мы сейчас поедem к комиссару, и он вам все это немедленно устроит, — любезно ответила молодой полицейский.

Мы приехали на огромный стадион. Поднялись наверх. Там, на скамейках стадиона, сидело человек 500 русских, иные в самых невероятных костюмах. У каждого в руках был номер, и их вызывали по номерам. Молодой человек, привезший меня, бросился с моими документами к усатому военному комиссару. Тот взглянул на бумаги и отложил их в сторону:

— Могу я по телефону предупредить наше посольство о моем задержании? — спросил я.

— Мы сами это сделаем, — сухо ответил комиссар.

Часа три мы помаялись на стадионе, под палящим солнцем. Меня на допрос не вызвали. Всех нас грузили в машины и повезли в городскую госпиталь. Жандармы в пути держались вежливо, но чувствовалось, что вежливость с каждым часом уменьшается.

В госпитале для задержанных были отведены две палаты. Одна — для женщин, которых было очень мало. Туда же поместили стариков и больных. В другой палате, пустой, на паркет накалили немного соломы. Здесь безвыходно пролежали мы три дня.

Только теперь я узнал, что правительство Виши, по приказу немцев, порвало дипломатические сношения с СССР. Поэтому отдан приказ об аресте всех русских. В госпиталь свезли человек 300 русских белоэмигрантов. Находились там одна сотрудница полпредства и переводчик, задержанный в этот же день.

Затем меня, вместе с небольшой группой арестованных, посадили в грузовик и привезли в центральный полицейский комиссариат Виши, в здание ратуши. Был уже вечер.

Там нас грубо принял дежурный полицейский. Велел немедленно сдать вещи, обыскал, взял бумажник, часы, ручку — все, что нашлось в карманах, и вдобавок шнурки от ботинок, гаустук и подтяжки. На мой протест он ответил, что действует по закону. Но после протеста полицейский стал вежливее, записал все отобранное в книгу и предложил расписаться я.

До полуночи мы сидели в кордегардии, куда все время приходили и уходили полицейские. Все они были пьяны, многие едва держались на ногах. Рядом в комнату привозили арестованных на улице людей и допрашивали их. Слышалась грубая ругань полицейских, затем дикие вопли допрашиваемых, которых избивали.

Камера размером 4 на 2 метра почти целиком была занята низкими нарами.

Лежать было жестко, воздуха нехватало. Виши начали кусать как-то сразу.

Днем мы сидели в кордегардии, где пьяные полицейские играли в карты или в ручной бильярд. На ночь нас запирали в подвале. Иногда вечером нашу процессию замыкал пьяница, которого под руку вел такой же пьяный жандарм-ключник.

Помощником начальника комиссариата был старый толстый эльзасец. Я попросил его выяснить у комиссара, какой срок никогда к нам не появлялся, когда же меня освободят. Помощник ушел и через десять минут вбежал ко мне разъяренный:

— Вы еще смеете требовать? Да вы знаете, кто вы? Вы русский, советский. Я видел ваше дело — оно вот какое, — он развел руками, чтобы показать его размеры. — Ваше дело очень серьезное. Вам остается только молчать.

Через несколько дней вечером в комиссариат явились жандармы с походными сумками. Вызвали сперва сотрудницу полпредства Сою и велели ей приготовиться в путь, — куда, не сказали. Едва мы распрощались, пришли другие жандармы за нами. Так за все время нас и не допросили.

Жандармы вынули наручники и сковали нас попарно. Я был пятым по счету, и от наружников избавился. В таком виде повели нас, окружив четырьмя жандармами, через город к вокзалу. Было еще светло, на улицах люди с любопытством глядели на ставший обычным кортеж арестованных.

После восьми дней каталажки и спанья на голых досках ночь в набитом вагоне была крайне утомительна. Жандармы вежливы, сдержаны. Вообще эти профессиональные блюстители порядка неизмеримо приличнее, чем вновь набранные петеновские ставленники, всякого рода «гражданские стражи», государственная полиция и т. д. На одной из станций я увидел каких-то военных в форме, очень похожей на германскую, но говорили они по-французски. Наши жандармы подмигнули мне с недоброжелательным видом:

— Это государственная полиция!

Промелькнули Клермон-Ферран, Монтобан, Тулуза с вокзалами, набитыми народом, с пыльными буфетами и с портретами Петена на всех углах.

К вечеру того же дня мы прибыли в Верне.

II. ЛАГЕРЬ ВЕРНЕ.

На равнине построено несколько десятков длинных деревянных бараков. Посредине шло шоссе с триумфальной аркой, на которой было написано: «Французское государство» — вероятно, это должно означать «добро пожаловать». Эта надпись во времена Петена заменила «Французскую Республику». Отныне было только «французское государство», символом и главой которого являлся дряхлый, глупый, злой предатель Франции — маршал Петен.

По одну сторону шоссе, без всякой системы, построены бараки, в которых помещались жандармы, гражданская стража, контора лаге-

ря, мастерские, кантина (лавка) для интернированных, ресторан и бля для жандармов. В центре этого квартала стояла тюрьма, а около нее кордегардия, где дежурили жандармы.

По другую сторону у шоссе находилось большое обнесенное двойным рядом колючей проволоки пространство, где были выстроены параллельно бараки для интернированных. Одни бараки на вид новенькие, обмазанные снаружи штукатуркой или цементом, с окнами. Другие — из побуревшего от времени дерева, без окон, с многочисленными, прорубленными самими интернированными отверстиями.

Все это пространство разбито на кварталы, отделенные один от другого тоже двумя рядами колючей проволоки. Посредине каждого квартала в центральном проходе возвышались деревянные уборы.

За проволоками, вокруг бараков и по центральной аллее двигалось множество людей. Были среди них молодые, почти малячки, были древние седые старики. Почти все они одеты только в трусики. Казалось, тут собраны, как в больнице, туберкулезные в последней стадии или умирающие от рака. Они ходили бесцельно, группами или поодиночке, останавливались, подбирали окурки на земле и жадно курили. Здесь представлены все национальности Европы.

Ночь мы провели со стражами в кордегардии. На утро нас повели в довольно отдаленный квартал, он состоял всего из двух бараков. Рядом с ним находились баня и больница. Нас ввели в большой барак без окон, с земляным полом, с двумя этажами деревянных нар. Там было уже полно. Дали чехлы для тюфяков солому, чтобы их набить, и дырявое грязное одеяло.

Что же это за публика?

Во всех городах «свободной» зоны 30 июня были задержаны все русские или считавшиеся таковыми. Их согнали, как скот. Из 400—500 задержанных, после проверки, обычно брали под арест 5—6 человек, иногда больше, иногда меньше. Этих отсылали в лагерь, как «опасных», как «большевиков».

Но из 120 человек в нашем бараке около половины — белоэмигранты, из них много махровые реакционеры. Были евреи из всех стран Центральной Европы, Польши, Румынии, — многие из них по 30 и больше лет жили во Франции и по-русски вообще никогда не говорили.

Была группа в 25 человек из репатриационного лагеря Ле Миль около Марселя. Эта группа состояла из лиц, которым советское консульство в Виши дало советское гражданство и послало в Ле Миль в ожидании отъезда в СССР. Разразившаяся внезапно война помешала их отъезду, и французы отправили всю эту группу в Верне.

Законы во Франции Петена перестали существовать. Любого человека можно было схватить и посадить бессрочно в лагерь по приказу префекта, назначенного Виши.

Заключение в лагерь означало не только изоляцию человека. Лагерная администрация стре-

милась отравить самое его существование, сломить его волю и разложить морально.

Лагерный режим предназначен физически истощить и уничтожить заключенного.

Государству лагеря никакого дохода не давали. А расход на их содержание очень большой. Только на пропитание интернированных отпускалось по 11 с половиной франков в день на человека. Официально считалось, что половина этой суммы расхищается, и начальству лагеря было выгодно иметь возможно больше интернированных. Каждый лагерь являлся крупным источником дохода для администрации, для интендантства.

«Гражданским стражам» платили 1.100 фр. в месяц, из них вычиталось 600 фр. на еду — и притом плохую. Бригадир получал 2.000 фр. Любой рабочий на заводе зарабатывал тогда вдвое больше.

Неудивительно, что в «стражи» шли самые неспособные, никчемные люди — бывшие легионеры, безработные без всякой профессии, епившиеся сутенеры. Почти все они носили «франциску» — значок фашистского легиона фронтовиков, созданного Петеном для опоры своей власти. Но опора эта была ненадежная. Бывшие фронтовики шли в легион потому, что без этого нельзя было получить работы, и легионеры, в частности наши «стражи», уже тогда доносили Виши и Петена на чьм свет стоит.

В своем эгоизме, в своей злобе они вымещали на нас все свои страдания, все неудачи Франции и свои собственные. Мало у кого из них был патриотический порыв, желание бороться с врагом. Немцам они трусливо и рабски подчинялись и теперь издевались над нами, зная, что мы бессильны и безоружны.

Бригадиры и начальники кварталов требовали, чтобы интернированных, разговаривая с ним, вытягивался во фронт и снимал шляпу. Поэтому большинство интернированных ходило без головного убора. Каждое утро комендант квартала обходил бараки. Дежурный или кто другой при входе кричал «смирно». Все должны вставать без шапок и, вытянувшись, стоять у своих мест. Комендант зло глядел на всех и искал к чему бы придраться.

Избиение в лагере происходило нередко, особенно зверски избивали арестованных в тюрьме, в ход пускались кулаки, ноги, приклады. Избиение было вообще одним из любимых методов французской полиции, быть может, самой развращенной и продажной в Европе.

Я почти не помню, чтобы из лагеря кого-либо освободили. Люди сидели годами. В лагерь на срок не сажали, сажали бессрочно. Это было хуже, чем тюрьма, чем каторга. Сажали без обвинения, без суда, по произволу администрации, даже без официальных мотивов. Протестовать было бесполезно. Писали прошения префекту, министру внутренних дел. Ответ иногда приходил через полгода, всегда отрицательный и без объяснения причин отказа. Чаще всего ответы вообще не давались. Я трижды писал министру протест против моего интернирования. Через год я уже в Дельефе, меня вызвали в контору лагеря и там прочли бумагу из Виши, в которой сказано, что власти не видят основа-

ний для моего освобождения или для перевода в другой лагерь. Но какие были основания для моего интернирования, этого в бумаге сказано не было.

В августе 1941 года одна из приехавших комиссий неожиданно вызвала всех, кто проходил службу во французской армии. Таких оказалось свыше 100 человек. У многих — боевые ранения, некоторые имели награды. Все надеялись на освобождение. Комиссия, состоящая из префекта, его секретаря, коменданта лагеря и еще кого-то, задала каждому несколько вопросов и отпустила. Никто, конечно, освобожден не был. Сидел со мной в бараке один русский, бывший солдат экспедиционного корпуса, человек политически очень неразвитый и вообще мало культурный. После мировой войны он остался во Франции, женился на французке, вдове убитого на войне солдата, имел 8 детей, из которых двое служили солдатами во французской армии и были в германском плену. Сам он получил французское гражданство в 1928 г., жил в своем домике около Бордо, работал на заводе. Его обвинили в коммунизме (обычная формула, писавшаяся в «деле») гласила: анархист, коммунист, пропагандист), лишили французского гражданства и посадили в лагерь. Жена и семья остались без всяких средств. Никому не было никакого дела до судьбы этого ветерана французской армии.

С наибольшей надеждой ждали комиссий разные мелкие и крупные буржуа, спекулянты. Мы, политические и интербригадцы из Испании, не ждали освобождения от французов, несмотря на всю бесмысленность нашего интернирования. Ведь интербригадцы сидели за проволокою уже третий год, многие из них, если не большинство, никогда во Франции раньше не бывали. За что же их держали в лагере?

Всякого рода валютчиков, торговцев черного рынка, темных дельцов в лагере было немало. Встречались и бродяги и вообще всякие сомнительные личности, неизвестно чем жившие и для кого работавшие. Возможно, что многие из них раньше обслуживали германскую разведку. Из всех этих элементов начальство лагеря вербовало своих шпионов, провокаторов. Среди них много явных старых провокаторов, работавших на французскую охранку или на «второе бюро»... Их режим отличался от того, который был установлен для всех прочих. В лагере им давались всякие теплые местечки. Они тоже считались интернированными, но в лагере их хорошо знали и поэтому сыском и шпионажем они занимались через подставных лиц, своих агентов, которые имелись во всех бараках. Эти агенты также вербовались в среде мелкобуржуазных элементов, без устойчивого положения или же среди тех, кто в прошлом жил от занятий, находившихся на грани закона.

Особенно знаменит среди провокаторов был венгерец Шиллер. Бывший офицер австрийской или венгерской армии — это был международный шпион, работавший для разведки той страны, которая ему платила больше, а обычно и для нескольких разведок сразу.

Во время войны в Испании Шиллер приехал туда и, как офицер и специалист, занял круп-

ное положение при интернациональных бригадах. У него чин капитана и ему предложили видный пост в штабе этих бригад. Таким образом он знал решительно все о военных операциях, предпринимавшихся республиканской армией. В это время он состоял агентом французского «второго бюро». Но возможно, что одновременно обслуживал и другие разведки. Шиллер нанес страшный вред республиканской армии, вред, который до сих пор не может быть точно установлен.

Правду о Шиллере узнали только тогда, когда интербригады перешли французскую границу и были посажены в лагерь. Шиллер жил в лагере уже официальным чиновником «второго бюро», занимался установлением личности интернированных и решением их судьбы. Впоследствии Шиллер в чем-то провинился или провинился в лагере Гюрс и его послали в Верне, но уже в качестве интернированного. Возможно также, что попросту выжав из него все, что можно было, французы теперь выбросили его, как ненужный сор, в лагерь. Но хотя Шиллер и числился интернированным в Верне, он находился на особом положении, жил на квартире у лагерного начальства, носил приличный штатский костюм, разъезжал на велосипеде по окрестностям, заезжая иногда в лагерь, командовал «стражами» и вел в бюро лагеря какую-то таинственную административную работу. Питался он также особо и вероятно не плохо, судя по его цветущему виду и по солидному брюшку. Маленький, круглый, толстый, с самодовольным лицом, хорошо одетый, в гетрах, как и большинство полицейских в штатском, он приезжал на велосипеде к бюро лагеря, оставлял машину на попечение «стражей» и шел в бюро. В лагере с ним никто кроме шпиков не разговаривал. Говорят, его не раз и сильно били. Но к этому он повидимому относился философски, как к нормальному при его профессии явлению.

В каждом бараке имелись свои «информаторы», причем большинство из них работало не за страх, а за совесть: за работу им не платили, особого пайка не давали, и они ее выполняли из желания выслужиться, подольститься и, быть может, таким путем добиться освобождения или же каких-нибудь преимуществ.

В бараке рядом с нашим жил «начальник» всех этих мелких шпииков, официально считавшийся у жандармов главным шефом всех дневальных. Был он по профессии музыкантом-скрипачом и, говорят, неплохим. В лагере он быстро опустился и стал мелким доносчиком. Вдобавок он болел сифилисом в тяжелой форме. Вокруг него вертелось множество более мелких шпииков.

Сидел в Верне и другой крупный шпион, агент «второго бюро» Гарай. Он ходил какой-то развратной походкой и стремился выразиться литературно по-французски, что ему не удавалось, так как он вообще по-французски говорил ужасно. О том, что он шпион, знали все, поэтому ему не было надобности особенно это скрывать. В Верне он официально заведывал комнатой, в которой давались свидания интер-

нированным с их женами. Сам Гарай жил рядом с этой комнатой, в том же бараке. Из этой своей обязанности он ухитрился сделать выгодное ремесло: за соответствующую мзду сдавал интернированному и его жене свою комнату на час или два, а сам в это время сторожил у входа в барак, оставляя супругов наедине. В Верне его все так и звали «сводней», иногда его били, но он и к этому относился спокойно.

В Джелфе Гарай сразу устроился: стал писать или говорил, что пишет книгу по истории лагеря. Нетрудно себе представить, какая это «история» и в каком духе она писалась, если за эту «работу» он получал особый лагерный паек!

Командантом был абсолютно бесцветный полковник-старик, из типа французских старых военных, выслуживающих чины годами. В лагерь полковник почти никогда не заходил, интернированными не интересовался, на прошения не отвечал и вообще не играл в нашей жизни никакой роли.

Всеми делами по части интернированных в лагере вершил комиссар Людманн, вльзасец, ярый сторонник режима Виши, фашист немецкого типа. Он знал каждого из нас, распределял на работы, отсылал в Африку, переводил в другие лагеря и освобождал когда хотел.

При лагере имелись две кантины — лавочки, одна для интернированных, другая для «стражей» и жандармов. Цены в кantine для интернированных за одни и те же продукты были в среднем в три-четыре раза выше цен кантины для «стражей». Кантина делала оборот свыше миллиона франков в год. Все излишки шли в пользу заведующего кантиной — французского чиновника и начальства лагеря. Кроме того, в каждом квартале устроено свое отделение кантины, заведывание которым начальство поручало своим людям, из шпииков. Сменить заведующего кантиной очень трудно, так как его утверждало начальство. У «кантиньершика» все местные шпиики и провокаторы были приятелями, и при рассмотрении бюджета и отчета кантины они поднимали крик и вой против всех, кто этот отчет пытался критиковать.

Обычным наказанием в лагере являлась тюрьма — маленькие темные камеры с соломой на грязном полу, в которых находилось по 10—12 интернированных. В тюрьме жандармы часто избивали арестованных. Сажали сюда не меньше, чем на неделю.

За проступки менее «тяжелые» виновному, по приказу коменданта, низко остригали волосы. Таких «стриженных» были десятки в каждом квартале.

Рядом с нашими бараками находились барак «стариков», там сидели действительно старики, иным под 75 лет. Обращались с ними так же грубо, как и с нами, но у них в бараке, грязном и темном, были кровати. Раз как-то пять стариков пошли с другими за посылками, хотя их и не вызвали по списку. Комендант это заметил и послал их с «гардом» к парикмахеру — остричь голову. Пока их стригли, прибежал другой гард с приказом отменить стрижку. Но приказ запоздал — стариков остригли.

Головы стригли за разговоры чехов проволоку с соседними кварталами. Помню, первый раз мне сказали:

«Вас зовут к телефону».

Я изумленно посмотрел на товарища. Тот рассмеялся:

«Телефоном у нас называется разговор через проволоку».

В лагере говорили на жаргоне, смеси слов на всех языках, главным образом испанском. В ходу было такое обращение «Hombre!» (по-испански человек). Добавка к пище, после ее распределения, называлась «реганче» — тоже военное испанское выражение.

Так день за днем тянулась наша лагерная жизнь.

Вот некоторые выписки из моего дневника 1941 года.

«16 ноября 1941 года. Вчера встретил украинца Кузьминца, молодого бледного парня, бывшего интербригадца. Парень высокий, крепкий, но с особенной бледностью, свойственной лагерным. Он крутил из старых мешков веревки, делал туфли и продавал их. Я его давно не видел. Он одолжил мне свою единственную книжку, томик Горького на русском языке.

«Куда вы делись? — спрашиваю. — Уезжали?»

«Нет, — грустно улыбнулся он. — Сажу и работаю».

Вечером, в 8 часов, после ужина, он внезапно умер.

Умер от истощения...»

«17 ноября 1941 года. За последние дни наши «стражи» стали менее грубы. Говорят, что им дан свыше приказ обращаться с нами вежливо.

События на советском фронте разворачиваются благоприятно. Немцы остановлены.

Сегодня из лагеря куда-то увезли наших товарищей-немцев: Франца Далема, депутата-коммуниста рейхстага, и Рау. Далем из Логарингии, наполювину француз. Его брат был офицером во французской армии. Увезли и итальянца Галло, бывшего комиссара интербригад в Испании. Всех их французы выдают Германии и Италии. Все это было сделано незаметно, поздно вечером».

«19 ноября 1941 года. Итальянцы ловят крыс и едят их. Крупная крыса продается в лагере от 10 до 20 франков. Мой сосед итальянец Поли хвастается, что ест их с костями».

«23 ноября 1941 года. В лагере в каждом квартале организовано еврейское гетто — особый барак для евреев.

На-днях увозят в Германию партию чехов, немцев и словаков. Из Испании получены сведения о том, что Франко расстрелял 416 человек из числа испанцев, вернувшихся из французских лагерей. Познакомился с австрийским профессором Тригом — высоким, немолодой, в зеленой фетровой шляпе и в штанах для гольфа. Одет как турист. Он жил во Франции с 1924 года, читал лекции в Ниме по истории Византии. Его жена, умелая кулинарка, записывала кулинарные рецепты и иногда давала их студентам, слушателям мужа.

В апреле этого года Трига арестовали за... коммунистическую пропаганду (а он ярый антикоммунист). В качестве улик — кулинарные рецепты, принятые за шифр. Суд дело прекратил. Трига предали военному суду, но даже и этот суд отказался его судить. Тогда власти просто посадили Трига в лагерь, в квартал «стариков».

Холодно. Все ходят в лохмотьях, в изодранных ботинках, в поломанных жабо. На голове рваные, грязные, полинявшие береты.

В газете прочитал, что французский суд присудил к тюрьме французам, слушавшим лондонское радио. А в лагере все «стражи» и жандармы слушают Лондон, вся Франция только его и слушает.

В бараке жандармов, около лагеря, у главного входа, как полагается, висит портрет Петена. Сегодня бригадир Фишер обходил этот барак и вдруг увидел на противоположной двери надпись: «Да здравствует де Голль!»

Фишер пришел в ярость:

«Кто это сделал? Что это за свинство?»

Фишер сорвал ветки, обрамлявшие надпись, изорвал ее.

Сегодня стариков и инвалидов увезли из нашего лагеря в лагерь под Тулузой. Страшно было смотреть на уезжающих: паралитики, хромы, седые старики, еле передвигающие ноги, в рваной одежде, небритые, тащили на спине ишпенские узлы, чемоданы.

Как низко пала Франция Петена и Лавалья!»

III. НА ПУТИ В АФРИКУ

Служи относительно нашей отправки в Африку не прекращались, порой немного затихая, а порою возникая с новой силой. Иные радовались этой отправке, намерзнувшись в Верне, где бараки не отапливались и где уже с октября мы страдали от сырого холода. В Африке, думали мы, по крайней мере будет тепло. Кроме того, там, как мы знали это по письмам, было сколько угодно табаку и даже пища будто бы лучше, чем в Верне.

Но большинство интернированных мысль об Африке угнетала. Режим там католический; письма и посылки доходили туда редко и плохо. Пугала отдаленность от Франции, от семьи, от близких. Мы тогда и не предполагали, что африканская действительность окажется хуже всех наших предположений. Мы не могли так же и думать, что именно в Африке придет наше освобождение. Африка спасла нас от смерти, вернула на родину. Но до этого нам пришлось пройти долгий и тяжелый путь в лагере Дзельфа.

Почему французы отправляли нас в Африку? Должно быть, потому, что в конце концов они не знали, что с нами делать. Кормить нас, даже так, как кормили в Верне, становилось все труднее. Немцы все больше и больше грабили страну, и когда-то богатая и обильная Франция голодала. К тому же надо было ликвидировать лагерь, убрать куда-нибудь подальше «бунтовщиков», послать их туда, откуда они не смогли бы вернуться.

В первых числах ноября 1941 года многих из нас стали вызывать для медицинского осмотра. Это была чистойшей комедия. В Африку отправляли людей, нисколько не считаясь с результатами осмотра. Одного заболевшего тяжелой формой брюшного тифа (после прививки), можно сказать, прямо вытащили из больницы и послали с нами. Зато всем сделали прививку оспы. Прививку делали аптекарь и санитар, никогда раньше не бывший санитаром. Одним и тем же грязным полотенцем, смоченным в бензине (за неимением другого антисептика), он «мыл» руку прививаемого, колот как попало, пока не показывалась кровь, и затем тем же полотенцем отжимал кровь.

Отправка первой партии состоялась в двадцатых числах ноября. Уезжала группа человек в 60, из разных кварталов. Среди отправленных преобладали интербригадцы и евреи. Наконец, некоторым из нас, человекам десяти, было официально объявлено, что в скорости их тоже отправят в Африку. Те, кому это не объявляли, в том числе я и мои товарищи из руководителей нашего коллектива, несколько успокоились. Увы, ненадолго.

10 декабря после обеда явился полковник—комендант лагеря и обошел весь лагерь. На нас он не обратил ни малейшего внимания, словно мы и не существовали. Но он появлялся так редко, что его приход показался дурным предзнаменованием. Я кончил свою работу, которая состояла в том, чтобы обрызгивать креолом уборные, бараки и прочие помещения, и ходил по двору, наслаждаясь теплом и солнцем на редкость ясного дня.

В три часа дня ко мне подошел шеф нашего барака, испанец Сайнс:

— Вас сегодня увозят, — сказал он мне. — В пять часов вы должны быть у выходных ворот с вещами.

У меня, скажу правду, екнуло сердце.

— Увозят? Куда?

Испанец сделал уклончивый жест:

— Не знаю, мне не сказали. Да вы и сами знаете.

Я побежал в барак укладывать вещи — до отъезда надо было еще вытребовать деньги из конторы, потом сфотографироваться и оставить отпечатки пальцев — времени очень мало.

Из нашего квартала уезжали еще человек пятнадцать. Всех уезжающих предупредили одновременно со мной, в последний момент.

Вещи я не столько уложил, сколько побросал как попало в чемодан.

У фотографа уже собрались наши товарищи. Никто из них не предполагал, что их отправят в Африку. На вид все были веселы, шутили, позируя перед фотографом из интернированных, прикладывая палец для отпечатка. Но чувствовалось, что у всех на душе тревожно. Я пошел к коменданту квартала потребовать мои деньги и часы, которые я дал в починку. Он стал почему-то очень вежлив, хотя обычно отличался невероятной грубостью:

— Куда вы едете, я не знаю (воал, конечно), но там вам будет лучше, чем здесь, пища там лучше, а дальше все зависит от событий.

Если он не знал, куда нас везут, как он мог знать, что там будет лучше? Или же он считал, что хуже Верне ничего быть не могло? Недаром в Верне была нами сложена песня по-французски:

Лагерь Верне,
Лагерь Верне,
Ты ад
Из колючей проволоки.

Пока мы выполняли все формальности, наступил час отъезда. Я забрал мои вещи и пошел к выходу, прощаясь на ходу с товарищами и пожимая десятки протянутых рук. Наши тяжелые вещи увезла повозка, та самая, на которой привозили к нам овощи и увозили покойников на кладбище. Отовсюду, из-за проволоки, из всех кварталов нам махали руками, платками, пока «гарды» по приказу коменданта не бросились отгонять провожающих. Уже темнело, был холодный декабрьский вечер. Из ворот других кварталов выходили такие же группы и строились вместе с нами. Старые знакомые по Испании встречались друг с другом и обнимались: сидя в одном и том же лагере, но в разных кварталах, они все это время не могли видеться друг с другом. Всего нас набралось 75 человек.

Нас всех повели в барак, расположенный в том же ряду, что и другие, но повернутый выходом к дороге и отделенный от квартала рядами колючей проволоки.

В бараке было нестерпимо холодно. Ночь тянулась бесконечно долго.

В 6 часов утра, еще в полной темноте, жандармы вошли в барак и велели строиться по трое, с вещами. Мы выстроились, сгорбленные под тяжестью чемоданов и узлов. Нас пересчитали, а потом сковали по-двое наручниками. Наручники сняли только уже в поезде, когда мы разместились по местам.

Лагерь еще спал, было темно и тихо, и нашего отъезда никто не мог видеть. Свежий холодный ветер тянул с Пиренеев, небо ясное и звездное. Мы дошли до станции и в темноте погрузились в поезд, в вагон третьего класса, куда нас набили по четыре человека на три места; с каждой группой шел еще и жандарм, для которого требовалось больше места, чем для всех нас.

Ехали мы через Тулузу, дорога скучная. Нас, разумеется, нигде не выпускали из вагона, а купить на станциях через жандармов нечего: станционные буфеты пусты. Оставалось только сидеть и глядеть в окно на тощие виноградники пиренейских департаментов. Даже в уборную нас пускали только под присмотром жандарма и не позволяли закрывать дверь за собой.

К вечеру мы доехали до станции Ривсальт. Наш вагон отцепили от поезда и поставили на запасной путь; здесь мы провели ночь.

Утром часов в семь нас прицепили к поезду и мы поехали дальше, неумытые, небритые, измученные двумя бессонными ночами, проведенными в скрюченном положении. Вдали показались море, по-южному ясное, синее. Мимо нас замелькали станции, ставшие историческими:

Аржелес, Сен Сиприен, Коллиюр. Все это этапы жизни интернациональных бригад и испанской республиканской армии. Здесь, перейдя французскую границу и сдав оружие, протомились больше двух лет сотни тысяч бойцов за свободную Испанию, здесь они впервые познали все унижения, все лишения, которым фашизм подвергает своих врагов. Здесь погибли от холода и болезней тысячи испанцев, десятки тысяч были вынуждены вернуться в Испанию, отдаться в лапы Франко и погибнуть от его пуль или в его тюрьмах. Здесь люди спали на песке, без крова, под холодными ветрами с моря, заносившими их песком. Здесь написана одна из самых трагических страниц истории мира перед войной, вернее даже первой стадии самой большой, самой жестокой из войн. С июля 1936 года в Европе непрерывно шла война — война с фашизмом, и здесь были начертаны одни из первых страниц ее, начертаны кровью испанских солдат и бойцов интербригад.

Особенно был знаменит Коллиюр. Это не лагерь, а форт, вырубленный в скалах, с казематами, сырыми и мрачными, в которых людей заставляли долгими часами дробить камни для дороги, подгоняя их прикладами, кулаками и палками, за малейшую провинность избивая, бросая в карцер, расстреливая. И это не у Франко, это во Франции, которая не воевала с республиканской Испанией, которая просто «не вмешивалась» в испанские дела. Военно-морская тюрьма в Коллиюре была известна тем, что осужденные матросы отсюда или вовсе не выходили или выходили туберкулезными, надломленными, неспособными ни к жизни, ни к труду.

А главное, французы, считавшие себя культурными и добродушными людьми, в тюрьмах вообще перестают быть людьми. Для тюремного начальства заключенный осужденный — не человек, это существо, которое можно оскорбить, ударить, уморить голодом, заставить выполнять, независимо от его положения, самую грязную работу в самых первобытных и грязных условиях: вместо метлы, подметать двор веником без ручки, чистить параша без перчаток, погружая руки в испражнения и т. д.

Поезд, медленно оглябая скалы, шел все ближе и ближе к испанской границе к Пор Вандоу, где нас должны были погрузить на пароход. Местами дорога, казалось, висела над самым морем, у берега грозно теснились скалы и набежали отроги Пиенеев. Потом поезд забрался в туннель, вынырнул из него, показался небольшой рыбацкий городок — это и был Пор Вандр, последний французский порт перед испанской границей. Сообщение с Алжиром через Марсель прервано, французы боялись, что англичане перехватят в открытом море их суда, и поэтому перенесли отправной пункт поближе к границе и к Алжиру. Таким образом, часть пути шла в испанских территориальных водах, затем вдоль Бакарских островов и после небольшого сравнительно пути в открытом море — во французских африканских территориальных водах. Этой части пути фран-

цузы, повидимому, боялись больше всего. Хотя Франция уже считалась невоюющей страной, пароход шел с погашенными огнями, все военные на палубе уходили во внутрь, чтобы казалось, что пароход попросту грузовое судно. А прятать от англичан на пароходах французам было что. Здесь из Африки везли во Францию огромное количество продуктов, которые поступали в руки немцев — мясо, картофель, овощи, фрукты, вино. Французы выдавали это за свое, предназначенное для Франции. Но мы, жившие во Франции, великолепно знали, что ничего из этого или почти ничего французам не доставалось. Трусливое «правительство» Виши обманывало англичан, обманывало своих же собственных граждан, чтобы аккуратно выполнить свои подлые обязательства перед Гитлером.

В бухте Пор Вандра мы увидели несколько небольших пароходов и военных катеров. У самой набережной стоял довольно большой грузовой пароход, название которого мы заметили, еще не доехав до порта «Сиди Айса» (по-арабски — Господь Иисус). Поезд прошел какие-то туннели, повернул и доехал до самой набережной, остановившись вдоль борта «Сиди Айса». Жандармы соскочили на землю, окружили вагон и велели нам вылезать с вещами. Опять мы нагрузились, как мулы, слезли, пересекли рельсы и по узкому трапу отправились прямо в трюм. На пароходе нас встретили молоденькие стрелки морской пехоты, с ружьями на перевес, расставленные во всех отсеках и коридорах. Они грубо направляли нас к месту размещения. Место это было не чем иным, как загонями для баранов: в обычное время пароход этот перевозил баранов из Алжира во Францию. Загоны наскоро помыли и Сlepка побелили известью. Но тяжелый бараний дух еще стоял в них. Здесь нам и предложили размещаться по нашему усмотрению: не было ни коек, ни тюфяков, ни соломы, ни дыновок, а просто голый и грязный деревянный пол, избитый бараными копытцами. Одни из нас устроились кое-как на своих вещах, другие натащили каких-то досок, третьи просто разостлали одеяла на пол, после пережитого ничем уже не брезгуя.

Из нашего трюма деревянная лестница вела через широкое отверстие на палубу. Но отверстие почти целиком было затянуто брезентом, и маленький кусочек неба виднеялся только над лестницей. Французское начальство хотело и на пароходе сохранить для нас тюремную атмосферу. Вся палуба полна вооруженными морскими стрелками, с винтовками на плече или наизготовку, с патронными сумками и штыками на поясе. Особые часовые стояли у верхнего конца лестницы и вокруг люка. Они не позволяли нам подниматься на палубу, так что до самого Алжира мы в пути не видали ничего, кроме вонючего и грязного трюма и кусочка синего неба. В трюмье нет уборной, она помещалась на палубе, и туда нас пускали поодиночке. Сразу же выстроилась длинная очередь, нас теперь стало около 90 человек. К нам присоединили человек 10 французских коммуни-

стов и несколько уголовных. Среди французов было несколько уже не молодых рабочих, носивших военные отличия прошлой войны. Уголовные же, грабители, мошенники, сутенеры, крайне типичные представители своих «профессий», держались кучкой в стороне от нас.

Морские стрелки обращались с нами невероятно грубо — мальчишки, петеновская молодежь, которую он попытается создать на манер гитлеровской, для поддержания своего режима. Воевать с немцами у них не было ни малейшего желания, в политике они ничего не понимали, в газетах читали только спортивный отдел. Сытые, самодовольные, ограниченные, лично не пострадавшие от режима, наоборот, воспользовавшиеся им, не желающие драться с сильными, но не брезгующие поиздеваться над слабыми. Эти стрелки нас всех «тыкали», независимо от нашего возраста, грубо кричали, грозили прикладами в случае недостаточности быстрого исполнения их приказов. Наши жаңдармы пред ними казались джентльменами. Это были старые служаки, привыкшие к строгой дисциплине, а их начальник, не молодой уже лейтенант, был повидимому деголовец. Он держался крайне вежливо, выполнял все наши просьбы, следил за качеством и количеством нашей пищи.

Приехали мы на третий день вечером, куда — не знали. С палубы во тьме видны были какие-то горы, впереди мелькали огни большого города. Прохотаала якорная цепь.

Назавтра, рано утром, пароход подошел к пристани. Медленно, из раскрытой двери трюма мы стали вылезать на берег, ослепленные ярким солнцем, как мыши из подполья. Я узнал город — это Алжир, нарядный, богатый, белый, сверкающий на солнце. Нас сразу же повели в огромную залу какого-то пакгауза, построили, пересчитали, потом велели послать группу для отправки тяжелого багажа. Теперь нас сторожили уже не жандармы, а арабские стрелки в красивой форме цвета хаки, с турбанами на голове. Грубы они не были, но начальства, видно, боялись как огня и время от времени для порядка на нас покрикивали. Командовал ими француз-лейтенант, высокий, усатый, сухопарый, с нами резкий и злой.

Приехал грузовик, который привел шофер-полицейский, забрал наш багаж и уехал. Потом приехала настоящая тюремная карета-автомобиль, без окон, с решеткой на переднем оконце, выходящем в спину шофера. Нас вихнули туда 27 человек сразу, так что мы могли только стоять, да и то прижавшись друг к другу, а вдобавок сзади еще влез жандарм. Поехали куда-то вверх по улице.

Наконец, машина остановилась, дверь распахнулась, повеяло мягким теплом африканской зимы, стало даже жарко. Перед нами было большое белое здание с надписью: «Ночное убежище» (ночлежный дом). Наш багаж, привезенный раньше, сложили тут же прямо на асфальт перед домом.

По чистой мраморной лестнице мы поднялись на третий этаж этого, очевидно, недавно построенного здания, в котором все блестело чистотой

и краской. На каждой площадке стояли алжирские стрелки с красивыми лицами и грустными глазами, с винтовкой наизготовку. Эта ночь в Алжире осталась единственным сколько-нибудь приятным воспоминанием из всего путешествия.

На ночь нас поместили в большой и светлой зале, где, как в больнице, у каждой стены стояли кровати с чистыми тюфяками, хотя и без простынь и без одеял. Но все-таки было мягко и приятно лежать на настоящей кровати. Над каждой кроватью прикреплена дощечка с именем жертвователя — это походило немного на надписи на могильных плитах. Разместились мы все вместе, только группу уголовных — и бандитские же это были типы! — отправили в маленькую комнатку рядом.

Но гвоздем всего явился обед! Для обеда мы спустились вниз в столовую, большую чистую залу, с длинным столом, на котором были расставлены приборы, как в ресторане — тарелки, вилки, ножи, ложки — то, чего мы ни разу не видели в лагере. Перед каждой тарелкой лежало два мандарина с зеленой веточкой, и это придавало столу кокетливый, праздничный вид, словно на нем рассыпали цветы. И кормили здесь действительно хорошо — суп, по два яйца на каждого, хлеба сколько угодно, апельсины, вино, хороший настоящий кофе. Была пятница, поэтому нам не дали мяса — во Франции это постный день. Мы, разумеется, съели все без остатка.

Едва кончили, как прозвучала команда — «Встать! Смирно!» Оказывается, пришел лейтенант спаги, который командовал нашей охраной и должен был нас сопровождать до Джельфы. Он сухо и резко отдал приказ итти наверх и велел ничего не пачкать — под угрозой наказания, конечно. Это не жандарм, а обыкновенный французский офицер, один из тех, кого французские романисты так любят выводить в своих романах как колонизаторов и «цивилизаторов» Африки.

В нашей палате — кроме нас во всем доме никого не было, как будто до нас еще никто в нем не жил, так все в нем ново и чисто — стояли часовые-арабы, так же как и вдоль всей лестницы и даже на улице перед домом. Но из окон все же видна улица с характерными для Алжира домами, и по ней вверх и вниз сновала толпа, белели одежды арабских женщин с закутанными паранджой лицами. Арабы говорили с нами по-дружески и обращались не иначе как со словом «товарищ». Некоторые из них раньше работали во Франции на заводах, имели представление о революционной борьбе, об Испании, о политике. Нам они, по большей части совершенно бесплатно, по-товарищески, оказывали ряд услуг.

Мы еще не знали, что нас ожидало в Джельфе, а если бы знали, то сказали бы, что этот прием похож на ту папиросу и стакан рому, которые во Франции предлагают в последний момент осужденному на казнь. Был ли такой прием устроен французами нарочно, чтобы еще горше показалась Джельфа? Я этого не знаю, но это вполне соответствует психике французских властей того периода.

Рано утром, часов в пять, в полной темноте, когда весь город еще спал, нас разбудили свистком, велели собрать вещи, посадили в тюремные автомобили и повезли на вокзал. Город еще освещен, фонари окружены синими рефлекторами, в порту смутно рисовались силуэты судов. Как не похож алжирский порт в этот декабрь 1941 года на тот Алжир, который я увидел полтора года спустя, после освобождения: в апреле 1943 г. алжирский порт был полон английских и американских судов, стояли гордые и тяжелые линкоры, крейсера, миноносцы, подводные лодки, авианосцы, снова ли лодки и катера, а город был переполнен шумной, разноязычной и бесчисленной толпой французов, арабов, англичан, американцев. Теперь же в порт приезжали преимущественно ссыльные, жертвы правительства Виши.

На вокзале в ожидании поезда собралась уже большая толпа. Мы смешались с нею по пути к нашим вагонам и легко могли бы скрыться, бросив свой багаж. Жандармы сами потеряли нас из виду в толпе. Впрочем, один из нашей партии действительно сбежал — уголовник из Парижа, у которого, повидимому, есть свои люди в Алжире.

Но мы, куда мы могли бежать, даже если бы у нас были деньги? Нас узнали бы по одежде и забрали бы на улице. Связей в Алжире ни у кого из нас нет, уйти некуда, уехать из Алжира можно было только в Испанию, т. е. именно в ту страну, в которой нас опять бы арестовали, расстреляли или посадили в тюрьму. Бежать же в пустыню, в глубь Африки, значило обречь себя на медленную смерть.

Уже рассвело, когда поезд пересекал окрестности Алжира, богатые и нарядные, апельсиновые и лимонные рощи с темнолиственными деревьями, на которых еще висели золотые и оранжевые плоды. Через час мы пересели на другой поезд узкоколейки.

У входа в вагон стояли алжирские стрелки с ружьями и примкнутыми штыками. Сегодня они

не так приветливы, как вчера — с нами ехало их начальство — аджудан (старшина). Ехали с нами также и несколько жандармов. Жарко, в вагоне нестерпимо душно, хотелось пить. На станциях мы просили арабов принести нам воды во фляжках. Но командир почему-то запретил брать воду, и все мы изнывали от жажды. Дорога поднималась в гору, паровоз гулко сопел и бодро тащил наш поезд. Мимо нас проходили голые, дикие, круглые холмы, все выше и выше—это отроги Атласа. Дорога то шла по их склону, то поднималась на самый гребень. Станции были пустынные, городки расположены где-то вдали от них. Склоны горы покрыты огромными, грубо возделанными полями — сразу видно, что тут процветает крупное земледелие, поля тянулись на десятки километров, безо всякой межи. На полях чернеют глиняные мазанки или черные палатки-юрты арабов. Обитатели их стояли тут же, грязные, получерные, оборванные так, что рядом с ними даже мы кажемся элегантными иностранцами.

На станциях арабы-мальчишки продают финики и апельсины. Финики стоят всего 14 фр. кило, они жирные, янтарные, сладкие, и мы едим их без конца. В Джельфе финики спасли нашу жизнь, и хотя теперь я потерял к ним всякий вкус, должен вспомнить о них с благодарностью, с такой же, вероятно, с какой думает о них араб-пустынник, для которого они являются единственной пищей.

Но горы кончились, и потянулось атласное плоскогорье—голая, унылая равнина, поросшая альфой. Вдоль железной дороги тянулось асфальтированное шоссе. Кое-где виднелись стада баранов, шагали караваны верблюдов. Стало темнеть, и на равнине желтыми точками за сверкали костры у невидимых теперь юрт. В вагоне света не было. В полной темноте мы подъехали к станции и остановились: это Джельфа.

СУДЬБА ПОЭТА

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

★

Есть свойство в человеческой природе: мы привыкаем ко всему, что ежеминутно, гордой радостью должно наполнять наше сердце. Великие исторические благодеяния, самые источники жизни нашей мы от рождения принимаем за естественные дары судьбы. Мы привыкли и к солнцу... Но в мыслях отмените его на минуту, и какой холод ринется на ваши души!

Это происходит от преизбытка духовных сокровищ, которых, на протяжении тысячелетия, вдоволь внес в мировую культуру мой честный, трудолюбивый народ. Мы не хвастаемся, мы только напоминаем, что культура есть процесс живой, таинственный и хрупкий, она нуждается не только в поэтах и ученых, но и в солдатах, героях и мучениках. Она — как атоловый остров, где верхнее кольцо прочно покоится на неподвижных нижних. Останови эту жизнь, и в миг его поглотят ночь и волны... Я пишу как раз в минуту, когда небывалая буря терзает человеческое море. Вся нечисть преисподней поднялась из бездны, чтоб захлестнуть солнце. Слава народу моему, который ныне, чуждый национального эгоизма, свой новый вклад в дело культуры вносит самой дорогой валютой бытия, кровью лучших своих сынов!

Человеческая культура потому и требует непрерывного обновления, что еще ползает зло по земле, и не ослабляют напора стихии, ветвится и множится насыщенная людская потребность, недостает ей опыта предков и ветшают аномальные книги. Все старится, как все течет. От бестелесной символики дантовских терцин до нас дошел как бы барельефный, нуждающийся в обильных примечаниях, портрет эпохи. Не осталось губительных стрел в памфлете Дефо; каждая своевременно впиалась в грудь врага, и вот пустынь колчаном играют дети. Но нам дороги эти, порою пропыленные страницы, воспоминания о юношеских днях человечества. И как бы далеко ни ушло оно по пути к своей неистребимой мечте о справедливости, на его горизонте позади вечно будет сиять, как снеговой хребет, гигантский мрамор Илиады. Такова же судьба и блистательного гворенья, автора которого мы собрались почитать сегодня.

Есть книги, которые читаются; есть книги, которые изучаются терпеливыми людьми; есть книги, что хранятся в сердце нации. Мой освобожденный народ высоко оценил благородный гнев «Горя от ума» и, отправляясь в дальний

и трудный путь, взял эту книгу с собою... Не великие не нуждаются в лестях, и для писателя было бы нечестным в отношении учителя утверждать значение его комедии в том, что образы ее в прежней молодости живут до сегодня. На расстоянии века, полного в нашей стране событий всемирного значения, неминуемо должен был измениться и облик Грибоедовского произведения, как изменилось все с тех пор. Не та стала Россия, перешагнувшая историческую пропасть, не та Москва, не те стали мы с вами. Наш нынешний враг коварней и подлей, но скоротечнее его судьба микроба, замыслившего на праже богатырей основать свое микробье царство. Есть и теперь свой отпечаток у Москвы, но уже не фамусовской Москвы, музейного собрания французских модниц и вояк, балльных шаркунов и подхалимов, специалистов по дамской части и пламенных, но редких печальников об участии народной, — но Москвы новой, еще неслышанной, первой в мире социалистической столицы и крупнейшего культурного центра. Новый герой, который еще ждет своих Пушкиных и Грибоедовых, родился на Москве, и, сказать правду, далеко до него Чацкова.

По горькому признанию Грибоедова, в одном из вариантов «Горя», предки наши привыкли верить с ранних лет, «что ничего нет выше неба». С тех пор мы узнали подлинную направленность германской культуры, которая не сумела укротить срамное первобытное зверство своих воспитанников. И что наш крепостной, столетней давности, толстый барин Фамусов со своим кустарным «забрать бы книги все да сжечь!» Даже десять Гельмгольцев или Вирховых не смогут испугать один Майданек! Как видите, за этот век мы шли вперед, а они катились назад, и, будем справедливы, движение их было быстрее нашего!

В стремлении помочь истории мы железом соскребли с ученой немецкой хари дешевую краску ширпотребной цивилизации и вдруг с гадливым презрением увидели под этим тухлым мифом гестаповца Вепке из Львова, что упряжняется на досуге в разрубании десятилетних отроков секирой, двурогой секирой, от темени до паха. Да и самый мир с тех пор стал умнеть, «как посравнить, да посмотреть век нынешний и век минувший». Миллионами крестов история отметила ошибки на широких полях, на полях тетради этого плохого ученика. Он неизмеримо ближе теперь к заветному времени, когда, освобождаясь от последних рабских пут, он вышел

без помехи, по слову Чацкого, «вперить в науку ум, жаждущий познаний».

«Горе от ума» предстает перед нами не в том виде, в каком комедия явилась перед изумленными современниками. Мы отмечаем классические линии совершенной драматургии, словесные богатства, предельное мастерство шахматных ходов,—они видели в ней первую, пока политическую программу национального развития. У нас она вызывает смех — в них она будила ярость или совесть. Это отличное драматическое произведение, ставшее для нас наравне с «Ревизором» образцом реалистической комедии нравов, живет сегодня уже второю молодостью... но пусть и первая молодость наших книг станет такой же яркой и сильной!..

«Горе от ума» родилось на переломе двух непримиримых эпох, когда Россия и ее слово еще не пробудились от оцепенения, но уже истончилась пленка забвения, и обрывки действительности все чаще проникали в сознание, мешаясь порой с узорами романтических сновидений. Силой исторических обстоятельств, после своих великих дел перед Западной Европой, Россия вынуждена была проходить школу европейских знаний, накопленных там за века монгольского — у нас — владычества. Забывчивый учитель немало и натурой получал за учебу и временами деспотически вмешивался в русскую жизнь. Преувеличенные дозы часто внешнего европеизма калечили нашу жизнь и парализовали гормоны собственного роста.

Вспомните, всего лет за тридцать до рождения Грибоедова русская академия послала Вольтеру вместе с уникальными архивными документами шубы из отборных голубых лисиц и, для наглядности, золотые медали русских царей, чтоб написал он для нас историю нашего Петра. Подумать только, что отсылку этих кладов поручили Ломоносову, нашему северному Леонардо, чей сторукий гений во всех областях искусства и знания оставил по себе следы! Вот пример неуверенности общества в своих национальных силах. Если сопоставить с Радищевым, также размышлявшим о Петре, наши в таких фаворах не бывали... К слову, труд этот, хоть и на иностранном языке, получился отменно плохой.

Старинный должок из Европы прибывал к нам, естественно, в иноземной духовной упаковке, к тому же дул оттуда благодетельный освободительный ветерок, — все это накаляло властную, иногда сковывающую печать на весь строй жизни нашей дворянской верхушки, безмерно удаляя ее от подавленной, черной крестьянской массы. Все помнят, что один из искреннейших друзей Грибоедова ставил ему «за заслугу, что он хорошо говорит по-русски; знать изъяснялся на иностранных диалектах, чтоб народ не мог прочесть ее мыслям... Русским людям необходимо было, отвергнув дух «пустого, рабского, слепого подражания», критически отнестись к импорту цивилизации, — им следовало своим умом и самостоятельно выработать характер своих законов и учреждений, применительно к самым основным, неколебимым особенностям народа и его истории. Нужно было очи-

стить нашу жизнь от золоченой шелухи иностранных влияний и благородным металлом искусства пробруть ее до творческих недр народа, откуда сами собою забьют ключи сказочной живой воды.

Стихийно это понимал и сам народ. Как раз в эту пору, осознав опасность иноземного вторжения, народ русский лавиной, по-львиному ринулся через всю Европу. Но могучие руки, придавившие Наполеона в его берлоге, не смогли порвать николаевские цепи. Не было ни плана, ни вожаков; были только порох без пушек да песня без слов. Российская словесность, в меру сил, и пока—без широкого охвата отражала действительность верхнего слоя; не было в этой словесности громового, после Радищева, голоса, способного пробудить страну и язык русский от затянувшейся национальной немоты. Страна томительно ждала Пушкина и, может быть, — в особенности, — Грибоедова.

Он пришел из той самой среды дворянства, которое ему предстояло осудить и на которое опирался первый, верховный помещик империи. Грибоедов хорошо знал это словосвие, только его и знал он; даже из окна фамусовского дома не видна подъяремная нищая Россия. У автора «Горя» не было своей Орины Родионовны. Грибоедовская комедия оказалась миной могучей взрывной силы и многократно действия, заложенной в фундамент крепостнического общества, — в наши военные дни это солдатское сравнение есть высшая хвала поэту. Естественно, что значение и место ее в русской жизни сразу угадали николаевские минюскатели. Перед читателем народным она явилась лишь годы спустя, когда Грибоедова уже закопали на горе Давида, над городом, который он так любил. Первый полный текст ее появился лишь сорок шесть лет спустя, — вот как они боялись Грибоедова!

Первый тираж «Горя» был размножен не на типографских станках, но руками патриотов, и можно представить, как обжигали сердце эти рукописные листки, как взрывалось впоследствии на сцене это глубоко поэтическое и словесно даже сдержанное произведение. Злое пламя грибоедовского сарказма ворвалось в сотни помещичьих гостиных в тот момент, когда, опочив от недавних военных трудов, Фамусовы благодествовали со своим Сергеем Сергеевичем. Страшный зверообразный лик глянул на них со страниц комедии, и вот одни плевались в это правдивое зеркало, другие виновато опускали глаза, потому что узнали себя в присных своих.

Одновременно с ликованием друзей, как черные клубы дыма, поднялись—ябеда, брань, клевета, доносы и сама всемогущая зависть, это подпольное восхищение неудачников. По разнообразным взволнованным отзывам современников можно судить о силе удара. И сам Белинский дрогнул, умея даже ошибаться страстно, этот человек вначале страстно не понял Чацкого.

То была суматоха крупнейшего общественного скандала. Комедию тем яростней терзали цензора, чем громче рукоплескала ей прогрес-

сивная часть обеих столиц, — ее взвешивали на весах трех классических единств, и все стремились определить, кто же он таков, господин Чацкий, осмелившийся поджечь уютный и гостеприимный фамусовский дом, и кто надоумил его на этот неблаговидный поступок? На протяжении десятилетий дотошные литературные следователи искали в мировой литературе его родню и сообщников, придираясь к похожим ситуациям и строчкам, и выяснили подконец, что он пошел от молверовского Альцеста и Демокрита из виландовских «Абдеритов», от вольтеревского Танкреда и грессетовского Клеона, от шекспировских — двух сразу — Тимона Афинского и Гамлета, от шиллеровского маркиза Поза и данкурковского — чорт знает кого!.. Плохая критика всегда предпочитает подбирать старые, готовые ярлыки, нежели выдумывать новые обозначенья явлений, на что приходится тратить, конечно, бесценные соли спинно-головного мозга. Более серьезные критиков занимало, чего больше в Чацком и, следовательно, в духовном отце его, Грибоедове, — славянофила или декабриста, либерала или патриота.

Для нас, нынешних, Чацкий был прежде всего русским человеком, осознавшим не только свою национальную самостоятельность, но и ее высокие нравственные задачи. Это был молодой русский человек, как мы являемся сегодня, вне зависимости от возраста, молодыми советским и людьми: человеческий прогресс всегда был двигателем, горючим, которому служит молодость. «Горе» не было для России ни набатом, ни сигналом боевой трубы, по которому на богатырскую схватку с народной бедою встают исполины родной земли... Но кто решится потребовать большего от этих зачинателей и одиночек? Герцену было двенадцать лет, когда появилась «Горе». Чернышевский родится пять лет спустя, и почти астрономическое, в полвека, расстояние отделает эту эпоху от Ленина. «Горе от ума» было криком среди полной ночи, — криком, что гадко и подло жить в обществе, где людей меняют на собак и где стыдятся назвать себя русскими из опасения смешаться с народом.

Успех этой книги широчайшего общественно-анализа был бы немислим, если бы высоким идейным качествам не соответствовали такие же литературные достоинства. Ее архитектура совершенна. Она исполнена отлично, крыловского басенного склада и пушкинской выразительности стихом. Такой краткости, когда портрет рисуется с полуреплики, у нас не достигал почти никто. Мы с детства пользуемся формулировками комедии для определения житейских положений. Сам Ленин неоднократно пользовался разящим грибоедовским словом в знаменитых битвах со своими и — нашими политическими противниками.

Значение гениального произведения проступает по мере того, как проверяется годами его обширная, в родной почве, корневая система. И если ни ленивое забвенье потомков, ни бури века не могут заглушить его, и свежие отпрыски бегут от ствола, и молодость собирается, как сегодня, под его старые ветви, — такое произ-

ведение само повышает уровень родного искусства, оно способно старым своим, испытанным хмелем будоражить новые, еще не созревшие идеи, с его свершим открываются более широкие горизонты национального бытия. Пусть множится в наших мальчишках задирский и увлекательный вперед патриотизм Чацкого! И если бы не было своевременно Чацких у нас, где коротали бы мы этот вечер? Может быть, на краю света в дымных чумах, и огарок стеариновой свечи казался бы нам чудом цивилизации!

За минувшие сто лет эта книга впитывалась в кровь и разум воспитанных ею поколений. За малым исключением, на ней пробовали зрелость мысли все русские писатели. Сотни прославленных наших актеров и критиков, художников и режиссеров прикладывали к ней, как к святыне, свои толкование и мастерство, и те становились тоньше и глубже, превращаясь во всеветно знаменитое волшебство нашего искусства. Оно учило вражде к национальному застою, презрению к социальным порокам, гадливости к любой душевной грязи. Со школьной скамьи нас обжигала эта честная, без униженности и лести, преданность России: русское Грибоедов любил беззаветной беспамятной любовью, и даже навная его привязанность к старой русской одежде имеет особое место в его духовной биографии. Вот он возвращается осенью 19-го года из Тавриза, и пыльный отряд его шагает рядом и поет песню — «Солдатская душечка, задумешный друг...», и слезы наворачиваются на глаза Грибоедова. Родина!

Но старый ворон, любитель мертвой кости Аракчеев тоже был русский и, может быть, тоже любил ее по-своему. Иезуитская штучка РаSTOPчии также родилась в России. Шишков, президент николаевской академии, провозглашавший школы очагами разврата, был тоже русский, и сам архимандрит Фотий, 'обязанный Пушкину своей посмертной славой, не принял бы его за «кинородца». Но в то время как эти реакционные современники и даже поэты содрогались перед словом «народ» или пользовались им ради легкой рифмы, стремились заковать его в живописный и ржавый панцырь прошлого, Грибоедов, как и декабристы, в русской старине и в наследии предков искал, прежде всего, величия и доблести духа, как примеров для подвигов в настоящем.

Так, значит, разная бывает любовь к родине: иная заключается в том, чтоб не допустить ее творческим мук возрождения, которые ей исторически необходимо пережить. Значит, та любовь прогрессивна, что ведет нацию вперед, а не цепляется пачево за ноги, волоча назад в девственную древность, где ее одолеет любой трехнедельный удалец, искатель легкой добычи. И как Грибоедов воевал против тех, кто хотел «чтобы отечество наше оставалось в вечном младенчестве!»

Представляет особый интерес бегло пробежать по рабочим тетрадам Грибоедова, порою — распаханным творческим полям, куда оставалось лишь бросить семена сюжета. Как пример целеустремленности автора стоит напомнить первую же заметку из петровской эпохи

об одном, по тогдашнему говоря, — «инородце», который по возвращении из чужих краев был пожалован Петром в офицеры, а его господин — в матросы; тот же крепостной раб дослужился потом до контр-адмиральского чина. Или — замысел драмы «1812-й год», где ополченец-крепостной, совершив в войне все надлежащее герою, возвращается под палку господина и накладывает на себя руки... Его «дезидерата» и путевые заметки дают нам право заключить о глубине грибоедовских познаний. Помимо литературных произведений, он оставил нам и критические статьи, и музыкальные сочинения, и государственные проекты. Он говорил, что совестно читать Шекспира в переводе. Но кроме английского и персидского, необходимого ему по его дипломатической работе, он свободно владел другими главнейшими европейскими языками, читал по-латыни, изучал арабский и санскритский, а по-турецки занимался с Муравьевым-Карским, самым недобрым из всех, оставивших воспоминания о Грибоедове. Образованнейший человек века, он собственным примером подтверждал свою приписку к письму к Шаховскому — «чем просвещеннее человек, тем полезнее он отечеству». Он как бы говорит нам, своим литературным наследникам, — «вы, нынешние, ну-тка!»

Попробуем нарисовать, как он представляется нам сквозь дымку почти полутора столетий. В год его смерти наш великолепный гравер Уткин сделал по рисунку Ривароля портрет Грибоедова. Мне кажется, что этот простой, тонированный серым граверный лист более соответствует облику писателя, чем раскрашенный впоследствии Крамским борелевский рисунок. Александр Сергеевич Грибоедов освещен здесь слабым, как бы темничным светом тогдашней России. В очках, с пристальным взором исследователя — не на литератора похож он, а скорее на врача — стоящего у изголовья России. К этой поре относится его признание Бегичеву: «комедии я больше не напишу, веселость моя исчезла». По отзывам современников, — обворожительный собеседник, он был опасный противник в споре. Холодное и меткое остроумие уживалось с отзывчивым, даже чувствительным сердцем, — и вот мы приближаемся к главному, что предстоит выяснить нам. В 23-м году он жалуется Кюхельбекеру на душу свою — «для нее ничего нет чужого, — страдает болезнию близняго, кипит при слухе о чем-нибудь бедствии». Кроме близки, об этом не подозревал никто. Внешне он был всегда замкнут, как раковина. И может быть поэтому в ней вызрела лишь одна жемчужина.

За пятнадцать лет он написал около тридцати произведений, некоторые — в сообществе с талантливыми друзьями. В ту пору этот вид деятельности вряд ли сам он считал для себя главнейшим. На стихах его часто лежит печать пресловутого шишковского корнесловия. В драме «1812-й год» наравне с живыми должны были действовать некоторые «усопшие исполины» а в «Грузинской ночи», последнем даре грибоедовской музы, также тайные духи производят

всякие сомнительные поступки. Петербургские друзья, захлебываясь, твердили автору, что «Горе» только разбег к этому гениальному творению, но сам Грибоедов молчал, понимая, что они аплодировали не литературе, а Анне 2-й степени с алмазами, что украшала к тому времени грудь поэта. Так случается иногда с друзьями.

«Горе от ума», как гора, возвышается над остальным наследием Грибоедова. Не будь его, в примечании к истории литературы было бы кратко сказано, что это был выдающийся русский дипломат, который в молодости не чуждался поэзии. То был писатель одной темы, однолюб, человек, горевший в одно пламя, как рождаются люди об одной ране в душе, вне зависимости — ранена она мечтой, любовью или другим смертельным недугом. Пушкин со своей плеядой, как веселое созвездие, ворвался в темное небо николаевской зимы, — Грибоедов вошел как бы в сумерках; сквозь них не различить какие-то самые существенные черты его биографии, и оттого каждый волен по-своему заполнить эти пробелы.

Думается, какая-то ужасная подробность, какими изобиловали будни крепостнической семьи, в раннем детстве хлестнула по чуткому сердцу мальчика Александра. И ничто впоследствии — ни гусарские развлечения, ни целительная тишина гор кавказских не могли заживить эту мимолетную царапину. Может быть, это случилось по выходе из армии, в один из приездов в Москву. Как нам известно, близ этого времени мать его, костромская помещица, очень не хорошо поступила со своими крепостными рабами. Но неспроста лучше, что исходило из-под грибоедовского пера, включая гордое, почти пушкинское —

Покорный времени и вкусу,
Я презираю слово: да б, —
Меня и взяли... в главный штаб —
И потянули к Иисусу

относится к этой теме. Значит, лишь одна мелодия его души, как таинственный нектар, привлекла его музу, — не потому, что была капризна или жалостлива, а потому, что была у него. Может быть, глубже своих современников Грибоедов видел, насколько крепостные цепи мешают России осуществить ее исторические предназначения. Все, включая Пушкина и упомянутого Муравьева-Карского, отмечали выдающийся ум Грибоедова.

О всяком авторе одной знаменитой книги можно написать книгу столь же знаменитую. Создатель единственного и вполне зрелого произведения сам по себе является литературной проблемой. Не по поводу ли отсутствия такой книги и сказал Пушкин, встретив мертвого Грибоедова на перевале: мы ленивы и нелюбопытны. Личная трагедия Грибоедова заключалась в силе его прогрессивного ума, вынужденного прятаться в «уединенный уголок». Если Пушкин писал жене: «чорт догадал меня родиться в России с душой и талантом», Грибоедов сказал бы — «с талантом и умом». Мне кажется, Пушкину было легче: он целиком раст-

ворялся в поэтической стихии, он был как Мидас, — все обращалось в золото, к чему ни прикасалось его перо. Не кастальских источников, не легкого хмеля поэзии, но черного хлеба «всущей жизни искала грибоедовская муза. Взрывчатый ум одного стоил пленительной души другого. В этом заключалась их разница — при гениальности обеих этих стихий. Оба Александры Сергеевичи — они стояли во главе века, оба имели лучших друзей среди декабристов, оба были нужны им, как порох и песня.

Ленин привел блистательную герценовскую характеристику декабристов. Это «богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, вояки — подвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение». История их известна, но не дошли до нас документы, рисующие степень участия Грибоедова в заговоре. Бумага любит гореть, и, верно, черный снег шел над русскими столицами после того, как царь с коня крикнул России — «на колени!»

Уже у Рылеева слышатся нотки обреченности, но лишь Грибоедов понимал, что «радикальные потребности тут лекарства» и не словесным горчишником Чацкого можно растопить вековой лед России. Романтика оторвала этих благородных и смелых русских людей, декабристов, от земли, и отлилась от них антеева сила. Даже языка общего не было у них с народом. Обращения к войскам они подписывали словами — «единоземец», «любитель отечества», «сострадаель несчастным», — до обидности переводные, не народные слова. Стоит только предать Чацкого в роли агитатора в чадной вологодской избе, у лачинишки, где бабки наши ткут километры холста на местную Салтычиху!

Отсюда рождаются молчание и задумчивость Грибоедова после написания «Горя». В самом деле, не смерть же Шереметева на дуэли так повлияла на него, как говорят современники, — того самого Шереметева, что жил, как трутень, лез в драку, как комар, и помер безболезненно, как муха. В эту пору Грибоедов тревожно чувствует движение времени. Фигуры уже расставлены для неравной игры, и скорь умрет Александр в Таганроге, и уже свита та веревка, которую палач разрежет на пять братских кусков. Вот фраза из его писем того периода — «мне невесело, скучно, отвратительно, несносно... ожидают от меня, чего я может быть не в силах исполнить... Пора умереть! Не знаю, отчего это так долго тянется... Подай совет, чем мне избавить себя от сумасшествия или пистолета...» И правда, зачем ему нужно впоследствии гулять под пулями, о чем Паскевич сообщал его матери, или выдерживать на себе сотню выстрелов вражеских батарей?... Его сомненья оправдались: народ, который, держа топор в одной руке, пятьюдесятью миллионами других рук мог бы по песчинке разнести Зимний дворец, — этот народ безмолвствовал на рассвете 13 июля 1826 года. Он не знал.

И тогда родились у Грибоедова эти горькие разочарованные строки. «Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими! Иностранец, который бы не знал русской исто-

рии за целое столетие... конечно бы, заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами».

Всю последующую жизнь Грибоедов помнил глаза товарищей, уходивших в атаку. Молчал и помнил, как помнил и молчал Николай. Царю неинтересно было, стояло ли имя Грибоедова в декабристских списках, ему важнее было знать, где находился бы поэт, если бы дворцовый переворот осуществился. Убить Грибоедова, как и Пушкина, сразу он не посмел; негоже русскому царю на глазах у россиян отнимать русских гениев у России. Но он заковал его в чины и ордена, и он сослал его в таком виде. Только эта вторая поездка в Персию, в которой писатель трагически предвидел свой конец, была особой ссылкой, когда ссыльный является начальником своего конвоя. К прежней грибоедовской маске сдержанности присоединилась сановная солидность, даже грозность в дипломатических переговорах... но как униженно и напрасно молит он Паскевича об опасных друзьях, припадая к его руке. Последняя вспышка, дружба века!.. Муза его молчит, он нем, как гроб, по его признанию. «Потружусь за царя, чтобы было чем детей кормить» — вот последняя, не разгаданная Булгариным, самая злая фраза его жизни. Здесь начинается другая Грибоедов, мудрый дипломат и государственный деятель, каких, на наше счастье, немало было у России.

Он уже «не похож на себя на прежнего, на прошлогоднего, на вчерашнего даже». Живи он еще сотню лет, он написал бы лишь улучшенную редакцию «Горя», — улучшенную в отношении Софии, в которую было брошено столько камней, включая пушкинский, — Софию, ровесницу Татьяны Лариной, Наташи Ростовской и «русских женщин» Некрасова!.. Пламя еще не ушло из сердца, но теперь оно будет теплиться долго, терпеливо, экономно. Когда звезда гаснет, на ней рождаются цветы и дети. Хлопоча за свойственника перед Паскевичем, он прячется в свою же фразу — «как станешь представлять к крестичку ли, к местечку, ну как не порадеть родному человеку». Что ж, «пора бы дальше речь завести о генеральше!». И вот он стоит под венцом с Ниной, дочерью знаменитого грузинского писателя Чавчавадзе. Ее детская любовь была самым дорогим венком в его прижизненной неполной славе. Спасибо Грузии, спасибо Нине за нашего Грибоедова. Отсюда пошла старинная кровная связь литератур грузинской и русской!.. Потом отъезд. На границе его встречает чума... Четыре месяца спустя история рукой убийц опускает занавес над этим сверкающим явлением русской мысли.

Затем Грибоедов возвращается на родину. Вот как возвращается на родину Грибоедов: «Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Нескольким грузин сопровождало арбу. — Откуда вы? — спросил я их. — Из Тегерана. — Что вы везете? — Грибоеда. Это было тело убитого Грибоедова, которое препро-

вождали в Тифлис». Во всей мировой литературе нет для нас строк печальней этих. Без слез нельзя себе представить обстоятельства последнего свиданья поэта с Ниной, — как шумело пламя факелов, царапая обступившую ночь, как билась на длинном черном ящике при этом грузинская девочка-вдова, русская женщина Нина Грибоедова.

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской», — начертала она на могильном камне мужа.

Все ищут своего счастья в мире. Грибоедов пренебрег им. В эпохи, когда открываются новые горизонты, ум и маленькое обывательское счастье несовместимы. Гений живет дальше пределов, до которых может дотянуться его рука. Его единственное удовлетворение — в сознании выполненного долга. Но если, по его примеру, долг этот выполняется одновременно всем народом, и нет в его организме ни одной не напряженной мышцы, как в разуме — праздной мысли, тогда явное, великанское, коллективное счастье нисходит в эту благословенную страну. Вот вражеское железо коснулось нашего сердца, и пламя рванулось из раны, и горе тому, кто встал на его пути! Оглянитесь на себя: победная гор-

дость, которая ныне живет в вас, не есть ли оболочка созревающего счастья?

Привычные ко всему, мы забываем, что деяния великих, как паруса, ведут наш корабль вперед. И только на грозном ветру испытаний мы постигаем, что означает для нас их утрата. Так было с нами в черную осень 41 года, когда с предельной остротой, родившей наши зрелость и могущество, мы поняли, что значит для нас Москва и Революция, Культура и Сталин, чье имя стало нынче всемирным паролем победы над фашизмом. Мы привыкли к мысли, что есть у нас Грибоедов, и мир привык, что щедра была от века на великих наша земля.

Но близок день, когда человечество по-новому взглянет на историю русской мысли. Оно захочет узнать, откуда же взялась освободительная сила людей, которые избавили его от смертельного недуга. Благодарное и изумленное, закинув голову, оно еще раз взглянет в лица Ленина и Пушкина, Грибоедова и Толстого, освещенные зарей нового утра. И тогда все, что есть честного в мире, земно поклонится вам, духовные предки советского солдата, который нынче собственной кровью намечает дорогу честнейшему сталинскому гуманизму!

РОМЭН РОЛЛАН и МАКСИМ ГОРЬКИЙ

(По неизданному источнику)

Проф. С. М. БРЕЙТБУРГ

★

1

К ончина Ромэн Роллана побуждает нас опубликовать в печати его давнишний отклик на смерть Максима Горького.

Взаимные чувства симпатии и глубокого уважения зародились у обоих писателей издавна. Связь между ними еще более укрепилась в период первой мировой войны, когда Роллан, подобно Горькому, поднял свой голос против агрессоров. «Я усердно читал все Ваши статьи, вышедшие за время войны, и хочу выразить Вам глубочайшее уважение и любовь, кои они мне внушили. Вы один из немногих, чья душа осталась непомятой безумием этой войны»¹, — писал тогда Горький Роллану. И совершенно в унисон прозвучала в те же дни и роллановская оценка позиции Горького: «В печальном ряду бесчисленных писателей, художников и мыслителей, которые в несколько дней отрекались от своей миссии руководителей и защитников народов, чтобы следовать за обезумевшими стадами, разъяря их своими криками и устремляя их в бездну, — Максим Горький один из немногих, сохранивших в неприкосновенности свой разум и свою любовь к человечеству»².

А после Великой Октябрьской революции их отношения перешли в нерушимую, горячую привязанность. «Я имею высокую честь считать его своим другом»³, — читаем в статье Горького об авторе «Жан Кристофа». А Роллан, со своей стороны, поведал однажды в интимной беседе о

¹ Письмо это относится к концу декабря 1916 года (русский перевод см. в книге Р. Роллана «Предшественники». Л. Гиз. 1924, стр. 55—56).

² Из послания Р. Роллана, зачитанного перед лекцией А. В. Луначарского в Женеве о жизни и творчестве М. Горького, в январе 1917 года.

³ Очерк «О Ромэн Роллане», впервые напечатанный в юбилейном (в связи с шестидесятилетием французского писателя) 38-м номере «L'Europe», от 15 февраля 1926 года (оригинал см. в сборнике: М. Горький «Несобранные литературно-критические статьи». М. Гихл. 1941, стр. 367).

своих чувствах к гениальному собрату по перу. «Я любил его больше всех своих друзей, я никогда никого не любил так!»¹.

Эта дружба двух великих художников как бы знаменовала собою взаимное тяготение передовых кругов русского и французского народов. В Роллане Горький видел олицетворение традиционных черт французского патриота: «Роллан упрям и смел, как настоящий француз»², — писал он. Горький же являлся для Роллана глубочайшим выразителем социалистических устремлений русских народных масс. И эта высокая миссия творца «Буревестника» являлась для автора «Прощания с прошлым» неотразимой притягательной силой.

2

На своем долгом жизненном и творческом пути Ромэн Роллан испытал два сильных влияния русских писателей — Льва Толстого и Максима Горького. Оба этих имени связаны с коренными переломными этапами в его мировоззрении.

«Очаровывающий душу» писатель, даровитый музыкант, ученый, — Ромэн Роллан обладал в качествами выдающегося общественно-политического деятеля. Недаром он называл свою разностороннюю деятельность «бунтарской позицией». И он не покидал эту позицию даже тогда, когда оказывался «изолированным, ненавидимым и отвергнутым общественным мнением»³ буржуазного круга.

Однако вначале восстание Роллана против устоев «буржуазной националистической и ка-

¹ Из неизданного описания откликов Ромэн Роллана на смерть Горького. Оно принадлежит перу жены французского писателя, М. П. Роллан, и 21 июня 1936 года было прислано ею в Иностранную комиссию Союза советских писателей на имя заместителя председателя ее, М. Я. Аплетина.

² См. упомяан. выше «Несобранные лит.-критические статьи» Горького, стр. 368.

³ Из статьи Р. Роллана «Мой путь к революции» (русский перевод см. в «Известиях», 1934 г., № 151, стр. 5).



питалистической эпохи»¹ ограничивалось лишь индивидуалистским протестом — гневным, страстным, искренним, но еще не выходящим за пределы утопических иллюзий о возможности преодоления социального зла путем внутреннего, этического самоусовершенствования.

Вполне понятно поэтому, что его духовным миром надолго овладевает «апостол всечеловеческого братства» — Лев Толстой, с которым он вступил в переписку еще юношей. Описанием «героической жизни» Толстого Роллан открыл свою знаменитую серию биографий. «Доброта, разум, абсолютная правдивость Толстого превратили для меня этого великого человека в самого верного руководителя среди нравственной анархии нашего времени»², — вспоминал впоследствии Роллан. Насколько глубоко (хотя и не без некоторой критики) было усвоение им толстовства, достаточно свидетельствует тот факт, что на одно из самых ранних его писем Толстой ответил ему письмом на тридцати восьми страницах.

Но «сильная рука Толстого», поддерживавшая молодого Роллана в его протесте против социального паразитизма и в стремлении к народным массам, — не сковала ни творческой воли французского писателя, ни дальнейших идейных его исканий.

На рубеже мировой войны и социалистической революции в России стал слагаться новый этап в мировоззрении Ромэн Роллана. Еще гром-

че и мужественнее зазвучал обличающий голос писателя против одичавших «хозяев» жизни и «демократов»-изменников, против шовинизма, разрушения культуры и т. п. От былой созерцательности и этического бунта Роллан стал переходить на путь непосредственной борьбы — «от узкого индивидуализма к пролетарской революции»¹, по его личному определению. И он с удовлетворением вспоминал впоследствии: «как только разразилась русская революция, я приветствовал ее одним из первых»².

В конце двадцатых годов, с момента «мобилизации моральных и интеллектуальных сил старого мира, проведенной международной фашистской реакцией против СССР»³, — Ромэн Роллан твердо заявил, что «обязательным долгом во всех странах является защита Советского Союза «против всех врагов, угрожающих его подъему». И «от этого долга, — заверял он в письме к товарищу Сталину, — я никогда не отступал, не отступлю никогдз, до тех пор, пока буду жив»⁴.

С этой поры Ромэн Роллан решительно стал плечом к плечу с Максимом Горьким. «Почва вокруг меня была истощена. Но я протянул свои корни и достиг под почвой Европы плодородных пластов русского народа, необъятной жизни, пробужденной в глубинах СССР. Как

¹ См. упомян. выше «Мой путь к революции».

² Там же.

³ Там же.

¹ См. упомян. выше «Мой путь к революции».

² Из вступительной заметки Р. Роллана к опубликованному им в 1902 г. письму Толстого к нему.

⁴ Из письма Р. Роллана к И. В. Сталину, от 20 июля 1935 г. (русский перевод см. в «Правде», 1935 г., № 199, стр. 1).

раз в конце этой подземной работы мои корни встретились с корнями Горького. И они братски сжились с ними», — образно охарактеризовал сам он свершившийся в нем тогда переход.

Разобщенные территориально, оба писателя постоянно стремились к личному знакомству, случай к которому все как-то не представлялся. «Я никогда не видел его, — сокрушался Горький, — но думаю, что глаза Роллана спокойны и печальны, а голос тих, но тверд»¹. Столь же умозрительно рисовал себе образ своего друга и Роллан, не менее сильно стремясь к встрече.

В 1935 году Роллан приехал в СССР, и писатели увидели, наконец, друг друга. Расставаясь, Горький взял с гостя слово вновь посетить нашу страну, чтобы вместе проехать по родным местам. В одном из последних писем к Роллану он напоминал: «Не забудьте, дорогой мой, что Вы обещали через год поехать со мной на Волгу»².

Но первой встрече этой суждено было оказаться и последней... Тем острее Роллан ощутил утрату после кончины Горького. Об этом с документальной убедительностью и свидетельствует еще не бывшая в печати упомянутая записка его жены в траурные горьковские дни тридцать шестого года.

3

Роллан стал проявлять беспокойство тотчас же, как до него дошли вести о заболевании Горького: он «со времени первого известия о болезни боялся... — читаем в упомянутой записке. — Я никогда не видела Роллана в таком состоянии, как в эти дни».

Несмотря на тягостные предчувствия, сообщение о кончине буквально потрясло верного друга Горького: «Когда была первая телеграмма (по телефону нам их передают из Лозанны), и я, вернувшись к Роллану, с которым мы как раз занимались русским в этот час (6—7 вечера), сказала ему, — он только поднял руки к лицу и сказал:

— О, боже, о, боже!

Другой телефон (вторая телеграмма) тотчас снова вызвал меня; и придя обратно, я нашла Роллана в слезах, с таким осунувшимся лицом, что испугалась», — продолжает автор.

«Вот прошло уже три дня, а горе не утихает, — читаем далее. — Роллан знал, что очень любит Алексея Максимовича, — но теперь он говорит:

¹ См. упомян. выше «Несобранные лит.-критические статьи» Горького, стр. 368.

² Эта и все дальнейшие цитаты и почерпнуты из названной (см. примеч. 1-ое, стр. 137, 2-ая колонка) записки М. П. Роллан.

— Я не знал, что так¹ любил его!

Он ходит сам не свой».

Роллану казалось, что в памятную их встречу ему не в полной мере удалось передать Горькому свои чувства к нему: «Роллан все упрекает себя, что не умел выразить своей любви — когда мы были с ним; ему мешала невозможность непосредственного (без перевода) разговора. И он для Алексея Максимовича изучал русский! Это был стимул, это было первой причиной его желания научиться языку».

Единственным утешением Роллана в те мрачные дни было — слушать по радио «кремлевские куранты» у свежезамурованной в стене урны Горького: «По радио слушаем Москву, все вечера... Красную площадь, которая доносится сначала как бы порывами ветра (это, верно, грохот трамваев), очень волнующими, потом ударами кремлевских часов полночи (у нас в это время десять часов вечера)», — сообщает мемуарист.

И в день похорон Горького «Роллан сказал:

— Это его первая ночь здесь...

Вчера опять мы «были» на Красной площади — и снова с ним... И я знаю, каждый вечер Роллан будет говорить, даже если передача ему [будет] непонятна:

— Дай Москву!.. —

чтобы в десять часов услышать эти воздушные течения там, в полночь, — и почувствовать себя рядом с другом. Да, от этого горя не утешиться!..» — замечает жена писателя, передавая настроения самого Роллана.

И еще одно заветное желание лелеял в те дни Роллан — вновь посетить Советский Союз. И не только с тем, чтобы отдать последний долг дорогому другу, но и для того, чтобы подышать окружающей Горького атмосферой советской жизни, столь умножившей его творческую энергию.

Заканчивается скорбная записка так: Роллану «хочется быть опять среди его близких, слышать о нем, — и пойти туда, на Красную площадь...

Конечно, приедем!.. И Роллан все-таки научится русскому языку!..»



Разразившаяся война помешала Ромэну Роллану осуществить его заветное желание. Но на закате жизни ему довелось стать свидетелем того, как его родина была освобождена от фашистских захватчиков. А незадолго до кончины, 7 ноября 1944 года, Ромэн Роллан вновь присутствовал «среди близких» Максима Горького — на приеме в советском полпредстве в Париже.

¹ Здесь и ниже — курсив подлинника.

КНИГА О РУССКОЙ ДОБЛЕСТИ

Б. ЛАВРЕНЕВ



Русско-японская война была значительным событием последнего периода царской России, ускорившим процесс крушения самодержавия и вызвавшим бурю первой русской революции. В. И. Ленин, следя за ходом войны из эмиграции, уделял ей много внимания, как существеннейшему фактору назревающей революции, и это внимание отражено в его классических статьях.

О русско-японской войне было написано немало исторических и военных трудов в России и за границей, но в художественной литературе маньчжурская трагедия долгое время не находила себе должного отражения.

До октябрьской революции такое молчание было понятным и естественным. Во всероссийской вотчине Романовых было так же бестактно разговаривать вслух о военном позоре самодержавия, как в доме повешенного обсуждать сорта веревок.

Однако и после на протяжении многих лет наши писатели не проявили должного интереса к этой теме. Кроме «Цусимы», русско-японской войне был посвящен только ремесленный «роман» Купера «День Марии», порочный по концепции, полный несообразностей и литературно убогий.

Появление исторического повествования А. Н. Степанова «Порт-Артур» отвечает растущему настоящему желанию советского читателя увидеть события истории нашей родины правдиво отраженными в художественных произведениях. Выход этой книги, как нельзя более своевременен в дни Великой Отечественной войны советского народа.

Автор «Порт-Артура» в юности лично пережил порт-артурскую драму, много лет тщательно собирал материалы о ней и написал огромную по объему, значительную по содержанию хронику защиты русской армией и флотом Квантунского полуострова и крепости Порт-Артур.

Интересы царского империализма столкнулись с акульными аппетитами молодого и хищного японского империализма. Раздираемая внутренними противоречиями, экономически нищая, технически отсталая в военном деле царская Россия, вооруженные силы которой в ос-

новном воспитывались для борьбы с «врагом внутренним», уже расшатывавшим подножие трона, была втянута в непосильную для нее схватку с врагом внешним, полным задора и энергии и вооружившим свою вновь созданную армию по последнему слову военной техники. Исход этой схватки был предрешен с первого выстрела, но в ее развертывание внес свои поправки русский человек, одетый в солдатскую шинель, испытанная воинская доблесть которого спутала карты японцев и встала для них несокрушимой преградой на пути к молниеносной победе, о которой мечтал враг.

Доблесть и стойкость русского солдата превратили войну из «молниеносной» в затяжную, измотали и обескровили японскую армию и японскую экономику и заставили Японию, после ряда побед, торопиться с заключением мира во что бы то ни стало и на любых условиях, ибо продолжение войны грозило полным крахом обанкротившимся победителям Русский солдат свел на-нет все самонадеянные грезы самураев.

Повествование А. Н. Степанова служит художественной иллюстрацией положения, высказанного В. И. Лениным в его статье о падении Порт-Артура, что «не русский народ, а самодержавие пришло к позорному поражению»¹.

Степанов широко охватывает события порт-артурской эпопеи на сухопутном и морском театре, рассказывая волнующую историю восьмимесячных героических подвигов русских людей, которым довелось на краю земли отстаивать в кровавых боях честь русского имени и славу русского знамени.

Японское командование напало на Порт-Артур внезапно, без объявления войны, положив этим разбойничьим актом начало бандитской тактике неожиданных ударов, с восторгом подвальной и введенной в правило уголовным режимом германского фашизма с первых дней его существования. Японцы рассчитывали сначала уничтожить основные силы тихоокеанского флота, лишить крепость защиты с моря и захватить ее стремительным броском отборного десанта, зная о слабой оборонительной линии, прикрывавшей Порт-Артур с суши. Но на не-

¹ Ленин. Собр. соч., т. VII, стр. 44.

достроенных и слабо оборудованных фортах крепости перед врагом встали русские солдаты и матросы, боевые качества которых не утратились даже в гнилой атмосфере армии Николая последнего. Вопреки тупости и продажности значительной части высшего командования, войска грудью приняли вражеский удар и в течение долгого времени отбивали отчаянные приступы японцев, уложив на подступах к Порт-Артуру цвет японской армии.

Эту несокрушимую храбрость, мужество, стойкость, отличающие русского воина на всем протяжении нашей военной истории в самых тяжелых обстоятельствах, Степанову удалось показать правдиво и ярко во всем их величии.

Есть в повествовании любопытно и умно подмеченная автором разница психологии восприятия войны высшим генералитетом, с одной стороны, и рядовым офицерством и солдатскими массами — с другой. Порт-артурские генералы во главе со Стесселем, за ничтожными исключениями, стараются как можно меньше думать об обороне и интересоваться ею. Она — досадная помеха их сытому, бюрократически-казнокрадскому, налаженному быту. Это моральное ожирение, отвлечение к своей жизненной профессии, утрата военного мышления действительно характерны для большинства высших командных чинов периода русско-японской войны, мирно наживавшихся на хлебной кормушке в отдаленных окраинах. А в то же время рядовое офицерство и солдаты, для которых романовская Россия была злой мачехой, встречали войну как суровую неизбежность, обязывающую их к честному, мужественному и беззаветному выполнению долга воина.

Из такого восприятия войны — одними как тяжелой неприятности, другими как трудного, но необходимого боевого долга, происходили и те глубоко разные взаимоотношения между людьми и родами оружия, которые наблюдались в Порт-Артуре среди командования и рядовых бойцов. Эти взаимоотношения сумел убедительно показать автор «Порт-Артура».

Еще перед войной в крепости царила атмосфера склоки, взаимной неприязни и прямой ненависти между представителями морского и сухопутного командования. Эта атмосфера в дни осады не только не разрешилась, но, наоборот, сгущалась и губила дело обороны до последнего дня.

Степанов показывает читателю всю порт-артурскую верхушку, начиная от темного проходимца, карьериста, беспросветного невежды Стесселя, за которого, по скудости его ума, вращает делами его бойкая, аморальная супруга, спекулянтка Вера Алексеевна, и кончая уже совершенно презренными и подлыми персонажами — сознательным предателем генералом Фоком и безнадежным алкоголиком и принципиальным склочником и клеветником — генералом Никитиным. Этой красочной шайке бездарностей и негодяев противостоят в Порт-Артуре одиночки-патриоты, рыцари долга, пытающиеся честно выполнить выпавшие на их долю задачи обороны, сознающие, что в стенах

осажденной крепости они защищают не истлевший государственный строй, а честь русского оружия. В первую очередь — это любимец солдатских масс, подлинный герой и сердце обороны генерал Р. И. Кондратенко, командующий Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал С. О. Макаров, генералы Белый и Надеин, начальник штаба Кондратенко полковник Ращевский.

К сожалению, хотя генерал Р. И. Кондратенко и наделен в повествовании рядом лучших качеств, портрет его остался расплывчатым и бледным. В нем трудно узнать вышедшего из народных глубин волевого, умного полковника. Он недостаточно наделен жизненными чертами и проходит по страницам скорее отвлеченным символом добродетели, чем живым, горячим, полным неисчерпаемой энергии и достоинства боевым офицером, каким он остался в памяти его соратников и в памяти народа.

Развертывая широкое пологое героическое боевое страды защитников крепости, Степанов рядом примеров демонстрирует с полной убедительностью, как на каждом шагу глушились и подавлялись военным невежеством, трусостью и изменой начальства боевой дух и энергия передового молодого офицерства и бойцов. В этом смысле показателен эпизод с командиром роты одного из сибирских стрелковых полков — Енджеевским. Смелый и инициативный командир, обнаружив внезапное наступление японцев, ударил во фланг японской колонне, разгромил ее и захватил двух японских офицеров с важными документами. Стессель, для которого всякое проявление храбрости и наступательного порыва, угрожающее затяжкой осады, было хуже горькой редьки, придрался к тому, что Енджеевский предпринял свой удар без разрешения непосредственного начальника, и в специальном приказе по крепости распорядился отрешить Енджеевского от командования ротой, зачислить в нестроевую часть и впредь не представлять ни к каким наградам. Так планомерно гасилась в Порт-Артуре живая мысль командира, наступательный порыв, всякое смелое, самостоятельное начинание.

Лучшие из порт-артурских военачальников не могли побороть заговор дураков и изменников. Р. И. Кондратенко, неоднократно приходивший к убеждению, что только немедленный арест Стесселя и Фока может изменить положение и укрепить оборону, вероятно, в конце концов, решился бы на эту меру, если бы не его внезапная смерть на боевом посту, смерть, которая, кстати, по некоторым признакам, была заведомо «организована» Фоком, связанным с японскими агентами в крепости, ибо не чем иным, как заблаговременным уведомлением японцев о поездке Кондратенко на форт № 2, нельзя объяснить внезапно ураганный огонь японской осадной артиллерии по каземату, в котором находился в этот момент Кондратенко со штабом. Фоку, ненавидевшему Кондратенку смертной ненавистью, открыто ее выражавшему и радовавшемуся, что пути его и Кондратенку «никогда не сходились и не сойдутся», смерть

лучшего порт-артурского генерала была чрезвычайно наружу.

Надо сказать, что Степанову вообще гораздо лучше удалось его рядовые герои — младшие офицеры, солдаты и матросы, беззаветно сражавшиеся на слабо оборудованных укреплениях крепости, упрямо отбивая настойчивые бешеные атаки японской императорской гвардии, напичканной и накаленной шовинистической пропагандой «великой божественной миссии» японской империи.

Одной из самых пластичных и сильных фигур вышел у Степанова артиллерийский поручик Борейко. Это настоящий русский человек со стихийной удалью и размаком, с неровным, пылким и неудержимым нравом, наделенный громадной физической и нравственной силой, неустанный труженик, любящий солдат, принципиальный борец за человеческое достоинство и правду, готовый драться с любым за свои принципы с неистовством и яростью, не признающими границ и компромиссов. Борейко истинный патриот, мучительно переживающий уродливые проявления самодержавного режима, но родину любящий и высоко ставящий ее честь. В образе Борейко Степанову удается достичь наибольшей высоты.

С такой же зоркостью, мягкостью и теплотой изображены Степановым и другие честные порт-артурские командиры: Стах Енджеевский, капитаны Гудима и Жуковский, лейтенант Подгурский, мичман Сойманов.

Среди младших офицеров, героев романа, наибольшее место уделено прапорщику Звонареву.

Прапорщик задуман автором как одна из центральных положительных фигур в романе. Соответственно замыслу, Звонареву приписаны все добрые качества: храбрость, талантливость, деловитость, честность. Но все эти черты неподвижны. Звонарев до конца остается таким, каким появился на первых страницах романа — условной добродетелью без собственных мыслей, глубоких переживаний, сильных страстей.

Не меньшей, чем образ Борейко, удачей писателя можно назвать и облик «бомбардира лабораториста», штрафного фейерверкера Блохина. Блохин, как и его непосредственный начальник Борейко, — человек большой воли, стойкости и выносливости. Он воплощает в себе лучшие черты народного характера: здоровый и едкий ум, прямоту, чувство собственного достоинства, беззаветную храбрость, боевую смекалку, высоко развитое сознание долга и товарищества. Кроме того у Блохина есть еще и целеустремленность. В нем пробуждается политическое сознание, и он начинает понимать, кто его друг и кто враг, начинает любить и ненавидеть со здоровым смыслом. В лице Блохина Степанову удалось написать портрет одного из тех рвущих цепи темноты солдат царской армии, которые впоследствии явились борцами за установление советской власти в 1917 году и, пройдя долгий путь борьбы и учебы, стали сегодня командирами Красной Армии в славном пути ее великих побед. Запомнятся и полюбятся

читателю и другие солдаты, действующие в повествовании, особенно простая и поэтическая натура — сказочник Ярцев. А женщина-добриволец, сибирский стрелок Харитина Короткевич, любовно написанная автором «Порт-Артурского», проходит в повествовании как связующее звено между русскими женщинами-героинями далекого прошлого: девицей-кавалеристом Дуровой, Дашей севастопольской и героинями нынешней войны — Людмилой Павличенко, Ниной Ониловой, Марией Байда.

В среде рядовых героев «Порт-Артурского», в протывовес генеральской верхушке, испытания обороны рождают чувство единства, дружбы, товарищеской крепкой поддержки. Рядовые русские люди — армейцы и моряки — устанавливают тесный контакт двух родов оружия, самоотверженно приходя на помощь друг другу в общей борьбе против врага.

Степанов нашел возможность показать это чувство боевого патриотического единства, объединяющего лучших артурцев, независимо от родов оружия и чинов, в прекрасной, глубоко волнующей читателя сцене штыковой атаки матросов, в которую их ведет, после гибели командиров, старый, слабый здоровьем, но сильный духом генерал Наздин, участник первой севастопольской обороны. Старик появляется перед матросами в решительный момент, по старой традиции с сабелькой в руках и с иконой на груди, как ходила в атаки при Ермолове и Паскевиче. Но, несмотря на внешний комизм этого появления в эпоху пулеметов и дальнобойных орудий, матросы сердцем угадывают в дряхлом генерале настоящего, родственного им по духу, непреклонного воина, заслуживающего, чтобы люди пошли за ним в лихой и безудержный натиск.

Значительное место в повествовании Степанова отведено флоту, базировавшейся на Порт-Артурском 1-й Тихоокеанской эскадре. Видимо, автор не соприкасался с флотом вплотную, и в этой части его работы больше всего уязвимых мест.

Нельзя отрицать, что Степанов находит очень теплые и мягкие тона для изображения С. О. Макарова, но это изображение страдает односторонностью. Читатель видит перед собой заботливого и делного хозяйственника-администратора, отлично налаживающего работу доков и флотских мастерских, ласкового «дедушку», стремящегося облегчить трудный рабочий и матросский быт, либерального и добродушного друга порт-артурских учительниц. Все это безусловно верно, но недостаточно. Макаров был не только добряком-демократом, но одним из лучших боевых моряков-флотоводцев. Человек большого ума, ясного военного мышления, создатель основ самостоятельной морской тактики, крупный ученый, он был и блестящим практиком, требовательным командиром, умевшим последовательно и настойчиво внедрять в жизнь свои идеи, не считаясь с противодействием взрослых плесенью тузов морского ведомства. Его кратковременная командная деятельность в Порт-Артуре — это наглядная летопись его

борьбы не только с верхушкой артурского генералитета, но и с всемогущим морским мистром и главным морским штабом. Крутой по нраву, Макаров и вопросы ставил прямо, прямым свидетельством чему — два его рапорта из Порт-Артура с требованием немедленной отставки в случае неудовлетворения его планов. Та жестокая перетряска, которую он учинил командному составу эскадры в Артуре, и его приказы о боевой работе флота говорят, что не погибни адмирал так несвоевременно, не только изменился бы весь ход обороны крепости, но мог бы измениться и весь ход войны. К сожалению, эти стороны личности Макарова, флотоводца и стратега, в повествовании Степанова никакого отражения не нашли.

Вообще у Степанова есть излишняя склонность к введению в ткань повествования многочисленных недостовερных анекдотов, распространявшихся изустно и письменно в русском обществе в период войны и после нее. Только этой ненужной склонностью и можно объяснить то, что рассказ о Порт-Артуре, рассказ значительный, умный и талантливый, начинается, подобно плохому рукоделию Купера, с давним давно документально опровергнутой басне о пресловутом бале на именинах мадам Старк в ночь начала войны, на котором будто бы танцевали все офицеры эскадры, благодаря чему японцам и удалось внезапно напасть.

По вахтенным журналам кораблей эскадры и другим документам бесспорно установлено, что в ночь японской атаки офицеры, за редким исключением, все находились на своих местах, что крошечное здание Морского собрания, где праздновались именины супруги командующего эскадрой, не могло вместить и десятой части офицерского состава, что японские миноносцы были замечены наблюдением своевременно, а запоздание с открытием по ним огня было вызвано тем обстоятельством, что, в связи с неточно определенными границами движения дозора русских эсминцев, находившихся в море, возникло сомнение в национальности приближающихся судов. Но, как только были усмотрены вспышки выпущенных торпед, по эсминцам был открыт не беспорядочный, а очень точный и меткий огонь, повредивший несколько кораблей и сорвавший попытку вторично атаковать поврежденные броненосцы. Таким образом есть все основания сомневаться в достоверности рассказа о бале, и повторять его в серьезной работе не стоило.

Неправильной кажется и тенденция преувеличивать роль и дарования командовавшего японским флотом адмирала Того и подчеркивать легендарное и несуществовавшее на деле японское джентльменство. Отнюдь не желая умалять силу и значение противника, приходится все же сказать, что Того вовсе не представ-

лял собой особо выдающегося флотначальника, а был безусловно знающим морскую службу, но вполне рядовым адмиралом, каких немало в любом флоте. Если его имя было окружено ореолом двух последовательных побед над русскими эскадрами, то нужно вспомнить и о том, кто командовал этими эскадрами. Разгромить вялого, нерешительного, запуганного Витгефта, который выходил из Порт-Артура не прорыв с психологией самоубийцы, а не война, и полубезумного самодура Рожественского, е маниакальным упорством ведшего свои корабли по роковому курсу норд-ост 23°, — было не таким сложным делом и не свидетельствует о талантливости действий японского командующего, имевшего к тому же в обоих случаях решающий перевес над русскими эскадрами в скорости хода, бронировании, весе залпа и разрушительном действии снарядов.

Неуместен в книге и анекдот о японском рыцарстве при встрече японского крейсера с госпитальным судном Витгефта «Монголией». В повествовании Степанова японцы ведут себя, как безупречные Баярды, вежливо расшаркиваются перед сестрами милосердия, привозят угощение и с извинениями отпускают «Монголию» во-свояси. Такого случая никогда не было. А вот подлинное «японское джентльменство» наши моряки узнали в Цусимском бою, когда «рыцари-самураи, потомки богини Аматеразу», придравшись к пустяку, арестовали госпитальное судно «Орел», лишив его возможности спасти гибнущих моряков. Тысячами жизней заплатили мы тогда за «благородство» японцев, разбойничьи начавших войну и продолжавших разбойничьи ее вести.

Но недостатки, отмеченные нами в целях дальнейшего улучшения книги, не могут нарушить общего большого впечатления от талантливой, умной, искренней работы писателя. Автор «Порт-Артура» сумел рассказать советскому читателю о дальневосточной трагедии ярко и содержательно, с горячим патристическим волнением, с искренней любовью к героическим защитникам Порт-Артура. Повествование Степанова особенно ценно зрелостью политического мышления автора, пониманием их значения японской войны в нашей истории, сознанием великой мощи народных сил и величия народного духа, не склоняющегося ни перед какими грозами и испытаниями.

«Порт-Артур» помогает воспитанию советского человека в преданности и любви к родине, в готовности всем жертвовать для ее счастья, чести и независимости. Труд писателя дал народу крупное, нужное, мобилизующее и вооружающее читателя художественно-историческое произведение, которое на долгие годы займет почетное место на книжной полке советского читателя.

БИБЛИОГРАФИЯ

БРАТСКИЕ ГОЛОСА*



Четыре небольших, заботливо и любовно изданных книжки, — четыре сборника стихотворений белорусских, украинских, литовских, закавказских поэтов, — очень различны своими изобразительными средствами, своим поэтическим темпераментом, но необычайно близки, родственны единым, общим кругом идей, мыслей и чувств, волнующих советских людей в дни Отечественной войны.

Светлые рощи белостовольных берез, влажная зелень заливных лугов, голубые озера, шопот камышей у тихой реки, дремучий медностовольный бор без конца и края... Такой привольной, ласковой, задумчивой изображают белорусские поэты родную Белорусь.

Крутые днепровские берега, соловьиный гром в цветущих вишневым садах, уютные белые хаты, теплый степной ветер, ласкающий лепестки алых маков, старинные, прославленные в народных песнях и былинах города, новые заводы, шахты, созданные вольным всенародным трудом... Такой встает перед нами Украина в стихах украинских поэтов.

Синие волны Немана, янтарный песок пустынных побережий, белые чайки над дюнами, серые морские просторы Балтики, яблоневые сады, старые дубы среди лугов, заросших ромашкой и рутей... Это — Советская Литва. Словно акварельной кистью рисуют литовские поэты облик родной любимой земли.

Горы в коронах литого льда, горные озера, студеные горные родники, голые скалы, узкие ущелья, сады, цветущие в зеленых долинах под щедрым солнцем... Это — Закавказье: Азербайджан, Армения, Грузия.

Как разнообразна советская земля! Какое обилие красок — от серо-голубых туманных оттенков Прибалтики до яркого блеска Юга!

И, бесспорно, — есть что-то новое, есть какая-то новая сила, новое пристрастие в любовании милой красотой своего родного края у наших

поэтов. В проявлении любви к родной земле. Стихи исполнены необычайной взволнованностью, — словно заново увидено, заново прочувствовано то, что с детства было дорогим и стало с годами привычным.

Впрочем, разве не понятна эта новизна и обостренная свежесть чувств в стихах, написанных в годы Отечественной войны?

Поэты борются вместе со своим народом за родную землю, — одни с винтовкой, другие с пером в руках. Всю боль, всю любовь, весь свой гнев они вложили в стихи о родине.

Враг занес было свой меч над судьбами, над жизнью всех народов Советского Союза. Поэты Азербайджана, Армении, Грузии не покидали родных очагов, не извели, хотя бы временной разлуки с родной землей. Но сознание того, что враг был на советской земле, пробуждало в них те же чувства, ту же боль и гнев, что и у их белорусских, украинских, литовских братьев.

В этой общей, всенародной заботе о судьбах родины и скрыта могучая лирическая сила стихов, написанных за время Отечественной войны русскими, белорусскими, украинскими, литовскими, азербайджанскими, армянскими, грузинскими поэтами. Общее сыновнее чувство роднит, сближает эти стихи. Написаны они на шести языках, но говорят об одном — о любви к родине, и говорят об этом понятно для всех народов Советского Союза.

Эти стихи — цветы одного сада.

В пределы нашей страны вломился враг.

... Я вижу полчища тевтонов.

Звериний блеск в глазах пустых.

Не знает никаких законов

Орда разнузданная их... (Якуб Колас)

Что недавно было там, где побывал враг? — «Виселицы частоколом стали у реки...» «За проволокой ржавой и колючей концлагери темнеют на снегу...» «Пепелище деревни темнеет пустынно, уныло...» «Не слышно в селах смеха молодежи. Среди глухих руин лишь филин ухнет, с нечистым духом схожий...» Так выглядит привольная литовская земля под игом пришельцев в стихах Антанаса Венцлова. Такой же встает перед читателем разоренная врагом земля в стихах украинских и белорусских поэтов, в стихах поэтов Закавказья. Эта боль,

* «Беларусь в огне». — Сборник стихов белорусских поэтов. «Молодая Гвардия», М. 1943; «Мы — Сталина солдаты». — Сборник стихов молодых украинских поэтов; «Дорога в Литву». — Сборник стихов литовских поэтов. «Молодая Гвардия», М. 1944; «Гнев и любовь». — Поэзия Закавказья. «Молодая Гвардия», М. 1944.

эта скорбь, это горе, с предельной искренностью выраженные в стихах,—огромная сила, роднящая, объединяющая народы Советского Союза, зовущая их к борьбе, к победе. Вспоминаются слова великого вождя народов Советского Союза товарища Сталина о том, что «Все народы Советского Союза единодушно поднялись на защиту своей Родины, справедливо считая нынешнюю Отечественную войну общим делом всех трудящихся без различия национальности и героическими подвигами. Теперь уже сами гитлеровские политики видят, как безнадежно глупыми были их расчёты на раскол и столкновение между народами Советского Союза. Дружба народов нашей страны выдержала все трудности и испытания войны и ещё более закалилась в общей борьбе всех советских людей против фашистских захватчиков».

Глубокая лирическая взволнованность поэтов судьбами советской родины является как бы поэтическим комментарием к этим сталинским словам.

Армянский поэт Гурген Борян просто и сильно высказал мысль об общности чувств, объединяющих в дни Отечественной войны советские народы в один лагерь:

Страна советов нас взрастила,
Мы — сыновья земли родной...

И, конечно, не случайно, что поэты Закавказья так много и так горячо пишут об Украине, фазеренной врагом, и о русских землях, по которым прошли бронированные полчища фашистских захватчиков.

Азербайджанский поэт Самед Вургун посвящает большое стихотворение «Встреча с Орлом» взятию нашими войсками города Орла. В одном из стихотворений Мамеда Рагим молодой азербайджанец, джигит Терлан, гибнет в бою за Дон.

... Думал ли он,
Что крепко полюбит Дон,
Что сердцу эта река,
Как счастье, станет близка...

В стихотворении Сулеймана Рустама «Их было трое» — три удалца, три брата: азербайджанец, казах и русский, плечом к плечу сражаются за свободу советской земли.

Армянский поэт Ашот Граши так говорит об Украине:

Лишь раз один я был на Украине, —
Она казалась родиной моей...

Молодая армянская поэтесса Ахавни называет Украину матерью:

Мила мне, словно родина моя,
Твоих просторов солнечная гладь...
Рожденная армянкой, — я твоя,
Я — дочь тебе, о, Украина-мать!..

Тема боевого содружества, боевого братства красной нитью проходит в стихах поэтов всех национальностей.

Литовец Костас Корсакас в рядах бойцов, защищающих Литву, встречает боевых друзей со всего Советского Союза.

... Друзья, бойцы из Казахстана,
Бойцы с украинских полей
И солнечных степей Кубани,
Где кони быстры, словно лани.
С гор Грузии и Аястана,
Где в винограде зной лучей
Вино струится горячее,
Из необъятной дальней шири
Тайги и мерзлых тундр Сибири —
Вы защищаете в бою
Литву Советскую мою...

Во всех четырех сборниках можно проследить сложный и высокий круг душевных переживаний, через которые прошел советский человек в годы Отечественной войны.

Вот он тоскует по родной земле, томившейся под игом захватчиков, вспоминает драгоценные мелочи былой своей жизни.

На память Василю Швецу приходит все, — и Шум и гомон милого Крещатика,
Белый сад, раскрытое окно...
Все это, и школа и грамматика,
Поэзия давно...

и те места, «где я ходил — мальчонка с книгой... где я сидел у славной речки» (Борис Байда).

...У каждого из нас была семья, был дом, Смеялось счастье в нем, играло солнце в нем. Домов лишились мы... —

пишет молодой украинский поэт Иван Нехода. Где он, наш дом? Как найти дорогу? Яблоня там остались в цвету...

вспоминает с душевной болью литовская поэтесса Саломея Нерис. Разлука с домом мучительно давила людей, отторгнутых от родных мест.

Богатство благородной души советского человека раскрывается в этой тоске по родной земле. Здесь и оскорбленное чувство высокой человеческой справедливости, чувство человеческого достоинства, возвращенные всем строем советской жизни, — здесь и личная печаль о родном и близком, выраженная с волнующей искренностью.

Но эта тоска, как бы ни была она сильна, мучительна, не расслабляет, не опустошает души советских людей. В этом сказывается могучая душевная сила советского человека — борца, строителя, привыкшего преодолевать все препятствия в труде и борьбе. И вот, из тоски по родине вырастает яростная действительная ненависть к врагу: пламенное и жгучее стремление к беспощадной борьбе за жизнь, за свободу, за честь родной земли.

В дни Отечественной войны молодежь быстро возмужала, старики почувствовали прилив новых боевых сил, — все встали в ряды защитников родины.

...Я пережил надежд моих крушение,
И плакал над растерзанной Литвой, —
Но переплавилась тоска во мщение.
Литва, я мститель и защитник твой!..

пишет Антанас Венцлова. Эта тема «переплавки» тоски, горя в мщение является

одной из ведущих тем во всех четырех сборниках.

Не пали под грузом бедь на колени мы, —
В боях развернулась народная мощь...

(Петро Глебка)

О родина, отчизна-мать, теперь узнать
тебя нельзя!

Горят родные города, весенний вытоптан
посев!

Но ярость закипает в нас — безмерен
справедливый гнев,

На помощь к матери своей со всех сторон
спешат сыны... —

так пишет азербайджанский поэт Расул Рза.

Этот всенародный подъем находит свое выражение в стихах всех без исключения поэтов.

Величайшие испытания, выпавшие на долю советского народа, закалили его волю, сделали его непобедимым.

Характерно, что тема всенародного гнева, всенародного стремления к борьбе с врагом, к уничтожению врага в творчестве украинских, белорусских и литовских поэтов, представленных в сборниках, занимает большое место.

Партизанскую тему разрабатывают белорусы — Янка Купала, Петро Глебка, Якуб Колас, Антон Белевич, украинцы — Олекса Новицкий, Мария Грудницкая, Борис Байда, литовцы Людас Гира, Костас Корсакас, Владас Мозурюнас. Саломея Нерис посвящает небольшую поэму Герою Советского Союза комсомолке-партизанке Марите Мельникайте.

Едины скорбь и печаль, гнев, ненависть к врагу, стремление к защите родной земли. Едины для всех народов Советского Союза и глубокая, непоколебимая вера в победу. В самые тяжелые, самые мрачные дни войны уверенность в конечной победе, в освобождении родной земли от вражеского нашествия не покидала советский народ.

Твердая уверенность в победе слышна в большинстве стихотворений, включенных в сборники.

Так звучит эта уверенность в стихах Ованеса Шираза:

Пусть звезды потеряют блеск
И в небе упадут зодой,
Пустыня пусть подымет вой.
Пусть недра, вскрытые до дна,
Масис¹ поглотят с головой. —
Из сердца мира брызнет кровь, —
Не сгинет родина! — она
Из пепла возродится вновь!

И эта вера в победу так велика, так проникновенно близка каждому, что никто, решительно никто не сомневается в своем возвращении домой, в родные места, о которых истосковалось сердце человека.

Верю твердо: погибель врага покидает,
В край родимый я с песней победной вернусь.
Пока звезды мерцают,
Пока солнце сияет,
Беларусь не погибнет; будет жить Беларусь!..

(Пимен Панченко)

¹ Масис — Арарат (арм.).

Прекрасной и радостной будет та жизнь, которая вернется на советскую землю, когда враг будет окончательно разгромлен и уничтожен.

Михайло Стельмах предвидит то время, когда он вернется —

...в задымленной шинели
В край сказочного нашего Днепра.
Пахать и сеять выйду в перелог,
И яровой обильный дождь пойдет,
И будут сердцу видаться дороги,
Где юность-счастье ходит и поет...

В несокрушимой, живой вере советского народа в победу особое место принадлежит творцу, организатору этой победы, — тому, кто, по словам Якуба Коласа, «в лихую невзгоду» дал народу «великую веру и крылья орла», — товарищу Сталину.

К нему обращены самые теплые, самые вадущевые слова советских поэтов.

Уже без счета скошено врагов,
А бой идет и вражьей силы много,
Но Сталина знакомый бойрый зов
Ведет к победе — и верна дорога!..
(С. Чиковани)

Таков, в основном, круг мыслей, чувств, идей, нашедших свое отражение в стихах украинских, белорусских, литовских, азербайджанских, армянских и грузинских поэтов. От горя и скорби, через гнев и ненависть к врагу, к твердой и ясной вере в победу правого дела — таков в общих чертах путь духовного становления советского человека в годы Отечественной войны — великий, страдный, героический путь. С предельной искренностью и взволнованностью он отражен в лучших стихотворениях, вошедших в сборники.

Но вот невольно встает один очень важный вопрос — вопрос о том, почему тема близкой победы, тема победоносного наступления Красной Армии не получила должного выражения в рецензируемых сборниках?

Три сборника из четырех — украинский, литовский, закавказский, — вышли в свет во второй половине 44 года.

Это — год решающих побед. На мощную оборону врага обрушился карающий меч. С нарастающей силой Красная Армия наносила удар за ударом: Крым, Карелия, Витебск, Бобруйск, Могилев, Львов, Кишинев-Яссы, Прибалтика, Карпаты, Венгрия, Северная Финляндия, Норвегия...

Никогда ни одна армия не увенчивала себя лаврами подобных побед, следующих одна за другой, невиданных по своему величю, по глубине стратегического замысла и мастерству его исполнения. В итоге этих побед советская земля освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

«Теперь за Красной Армией остается ее последняя заключительная миссия: довершить вместе с армиями наших союзников дело разгрома немецко-фашистской армии: добыть фашистского зверя в его собственном логове и ведрозити над Берлином знамя победы», — сказал

на торжественном заседании Московского совета 6 ноября великий Сталин.

В стихах многих поэтов: Ивана Неходы и Михайло Стельмаха, Антанаса Венцлова и Саломеи Нерис, Самеда Вургуна, Мамеда Рапима, Гургена Боряна, Ованеса Шираза, Г. Леонидзе, Н. Чинчараули и других мощно звучит призыв к победе, но победоносное, сокрушающее все вражьи заслоны движение Красной Армии на Запад почти еще не показано.

Нельзя не признать, что тема победы до сих пор все еще не получила в творчестве советских поэтов должного решения, равного по своей силе и возвышенности решению темы ненависти к врагу, гнева, любви к родине. Тема победы еще ждет своего воплощения в творчестве советских поэтов.

★

Все четыре сборника составлены в основном удачно. Подбор стихотворений, включенных в них, дает достаточное представление об обширном круге вопросов, тем, волнующих советских поэтов в дни Отечественной войны, о разнообразии поэтических приемов и некоторых национальных особенностях того или иного поэта.

Мягкий, задушевный лиризм поэзии советской Литвы находит свое выражение в стихах элегического тона Антанаса Венцлова и Межелайтиса и в других стихах, идущих от раздумчивой, протяжной народной песни, полной углубленной душевной настроенности, — у Людаса Гира и Саломеи Нерис.

Народная песенная струя сильна и в стихах большинства украинских и белорусских поэтов, — особенно у Михайло Стельмаха, Олексы Новицкого, Марии Грудницкой, Галины Прохаченко, Якуба Колас, Янки Купала. Но стихи украинских и белорусских поэтов напряженней и как-то энергичней, чем стихи их литовских братьев.

На очень торжественной, почти одической ноте звучат многие стихи закавказских поэтов. Внутренняя страстность, повышенная эмоциональность стихов азербайджанских, армянских и грузинских поэтов, ничуть не заслоняя в то же время глубокого и искреннего лиризма, составляют привлекательную и характерную особенность высокого строя поэзии Закавказья.

Во всех четырех сборниках широко представлена поэтическая молодежь.

«Вчера еще они были в нежном, переходном периоде от детства к юности, а сегодня уже стали возмужалыми, крепкими, волевыми людьми. Такое их чудесное изменение произошло в огне Великой отечественной войны», — пишет Павло Тычина в предисловии к сборнику украинских поэтов. Эти слова приложимы в равной мере к молодым белорусским, литовским, закавказским поэтам, чье творчество выросло и окрепло в годы войны.

Голоса этой молодежи звучат твердо, сильно. Вместе со всем советским наро-

дом она мужественно выстояла под гнетом тяжчайших испытаний, своими руками завоевала победу.

Украинский сборник «Мы — Сталина солдаты» целиком посвящен творчеству молодых поэтов Украины. «Зелеными побегами» изыивает Павло Тычина в предисловии к сборнику творчество Ивана Неходы, Михайло Стельмаха, Олексы Новицкого, Василя Швец, Василя Лисняк, Ярослава Шпорты, Микола Рудь и др.

В сборнике «Беларусь в огне», наряду с поэтами старшего поколения — Якубом Колас, Янко Купалой представлены и молодые поэты: Антон Белевич, Пимен Панченко.

В сборнике литовской поэзии — «Дорога в Литву» обращают на себя внимание глубиной чувств и совершенством формы стихи одного из самых молодых поэтов Литвы — Эдуардаса Межелайтиса. Стихотворения начинающих литовских поэтов Владаса Мозурюнаса и Вациса Реймерса, особенно первого, убеждают читателя в том, что появились новые поэтические таланты. Стихотворение В. Мозурюнаса «Записка» стало одним из наиболее любимых стихотворений в литовских частях Красной Армии.

В сборнике закавказских поэтов «Гнев и любовь», наряду с поэтами старшего поколения так же широко представлена молодежь: Ахмед Джамил, Мирварид Дильбази, Нигяр Рафибейли, Ованес Шираз, Ашот Граши, Ахвани, Сильва Капутянцян, Шайбон, Ираклий Абашидзе, Нислаур Чинчараули, Севериан Исиани, Теймураз Джангулашвили и другие.

Отличные переводы литовских поэтов представила С. Мар — особенно Антанаса Венцлова, задумчивую грусть, элегическую тональность которого переводчице удалось донести до русского читателя. Удачны и точны переводы стихов Саломеи Нерис, выполненные Марией Петровых. Очень хороши переводы Н. Ушакова и Н. Кончаловской украинских поэтов. Прекрасны переводы с азербайджанского сделала А. Адалис. Следует также отметить переводы с армянского Т. Спендиаровой.

Над переводами трудился большой коллектив квалифицированных переводчиков в числе которых, кроме названных, следует упомянуть переводы В. Звягинцевой, Д. Кедрина, А. Владимировой, М. Замаховской, Ф. Фоломина, Е. Тараховской.

Хотелось бы, однако, чтобы переводчики больше уделяли внимания основному: индивидуальным особенностям поэтов. В ряде случаев, при вполне грамотных и «гладких» переводах, индивидуальность того или иного поэта стирается, — может быть, как раз в силу этой внешней «гладкости».

Можно приветствовать издание этих четырех небольших сборников. Они заполняют очень существенный пробел в нашей литературе времен Отечественной войны: знакомят широкие круги читателей с творчеством поэтов шести братских республик.

Б. Евгеньев

★

ЗАГУБЛЕННАЯ ИДЕЯ*

Героическая оборона Ленинграда навеки записана золотыми буквами на страницах истории. Одним из ярких проявлений глубочайшей веры советских людей в неминуемую победу над разбойничьим немецким фашизмом явилось то обстоятельство, что в обстановке неслыханно тяжелой блокады культурная жизнь города-героя ни на один момент не угасла. Навсегда останутся символами величия и торжества негибаемого человеческого духа ныне всемирно известная седьмая симфония Д. Шостаковича, вошедшая в золотой фонд советской литературы, поэма Н. Тихонова «Киров с нами», а также другие произведения искусства, созданные в суровые и страшные дни осады. Так в самую трудную пору своей истории Ленинград продолжал вносить великий вклад в неустанно растущую сокровищницу русской культуры.

Не так давно в Ленинграде вышла книжка с глубоко волнующим всякого советского патриота заглавием: «Героическая поэзия древней Руси».

Составители книги ставили своей задачей «дать возможно точный перевод памятников героической поэзии древней Руси», довести эти образцы до сознания доблестных защитников советской страны. Имелось также в виду, что подобный сборник привлечет внимание советских поэтов к героическим темам нашей старинной литературы.

Сборник содержит в себе следующие памятники древней русской литературы: 1) Три отрывка из «Повести временных лет» («Притча об обрах», «Сказание о Кожемяке», «Сказание о белгородском киселе»), 2) «Слово о полку Игореве», 3) «Повесть о приходе Батыя на Рязань», 4) «Слово о погибели русской земли» (составителями сборника оно дано под новым заглавием: «Земля русская»), 5) «Жизнь Александра Невского», 6) «Задонщина». Все эти произведения представлены в стихотворных переводах. Сборнику предпослано предисловие Б. Папковского. Редактировал книгу профессор В. Спиридонов.

Можно только приветствовать почин ленинградского отделения Издательства художественной литературы. Идея популяризации в массах лучших образцов нашей старинной героической литературы заслуживает безусловно всяческого одобрения и поощрения. Дело это вообще чрезвычайно нужное и полезное. А в условиях войны оно к тому же приобретает особенно актуальный характер.

К сожалению, у авторов и составителей дальше хороших намерений дело не пошло. Задачи, которые ставили себе авторы, участвовавшие в составлении данного сборника, выполнены таким образом, что по прочтении книги кроме недоумения и досады у читателя ничего более не остается.

* «Героическая поэзия древней Руси». ОГИЗ, Государственное издательство художественной литературы, Ленинград, 1944, тираж 10 000.

Недоумения начинаются уже с предисловия. Напрасно читатель будет искать в нем серьезную и компетентную характеристику исторической обстановки, выяснения идейной и художественной ценности публикуемых памятников, научно выдержанный комментарий к ним и т. п. Вместо этого он обнаружит «откровения», подобные следующему: «На всех этапах нашего героического прошлого ярко проявлялось участие в войне всего народа» (разрядка наша. Л. Б.). Чтобы не оставить сомнения, что это утверждение распространяется решительно на все периоды русской истории, Б. Папковский далее уточняет: «Это было характерно для войн как киевского и московского периодов, так и для последующих войн русского народа» (стр. 18). Научная несостоятельность этого утверждения — бесспорна. Все свалено в одну кучу. Совершенно игнорируется историческое своеобразие различных социально-экономических формаций, а следовательно, и войн, которые имели место в различные периоды истории народа. В приведенной выше выдержке сказано неизвестно автором с конкретными фактами истории и недостаточно глубоко усвоение им основных положений марксистско-ленинской науки, в частности, учения о войнах справедливых и несправедливых (см. «Краткий курс истории ВКП(б)», стр. 161).

На таком же уровне филологические познания автора, его компетентность в вопросах историко-литературных. Народная поэзия, — пишет Папковский, — врывается в летопись как живительный источник, обогащая ее сказаниями, притчами, баснями, житиями, сказками» (стр. 5). Таким образом, жития — специфически книжный литературный жанр — оказываются «народной поэзией!» «Басни» и «сказки» фигурируют как два самостоятельных понятия. Автор, видимо, не знает, что словом «басни» в старину и назывались сказки. «Басни баяти» означало «сказки сказывать».

Б. Папковский даже не сумел грамотно процитировать летописный отрывок. На стр. 8 он приводит выдержку из летописного «Сказания о Кожемяке». В цитации Папковского мы читаем: «И приѣха кнѣзь печенѣжскыи к рѣцѣ и възва Володимера...» Автор, видимо, и не подозревает, что в русском языке (ни в современном, ни в старославянском) форма «възва» попросту не существует. В действительности тут должно быть «възва» (вызва). В такой форме слов это дано и в «Повести временных лет». Указания на то, что здесь допущена опечатка, в книге не имеется.

Из того факта, что в «Никоновской летописи» имя Кожемяки поставлено рядом с былинным именем Алеши Поповича, Папковский делает следующий совершенно необоснованный вывод: «Сказание о Кожемяке» в позднейшей летописи относилось к былинам» (стр. 8). Автор путается даже в таких элементарных понятиях, как «реальный» и «реалистический»; «Сражение на льду Чудского озера изображено в реальных тонах».

Вступительная статья Б. Папковского трактует очень серьезные, важные вопросы: патриотизм, героика русского народа, его историческое прошлое и т. п. Но к их освещению автор отнесся без должного сознания ответственности.

Неприятное впечатление производит и стилистика. Текст ее чересчур уж густо пестрит такими словами и выражениями, как «героизм», «геройство», «героический образ», «героическое прошлое», «героическая поэзия», «героический характер сказания», «христианско-героическая повесть» и т. п. Автор не скажет просто «Житие Александра Невского», «Задонщина», а обязательно «героическое «Житие Александра Невского», «героическая воинская поэма «Задонщина». В иных местах эпитет «героический» встречается чуть ли не в каждой строчке: «Героическое прошлое русского народа является нам величайшие образцы мужества и героизма, храбрости и непоколебимой стойкости. Древнерусская литература отразила эти героические черты нашего народа» (стр. 18).

Столь же неумеренно автор пользуется словами «Русь», «русский». Достаточно сказать, что на той же 18 стр. он ухитрился употребить эти слова в 10 строчках из 22. Автор проявляет непростительную беззаботность и в написании ряда слов: «Родина» на стр. 18 написана с заглавной буквы, а на стр. 10 с простой. «Русский народ» на стр. 9 написано с простой буквы, а рядом, на стр. 10 — с заглавной. «Русские воины» также в одном случае пишется с заглавной, а в другом — с простой буквы (стр. 18 и 11). «Русские княжества» он пишет с заглавной буквы (стр. 10). Все это оставляет у читателя неприятный осадок.

Предисловие Папковского изобилует оборотами, которые обнаруживают стилистическую неяркость автора. Вот несколько наудачу взятых примеров: 1) «Черты былинны и исторической песни сказались в ритмическом складе «Притчи об обрах», вполне разложимом на стихи»; 2) «Все «Слово» проникнуто героическим характером»; 3) «Перевод «Слова...» публикуется в новом переводе...»; 4) «Сборник «Героическая поэзия древней Руси» включает в себе новые переводы текстов»; 5) «Их задача — донести замечательные памятники нашей литературы героическим защитникам советской страны»; 6) «Наше героическое прошлое является источником величайшей нравственной силы, которая дает уверенность в силе народа...» Сила... дает уверенность в силе! 7) «...Темы героической поэзии древней Руси привлекут к себе внимание советских поэтов и послужат материалом для больших и совершенных переводов». Как может тема сама по себе послужить материалом для перевода? Допустимо говорить о больших произведениях, но что означает выражение «большой перевод», остается загадкой для всех, за исключением, может быть, одного автора.

Предисловие, которое стоит на таком низком научном и литературно-стилистическом уровне, ничто хорошего читателю не предвещает.

Теперь о самих памятниках, опубликованных

в сборнике. Переводы их с древнего на современный литературный язык даны в форме стихов.

В своем предисловии Б. Папковский весьма пространно старается доказать, что публикуемые в сборнике летописные сказания «Повесть о приходе Батыя на Рязань», «Слово о погибели русской земли» и прочее — представляет поэзию древней Руси.

Для утверждения этого вовсе не нового и не нуждающегося в доказательствах тезиса Б. Папковский усердно цитирует Буслаева, Ключевского, акад. Орлова и других авторов. Имеющиеся в их трудах указания на то, что народно-поэтические произведения (былины, песни, легенды) явились одним из источников летописи, которая сохранила и некоторые остатки ритмического строя этих произведений, являются для Папковского достаточным основанием, чтобы рассматривать в се публикуемые в сборнике памятники как стихотворные и даже находить в них определенный размер. Так, в «Сказании о Кожемяке» он обнаруживает «былинный одноопорный речитатив»; в «Повести о приходе Батыя на Рязань» устанавливается «песенно-ритмический склад»; строки «Слова о погибели русской земли» «разделяются на стихи с определенным почти размером». Автор приводит тут же образцы, как он выражается, «стихового деления» текста этих памятников. Такую операцию он проделывает даже над «Житием Александра Невского». Все это громоздкое построение с мобилизацией грозного арсенала цитат понадобилось ему исключительно для того, чтобы оправдать и представить закономерным издание по существу прозаических (за исключением «Слова о полку Игореве») памятников древней русской литературы в современных стихотворных переводах. Мы здесь оставляем в стороне спорный вопрос о принципиальной допустимости и возможности такого перевода. Речь здесь идет о другом: была ли вообще какая-либо нужда преподносить нашему читателю летопись «Повесть о приходе Батыя на Рязань», «Житие Александра Невского» и другие произведения этого сборника в форме недоброкачественных стихотворных переводов.

Наша летопись, воинская повесть и некоторые другие явления нашей старинной русской литературы, не говоря уже о бессмертном «Слове о полку Игореве» являют нам образцы поэзии великой и подлинной поэзии. Уже в этих, наиболее ранних памятниках русской письменности с исключительной яркостью и мощью сказались поэтические гении русского народа. Чтобы дать это ощутить современному читателю, совсем нет нужды «причесывать» эти памятники, перелагать их в стихи, искусственно приукрашивать. Основная забота должна состоять в том, чтобы памятники нашей древней литературы довести до сознания читателя без искажений, дать их в переводах, которые устраивали бы для современного читателя трудности, вытекающие из архаического характера языка памятника, но абсолютно без ущерба для его содержания и поэтических достоинств. Но как

раз о соблюдении этого условия авторы-составители сборника меньше всего заботились.

Сформулированная в предисловии задача «дать возможно точный перевод памятников» оказалась явно невыполненной. Переводы, как правило, весьма далеки от оригинала, не передают его своеобразия, местами прямо и грубо искажают подлинник. Без опасности впасть в преувеличение можно утверждать, что это в большинстве случаев вольные переложения, содержащие значительные отступления от текста, пропуски, перестановки и даже добавления, являющиеся продуктом собственного «творчества» переводчиков. Проиллюстрируем сказанное примерами.

«Притча об обрах». В летописи говорится:

«Посемь придоша угѣри бѣли и наслѣдища землю Словѣнску, прогнѣвъше волохы иже бѣша преже преяли землю Словѣнску». Кто такие «волохы»? Из контекста совершенно ясно, что речь идет об одном из народов, которые совершали захваты славянских земель. Под «волохами» разумеют римлян. В переводе В. Васильева этот летописный отрывок передан таким образом:

А затем на эти земля
Приходили угры белые;
Захватив землю Славянскую,
Прогнали волхов-кудесников,
Про которых много былей
Было сложено в народе
На земле Славянской.

В одной этой строфе В. Васильев умудрился четырежды нарушить требования, предъявляемые к доброкачественному переводу. Во-первых, допущено явное искажение. Народ «волохы» (римляне) превратился в «волхов-кудесников». Во-вторых, допущена никому не нужная отсебятина. Последние три строчки строфы не имеют соответствия в тексте летописи. Там этого нет! То, о чем повествуют эти строки, выдуманно самим переводчиком. В-третьих, остались без перевода слова «угры» и «обры». Массовый читатель не обязан знать, что «угры» это венгры, мадяры, а «обры» — авары. В-четвертых, «былей было сложено» — поэтическая безвкусица.

В летописи притча заканчивается сложившейся в доевности пословицей: «погыбоша акы обѣри, ихъ же иѣсть ни племени, ни нислѣдѣка». «Погыбоша» — это форма прошедшего времени, т. н. аорист. В. Васильев произвольно меняет прошедшее время на будущее, допуская опять-таки искажение смысла пословицы:

Погибнете, как и обры,
Нет их ни племени,
Ни наследства.

«Сказание о Кожемяке». Перевод этого сказания сделан известным и серьезным поэтом В. Саяновым. Тем более мы вправе ожидать в данном случае точного перевода памятника. Но уже чтение первой строфы перевода вызывает чувство глубокого недоумения у

человека, знакомого с текстом подлинника. Для убедительности приведем начало сказания по летописи и в стихотворном переводе Саянова.

Летопись:

«Иде Володимеръ на хърваты. Пришѣдъшю же ему съ воины хърватскыя, и со печенѣзи придоша по оному странѣ от Сулы; Володимеръ же приде противу имѣи сѣрѣте я на Трубеши, на бродѣ, къдѣ нынѣ Переяславъ».

Перевод Саянова:

На реке на Суле стояли печенеги..
Шел Владимир сокрушать врагов,
Стан раскинул князь на переправе,
Там, где ныне град Переяславъ.

Нужно ли доказывать, что это не перевод, а вольное переложение? Что здесь осталось от летописного отрывка? Рожки да ножки. Где уж тут говорить о передаче колорита, своеобразных особенностях летописного стиля. Здесь в буквальном смысле слова грубо искажено само содержание приведенного отрывка.

В. Саянов, видимо, попросту не понял буквальный смысл текста подлинника. Летописный отрывок совершенно ясно повествует о том, что печенеги пришли с той стороны Сулы, что Владимир пошел им навстречу, что встреча состоялась на Трубеже, где, рассказывает летопись, произошло единороство русского воина с печенегом. И здесь же, на Трубеже, Владимир заложил в память об одержанной победе город Переяславъ. У Саянова же поединок происходит у Сулы, а город Переяславъ перекочевал на ту же реку Сулу. Никаких сомнений на этот счет перевод Саянова не оставляет.

Ратоборцы стали у Сулы..
Рад победе славный князь Владимир,
Город заложил он на Суле..
И назвал его Переяславем.

Любой студент знает, что Трубеж приток Днепра, что Сула впадает в Днепр значительно южнее, и теперь Переяслав на любой карте обозначен как город, расположенный на Трубеже, а не на Суле. Но переводчик, к сожалению, всего этого не знает.

В летописи говорится, что русский воин был «средьнии тѣльмъ» в противоположность печенегу, который был «пвелик зѣло». У Саянова русский воин превращается в «отрока, несильного на вид». По летописи подготовка места поединка производится другими, а не самими участниками единоборства. «И размѣнявше между обѣма пѣякома, пустиша я, къ собѣ». В переводе Саянова этот эпизод передан так:

Вот, размерив место, меж полками
Ратоборцы стали у Сулы..

Выходит, что враги — русский и печенег — сами разметили себе место перед тем, как приступить к поединку. Этот ни на чем не основанный домысел находится в противоречии с летописным текстом, где говорится, что между полками размерили место и пустили поединников навстречу друг другу.

«Слово о полку Игореве». Это великое произведение русской литературы с успехом

неоднократно переводилось прозой и стихами. В науке много было споров о ритмическом строе «Слова». Но, независимо от этого, прогнев перевода «Слова» в стихах принципиально нельзя ничего возразить.

Публикуемый в сборнике перевод поэмы, выполненный В. Стеллетским, не отличается оригинальностью и по существу не может быть назван «новым», как он характеризуется в предисловии. Стеллетский попросту взял прозаический перевод «Слова» С. К. Шамбинаго, разложил его на стихотворные строчки и внес некоторые немногочисленные изменения, которые опять-таки не являются продуктом самостоятельных изысканий, а заимствованы у других комментаторов и переводчиков «Слова» (Орлов, Шгорм и др.). Ничего нового для лучшего уразумения памятника перевод Стеллетского не дает. Печатают этот перевод не было никакой необходимости, тем более, что хотя в данном случае автор имел перед собой длинный ряд предшественников, он умудрился в своем переводе допустить неточности и искажения.

Стеллетский находит возможным производить даже перестановку слов в тексте поэмы, что опять-таки ведет к искажениям, а также к снижению поэтических достоинств памятника. В «Слове» есть фраза: «Бориса же Вячеславича слава на суд привеле и на Канину зелену напоумоу постла за обиду Олгову, храбра и млада князя». Это место переведено так:

Бориса же Вячеславича,
Храброго и молодого князя,
Похвальба на суд привела
И на Канине
Зеленое ложе постлала
За обиду Олегову.

Таким образом, характеристика Олега произвольно относится переводчиком к Борису. Знаменитая характеристика «Яр-тура» Всеволода в поэме выдержана от начала до конца в форме обращения ко второму лицу. Переводчик же в одном и том же обращении пользуется одновременно местоимением в форме второго и третьего лица:

Куда он, Тур, ни поскачет,
Своим золотым шеломом посвечивая,
Там и лежат поганые
Головы половецкие;
Рассечены саблями калеными
Шеломы аварские
Т.о б о ю, Яр-Тур Всеволод!

Знаменитое начало «Слова» «Не лѣпо ли ны блшеть, братіе, начати старыми словесы трудныхъ повѣстїей о плѣку Игоревѣ» в переводе Стеллетского передано следующим образом:

Не подобает ли нам, братья,
Начать старыми словами
Ратную повесть
О походе Игоревом...

И тут отступление от текста подлинника. В «Слове» автор собирается «начать старыми словами воинских повестей», т.е. он говорит об определенном стиле повествования. А в

переводе мы читаем, что автор «Слова» собирается начать ратную повесть «старыми словами». В результате этой, на первый взгляд не очень заметной перестановки, получается явное затемнение смысла. В самом деле, что может означать «старыми словами»? Читателю это вряд ли будет ясно.

В переводе Стеллетского есть такая строка:
Чѣрнѣями на ветрах

Слово «чѣрнѣть» для обозначения утки не существует в русском языке. Есть слово «чернѣть». Кстати, это слово осталось в переводе Стеллетского не переведенным так же, как и некоторые другие слова («харлужинными», «червленными», «брешут», «Хинова»).

Переводчиком допущен также пропуск отдельных слов подлинника. Репляки половецкого хана Гзака: «Аще его олутаевѣ красною дѣвицею, ни нама будетѣ сокольца, ни нама красны дѣвище...» переведены следующим образом:

Если его опутаем красною девичею,
Не будет и красной девичи...

В таком переложении речь хана потеряла присущую ей экспрессию, энергию выражения, переданную в форме двойного отрицания. Кроме того, нарушен ритм поэмы. А в целом нанесен несомненный ущерб поэтической красоте «Слова».

Примеры искажений и неточностей, которые встречаются в переводе Стеллетского, можно было бы умножить. Но и сказанное достаточно убедительно свидетельствует об его недоброкачественности.

Плохо и неточно переведенными местами перстрит и стихотворный перевод «Задонщины». Следует еще добавить, что Саянов почему-то счел необходимым усилить христианский элемент в памятнике. Весьма характерная деталь: эпитет «святой» в «Задонщине» встречается 3 раза, в переводе Саянова — 7 раз. В тексте подлинника имеется рефрен «за веру христианскую», Саянов дает усиление «за святую веру христианскую», «за родную веру христианскую».

О поэтических достоинствах его перевода можно судить по следующим примерам:

В тексте памятника имеется прекрасная картина, сделанная несколькими беглыми штрихами: «пашутся хоругви берчати, свѣтятся калантыри злачены» — колышутся (развеваются) узорчатые хоругви, светятся кольчуги (панцыри) позолоченные. Саянов переводит это место следующим образом:

Светятся узорные кольчуги,
И хоругви золотом горят.

Переводчик позволил себе недопустимую перестановку эпитетов, а глагол «пашутся» совсем опустил. В результате такого произвола получилось не усиление, а значительное ослабление поэтической выразительности. Автор «Задонщины» дает точные и живописные образы: «колышутся хоругви узорчатые» (по мнению проф. С. К. Шамбинаго «берчатый» название неизвестной материи), «свѣтятся кольчуги позолоченные». В переводе В. Саянова эти

великолепные образы оказываются разрушенными и заменены другими, менее художественными.

В описании Куликовской битвы встречается фраза: «гремятъ мечи булатные о шеломы хивовскіе». В переводе В. Саянова это передано так:

И мечи булатные гремели
У реки по д. шлемами поганых.

В подлиннике фраза предельно ясна и почти не нуждается в переводе. Но и эту фразу переводчик умудрился обесмыслить. И такая выдумка преподносится читателю как образец древнерусской героической поэзии.

Следующий пример весьма показателен для характеристики поэтических достоинств перевода В. Саянова. Читаем строфу:

И стоял на поле Куликовом
Тур огромный.
Под его копытом,
Политое кровью, поле брани.
Все в костях иссеченной орды
В этот час чернело.

Что это за апокалиптический «тур огромный»? Почему в строфе выделено «его копыто»? И вообще какой заключен смысл в этих не поддающихся уразумению стихах?

В недоумении обращаемся к источнику перевода. Читаем: «Уше бо ста туръ на боронь. Черна земля подъ копыты костью татарскими была посеяна, а кровью их полита бысть».

Первая из этих двух фраз логически замыкает целостную, композиционно вполне законченную часть поэмы, где описываются подвиги русских воинов. После этого вполне уместны слова: «Уже ведь встал тур на оборону». Русский воин уподобляется могучемутуру, по аналогии со «Словом о полку Игореве», где брат Игоря — Всеволод также уподобляетсятуру.

Вторая фраза является началом такой же композиционно самостоятельной части, в которой изображается битва. Описание последней заимствовано из «Слова о полку Игореве» и генетически связано с приемами устно-поэтического творчества, где обычно изображение битвы в виде посева. Переводится эта фраза так: «Черная земля под копытами костью татарскими была посеяна, и кровью их полита была». Подразумевается: под копытами коней.

Переводчик произвольно связал по смыслу обе фразы, опустил слово «на оборону», добавил слово «огромный» и сочинил строфу, ли-

шенную всякого смысла, с трудом поддающуюся расшифровке.

«Задонщина» в переводе В. Саянова обесцвечена, обеднена художественно и идейно. Ряд мест подлинника в переводе отсутствует. Среди опущенных мест имеются и такие, которые весьма важны по своей идейной значимости. После разгрома, который потерпели в Куликовской битве слышавшие до того непобедимыми татары, они вынуждены, между прочим, сделать такой вывод: «Уже намъ, братія... на Русь ратью не ходить и выхода (дани) намъ у русскихъ князей не просить». По существу здесь выражена одна из центральных идей поэмы. В переводе этого не найти. Зато мы немало найдем слов и целых строк, которые в подлиннике отсутствуют и являются результатом досужего домысла самого переводчика.

На таком же научном и художественном уровне остальные переводы: «Житие Александра Невского» (переводчик В. Саянов), «Повесть о приходе Батия на Рязань» (переводчик В. Васильев), «Сказание о белгородском киселе» (переводчик Д. Левоневский). Памятнику XII века, известному под названием «Слово о погибели русской земли», без достаточных оснований присвоено новое наименование: «Земля русская».

Тексты памятников засорены словами, которые понадобились переводчикам только для того, чтобы как-нибудь совладать с размером. Следует отметить, что переводы местами воспринимаются как стихи только зрительно, производя впечатление более или менее ритмизированной прозы. Иногда авторы впадают в нарочитость и дурную стилизацию, за которой исчезают лаконизм и благородная простота древнего памятника. Многочисленные пропуски в подлиннике нигде не оговорены, лишь временами обозначены многоточиями, а иногда и это отсутствует.

Позволительно спросить редактора проф. В. Спиридонова: читал он книгу как следует или только подписывал ее к печати?

На титуле обозначено: «Ленинград». Видимо, издательство не сознавало, что это ко многому обязывает и должно вдвойне повысить чувство ответственности. Иначе оно не отнеслось бы с таким легкомыслием к столь серьезному делу. В результате похвальная идея, ценный почин оказались загубленными.

Лев. Благинин

Редколлегия: М. М. Розенталь, А. А. Сурков, А. Н. Толстой,
К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

Подписано к печати 2/III-45 г.
Тираж 30.000. Зак. 54.
А 13051. 9 1/2 печ. листов.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА:

ПРИНИМАЕТ

Вклады и выдает их по первому требованию вкладчика или его доверенного лица;

СТРОГО СОБЛЮДАЕТ

тайну и неприкосновенность вкладов;

ПРИНИМАЕТ

завещательные распоряжения по вкладам;

УПЛАЧИВАЕТ

проценты по вкладам;

ПЕРЕВОДИТ

вклады в любую другую сберегательную кассу;

ВЫДАЕТ

и оплачивает аккредитивы;

ОПЛАЧИВАЕТ

выигрыши и купоны по облигациям государственных займов;

ОПЛАЧИВАЕТ

выигрыши по билетам денежно-вещевых лотерей.

Храните свои деньги в сберегательной кассе!